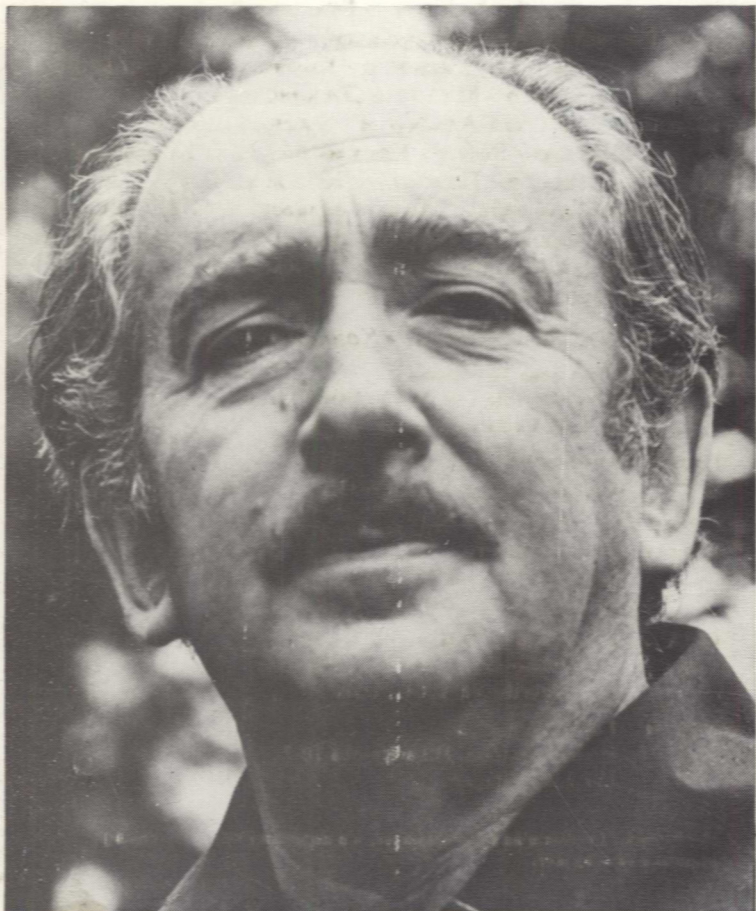


КОНТИНЕНТ 33

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

К пятилетию со дня смерти



Александр Галич

Главный редактор: Владимир Максимов
Заместитель главного редактора: Виктор Некрасов
Ответственный секретарь: Наталья Горбаневская
Заведующая редакцией: Виолетта Иверни

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов · Раймон Арон · Ценко Барев
Сол Беллоу · Николас Бетелл · Энцо Беттица
Иосиф Бродский · Владимир Буковский
Ежи Гедройц · Александр Гинзбург · Пауль Гома
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Петр Григоренко · Милован Джилас
Ирина Иловайская-Альберти · Эжен Ионеско
Артур Кестлер · Роберт Конквест · Наум Коржавин
Эдуард Кузнецов · Николаус Лобковиц
Михайло Михайлов · Эрнст Неизвестный · Амос Оз
Андрей Сахаров · Виктор Спарре · Странник
Юзеф Чапский · Карл-Густав Штрём
Пьер Эмманюэль

Корреспонденты «Континента»

- Англия Владимир Тельников
Wladimir Telnikov, 50 The Drive Mansions,
Fulham Rd., London S.W. 6
- Израиль Михаил Агурский
Michael Agoursky, P O B 7433,
Jerusalem, Israel
- Италия Серрей Рапетти
Sergio Rapetti, via Beruto 1/B
20131 Milano, Italia
- США Юрий Ольховский
Yuri Olkhovsky, 3319 Ardley Court
Falls Church, Va. 22041, USA
- Япония Госуке Утимура
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.



КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

33

Издательство «Континент»
1982

СОДЕРЖАНИЕ

К ПЯТОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ СМЕРТИ

АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА: А. Семаков — Песня
скомороха. Александр Фрадис — Еще раз о снеге 7

Милован Жила с — Чужие времена. Перевод с
сербскохорватского Н. Горбаневской 18

Лев Друскин — Заплачу о неверии своем 53

Гелий Снегирев — Где зарыта собака. (Подлинная
быль) 60

Александр Сопровский — Встречный огонь. (Из
второй книги стихотворений) 115

К ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ РУСИ: Геннадий
Русский — Клейма 124

Наум Коржавин — Поэма причастности 135

Александр и Лев Шаргородские — Пережиток 147

СТИХИ

Елена Андропова, Марат Векслер (Кармазов),
Евгений Хорват, Александр Верник, Юрий
Иофе 171

РОССИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Юрий Фельштинский — Открытое письмо четырем
публицистам 191

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Василь Гришко — К проблемам русско-украинского
диалога 219

Йосеф Шкворецкий — Жгучая тема 235

ЗАПАД — ВОСТОК

Фридрих Горенштейн — Идеологические проблемы
берлинских городских туалетов. (Реальные факты
из области политической фантастики) 257

НОСОРОГИ ЗА РАБОТОЙ: Кирилл Хенкин —
Русские пришли! 287

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Виктор Каган — Маленькие истории 307

Борис Каменецкий и Александра Александрова
— Бриллиантовая... рука. (Из серии «Избранные») 314

ИСТОКИ	
Наталья Михоэлс-Вовси — Лебединая песня Михоэлса	323
ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ	
Жорж Нива — Русский роман и его предреволюционные «сынки»	333
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ	
Неопубликованные стихи Георгия И в а н о в а. Публикация К. Померанцева	351
ИСКУССТВО	
Семен Черток — Человек и художник	353
Иван Маркадэ — «Невиданное доселе племя...» (Творчество Олега Целкова)	365
НАША ПОЧТА	373
КОЛОНКА РЕДАКТОРА	375
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Михаил У ль м а н — Его личное дело	381
Н. Горбаневская — Благодарение за поэта	386
Юрий Ма л ь ц е в — Душевные болезни бездушного мира	390
Алексис Р а н н и т — Заметка о двух книгах Василия Бетаки	393
Майя Му р а в н и к — Талант и отвага	396
Борис В а й л ь — Наказание страданием	400
КОРОТКО О КНИГАХ	407
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	415
НАША АНКЕТА	
Влияние польских событий на СССР и страны Восточной Европы. Круглый стол журналов «Контакт», «Континент», «Бъдъще» и «Сведецтви»	423
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ	

К пятой годовщине со дня смерти Александра ГАЛИЧА

А. Семаков

ПЕСНЯ СКОМОРОХА

Посвящается Александру Галичу

Лишь открываю рот, сбегается народ,
Как бабочки к костру.
Смешлив, умен и зол, бодлив я, как козел,
Царям не по нутру.
Охальник и смутьян, от правды вечно пьян,
Хохочет скоморох.
Он пляшет и поет, мутит честной народ
Под блеском топоров,
 Лишает снов
 Святых отцов,
 Царевых молодцов.

Я крикну петухом, кабацким матюгом
Покрою стукачей,
Мне даже свой алтын бросает сукин сын,
Стрелецкий казначей,
Мой бубен весь избит, заклеен и зашит,
Но это сущий вздор.
Плюю на терема, раскольничья тюрьма
Мне постоялый двор,
 Одеяло — плеть,
 Подушка — смерть,
 А рай — мужицкий смех.

Мой враг, придворный шут, кремлевский лизоблюд,
Старается зазря.

Он хочет люд мирской заставить день-деньской
Петь гимны за царя.

Опричники не спят, в ушах у них звенят
Награды за меня.

На кольях сто голов, и каждой скоморох
Немножечко родня.

Мне сто имен,
Сто раз казнен,
Был Йорик, стал Семен.

И зодчий, и купец, и рекрут, и писец —
В неволе скоморох,

И кто тут главари — поди ж ты разбери,
Всю Русь не запороть.

Брусчатку и паркет стыдит кровавый след,
Оставленный шутлом,

Но видит даже бог, что русский скоморох
Не смолкнет под кнутом.

Хрипеть, но петь,
Молчать, но сметь.
Иначе песням смерть.

ЕЩЕ РАЗ О СНЕГЕ

*И что — душа? Прошлогодний снег...
А. Галич. Еще раз о чёрте*

Что-то ломает меня писать про вокзалы. Видимо — исчерпал тему...

Тихие-тихие сугробы с ледяными чубчиками
растаяли четыре года назад.
Обратились в прах и гвоздики,
привезенные нами на Голодай,
к месту захоронения тех пятерых.

А письмо, где я описывал свой сон
про еженощные бдения сутулых траурных теней
на известной площади,
Наташа сожгла
или выбросила за ненадобностью при переезде
на другую квартиру.

Хорошо, если сожгла.
Если же выбросила,
не исключено, что подобрал его усердный дядечка,
пробежал раз-другой хищными колючими глазками
да и свез прямо в приемную графа Бенкендорфа,
на Литейный-4, где уже...

Господь с тобой, ты бредишь, мальчик!
Какой Литейный? Причем тут граф?..
Не было его вовсе, того письма,
как не было и Наташи,
и утренних визитов хмурых людей в штатском,
и самой проклятой площади н е б ы л о,
ибо не состоялся,
не наступил в достопамятном

Тысяча Восемьсот Двадцать Пятом году
месяц декабрь!

Месяц январь наступил в 1974 году строго по
календарю —
сразу же вслед за праздничным тостом.

Оглушенный боем курантов,
он дал крен, —
и по наклонной плоскости со скрипом
заскользил в бездну времен сначала обеденный стол,
роняя на пол блюда с фаршированными гусями,
с жареной рыбой
и запотевшие графины с первачом, с морсом,
с рассолом,
скомканные салфетки, вилки и ножи.

Затем покатился, как по рельсам,
все в ту же бесстрастную прорву
День первый (рвало, похмелялись, спали),
День второй (мимоходом любили, пили, готовились
прощаться),
День третий (прощались, плакали украдкой,
прощались).

И лишь, наконец, затертый со всех сторон
московскими утренними дымами,
увяз в снегу грузный четвертый день...

Мне сейчас очень трудно.
Мне страшно тяжело,
почти невозможно
превозмочь косноязычие,
не погрешив при этом против истины.

Истина —
и это ее неперемненное, объективное свойство —
противится,
не желает быть втиснутой в корсет
ритма, размера, сюжета.
Она вполне обходится без хлеба, вина и зрелищ,

но не дай вам бог стеснить ее дыхание!
Прежде чем захлебнуться и сгинуť,
она обдаст все вокруг
огнем своей агонии.
Горе тому и по ту сторону,
кто будет спален пламенем истины!

...одного доверия мало.
Беспощадная правда твоя вдребезги разбилась
о волнорез Главного Кавказского Хребта,
когда ледяной ветер из Чхалты валил меня с ног,
поднимал в воздух
и швырял, словно игрушечный дирижабль,
от скалы к скале,
от отчаяния к злости.
Ангелы-невидимки сбивались в стаи,
снежной картечью уродовали лицо,
гибли, как камикадзе,
но делали свое чистое дело

О, если бы я был один!
Если бы не стояло за моей спиной
полторы сотни телят в мокром брезенте!
Если бы не ожидали меня в долинах
добрые мои кредиторы!..
Думаете, стал бы я, цепляясь зрачками за лед,
набывчившись,
тащить за облака ношу своей сырой памяти?
Как бы не так!

...и в отрытой по всем правилам фортификации
снежной пещере,
за миг до последнего зевка,
я ощутил бы, как лениво и снисходительно
покидает мои плечи День четвертый,
прозрачный.
И как по-весеннему жизнеутверждающе
начинает кровоточить бесформенная брешь

в моей памяти.

И как в постороннем слове «биография»
буквы,

подчиняясь неведомым ни мне, ни им законам,
на первый взгляд даже хаотически,
принимаются шалить, разбегаться, меняться местами
и образовывать новые слова
на родном, далеком
и начисто забытом мной языке.

(Легкие, словно крылья похмелившихся серафимов,
неслись по ущелью тени сентябрьских облаков.
А писк, треск и завывания в портативной рации,
такой естественный аккомпанемент этого

праздничного,
чисто символического марафона,
внезапно, к всеобщей досаде, прерывался,
и кто-то — видимо, инструктор КСП —
буднично и устало оповещал эфир:

— ...я — василёк-14, василёк-14...
...обнаружена группа пострадавших... пострадавших...
...имеется два трупа... два трупа...
...десять человек с обморожениями второй и третьей
степени...
...степени... необходим вертолет... верто... — и опять:
— ...трр-р-р-у-у-а-у-и-и-трр-вертолет...)

Как ты поживаешь, «Тысяча и одна смерть»,
переношенный мой ублюдочек?

Все ли тошнишь, не в силах проблеваться?..

А я меняю состояния, как убеждения,

а убеждения — как одежду,

а одежду — как... Нет, вру.

Женщины — мои главные кредиторы.

Их я не меняю,

я им изменяю, это правда, — наивно и безвольно...

ТЬфу, что за мерзость!

...опередили меня.

Пока я носился по Ярославскому вокзалу

с валенками

под мышкой, —

там шли жаркие дебаты,

телефонные провода угрожающе раскалялись

на манер спиралей в электроплитке,

водители серых волг уже прогревали моторы.

Сердце мое весело стучало,

мочевой пузырь сокращался в такт недобрым

предчувствиям.

Водка и польские лыжи!..

Лёша и Наташа!..

Ленка и двадцать один год, очко!..

В те дни я был дилетантом по части кофе,

мечтал о парабеллуме,

не умел драться.

Ждала меня Богучанская ГЭС,

уже и паспорт отдал я начальнику партии.

Вот только валенки не успел зачинить...

Жгла, жгла мне карманы эта жалкая сотня,

этот аванс чертов,

подотчетные деньги, между прочим...

И в полночь,

оказавшись на койке в четвертой московской

психбольнице,

я впервые понял,

что стыд удушливее ярости.

...когда меня кололи эти суки

и пичкали по правилам науки кошмаром тизерцина —

я от муки и от бессилья грыз решетки

но —

спасибо палачам! осанна страже! —

не вытравив из мозга дух бродяжий

они во мне развеяли миражи
иллюзий благовонное говно...

(Здравствуй, мой долгожданный снег,
не тай, пожалуйста,
я — хороший лыжник!..)

Снег мой, снег!

Снег моего четырнадцатого декабря,
и снег моей веры в себя!

Снег на балконе белгородской гостиницы,
в который на века вмерзли следы Таньки и Миньки,
когда ночью тайком мы протаскивали их в номер.

Снег, тающий на растрепанных Танькиных

волосах, —

последнее, что запомнилось мне перед тем,
как захлопнулась дверца.

Снежная белизна больничных потолков —
месяцы наяву, годы — во снах.

Снег, облепивший лица тех двоих,
тех, двоих,
к которым мы ч у т ь - ч у т ь не успели...

Ах, и снежные барашки черноморского прибоя!

...пишу как живу...

...а ты худая мальчишка зверек непонятный

пугливый

из какого ты снега?..

День мой завтрашний,
я вглядываюсь в твой строгий профиль.
Да, мне трудно даются диалоги —
просто я хочу говорить за всех.

И я не помню
ни увещаний либералов,
ни истеричного кликушества невежественных
экстремистов,

сексуально обделенных трепачей столичного образца.

А помню я свои ответы,
помню усталость.

Помню,
как отводили глаза почтенные сенаторы
и юные поручики,
расстрелявшие нас картечью.

...я был шестым,
и тоже сорвался,
но меня помиловали
и осудили по первому разряду
(не верите? —
могу предъявить классификационный билет
с оформленным и подтвержденным первым разрядом
по скалолазанию)!

И еще спасибо Вам, Наум Исаевич,
мой последний лечащий врач,
я действительно искренне Вам благодарен,
хоть Вы и дразните мой бунтующий рассудок,
а я не могу позволить себе унизиться
до снисходительного тона.
Молчу поэтому на взводе.

...спасибо тебе, Леночка Турчина,
спасибо за запоздалое наше знакомство,
когда дикой домбайской ночью
я неловко зашивал на тебе
снег твоего савана.
Спасибо —
и прости
за неуместную эту благодарность!...

Снег мой, снег!
Заснеженная моя страна!
Заснеженная моя эпоха!
Я так и не научился говорить на вашем языке,

а иной мне неведом.

Снегом склеены мои губы, и язык примерз к небу.
Только мышцы верны памяти былых жестов,
условных,
наивных,
изобретенных нами еще во времена
не то Союза Спасения,
не то Союза Благоденствия — не помню...
А может, даже раньше?

...осенью.

Осень майским клещом въедалась в кожу,
стихи запаздывали.
Все запаздывало.
Снег...

От Финляндского вокзала — через Литейный мост
на проспект,
и на проспекте: — Тпрру - у!..

лихо в горячке в ужасе в бреду через барьер эпох —
на тротуар!..

кивера да ментики,
джинсы «Леви Штраус»,
просто суконные бриджи с лямками для скального
молотка...

Ах, как в последний раз дышится!
Как в последний раз целуется! —
словно в первый...

А двери все настезь.
Окна — все настезь!
И свет,
густой,
со дна Невы,
из-под декабрьского снега —
заливает,

затушевывает фасады,
насквозь прокалывает
почему-то съезжившуюся
белую ночь,
становится звездой,
падучей звездой проносится с оглушительным свистом
над Вифлеемом,
над Нерчинском!..

Всё...

Всё. Теперь оставьте.

Идите с Богом, полно вам, нужно жить и о живых
думать...

я тут один как-нибудь...
все-таки это — моя могила...
а вы...
да уведите же наконец Наташу!..
экие вы, право!

...заснеженная моя эпоха?!

Увы, ты не слышишь моих вопросов.
Ты только притворялась, что внимлешь мне,
когда я воевал с саранчой,
когда, изгнанный из Пажеского корпуса,
нес солдатчину в Финляндии,
когда на важных воронежских огородах
жег свечу
и мусолил дешевую московскую папироску,
когда,
вдыхая живительный хвойный дух мордовских елей,
полусонный,
стоял на плацу в ожидании шмона...

КАЖДАЯ МОЯ СТРОКА — ПОСЛЕДНЯЯ
(снег мой, снег!)
ЧТО ЗА НЕЙ?

1977—1979, Кишинев

ЧУЖИЕ ВРЕМЕНА

Перевод с сербско-хорватского Н. Горбаневской

До той поры — до события, которое я здесь описываю, весьма важного и для меня и для обстоятельств, повлиявших на меня как на писателя, — до той поры я считал, что живу в какую-то не свою, в чужую эпоху. От этого, думаю, и пошла моя тяга к писательству — чтобы отделиться от эпохи, чтобы не дать ей, с ее идеологиями и конфликтами, присвоить, подчинить мою личность, мой дар и мое творчество. Я знал из истории, да и из своего опыта, что искусство, произведения искусства переживают эпоху — в них содержится нечто вечное, если вообще сохраняется нечто «вечное» человеческое.

Такие установки преисполняли меня важностью и решимостью, и я вовсе не был — как можно вывести из вышесказанного — писателем неангажированным, предающимся чистому искусству. Наоборот, я считал, что писатель — если он действительно писатель по призванию — не только не должен, но и не может отключиться от своей эпохи. Более того, в первые послевоенные годы — я имею в виду Первую мировую войну, а события нынешнего рассказа относятся ко Второй мировой войне — я был весьма активен в левом, коммунистическом движении: других левых движений у нас, можно сказать, не было. И активен не как писатель, а как публицист, сотрудник левых журналов, и как партийный активист, член ячейки своего квартала. Правда, диктатура, установленная после переворота 6 января, а отчасти и инттриги внутрипартийные распри — все это рассеяло партийные организации, так что всякая организационная работа почти замерла; я оказался перед выбором — либо растратить время и силы в изматывающей повседневности подполья и,

вероятно, — эта вероятность была гарантирована — оказаться в тюрьме, либо полностью уйти в литературу и культурную деятельность. Конечно, я пугался мысли о полицейских пытках, которые тогда были делом заурядным, неминуемым. Но это шло скорее от чувства человеческого достоинства — употребляя здесь это выражение, я вполне сознаю его банальность, — нежели от страха за жизнь: я знал, что никого не выдам, но само переживание мучений, само «согласие» на мучения было мне постыдно и потому невыносимо.

Тогда у меня и сформировалась убежденность, что для писателя нет большего долга, чем писать, — большего даже, чем революционная работа. Все приводило меня к такому мнению: мне было уже сорок лет, зрелый возраст, сюжеты захлестывали, рождаясь во мне и вокруг, так что перо за ними не поспевало, партийные верхи не требовали от меня опасного и губительного ухода в подполье, и сама диктатура до определенной степени была терпима к легальной, чисто литературной деятельности — из боязни, чтобы не оказались закрытыми клапаны для выхода недовольства.

Так оно и тянулось, с незначительными отклонениями, до Второй мировой войны. Эти лет десять были самыми плодотворными в моей жизни: книга в год, иногда две-три книги в год! Более того, я считал — и не только считал, всем существом своим чувствовал, — что эти годы самые плодотворные и больше никогда не повторятся. Взгляд, согласно которому писатель последовательней всего служит своей эпохе самым тем, что он писатель, что он пишет, — претворился у меня в установку и образ жизни. Изменились и отношения между мной и партией — партия за это время очистилась и окрепла, но на меня могла рассчитывать лишь как на того, кем я был, кем я за это время стал: независимый писатель со своим творчеством, своими сюжетами и формами, но при этом пре-

данный целям и подчиненный главным, стратегическим замыслам партии.

Все переменялось: из тьмы старого, «анархического» мира вынырнули призраки фашизма — как писали тогда в левой прессе, а новый, плановый мир будущего «допустил ошибки» — как пишут теперь в левой прессе; эти «ошибки» стоили десятков миллионов жизней, и почти никто: ни жертвы, ни их палачи, — не знал толком, в чем они провинились, — об этом и доньше не пишет левая пресса... А может, ничего и не переменялось: в Европе извечно мрак насилия восставал на свет разума, а в новом мире у власти стояло то самое революционное движение времен моей молодости, только приладившееся к новым условиям и, что еще важнее, к тем своим желаниям и силам, которых само оно, это движение, — а куда уж мне? — не предвидело: как может заранее знать какой-то идеал, какими средствами будет осуществляться? Не придется ли и ему, этому идеалу, — как стольким, всем без исключения наиидеальнейшим идеалам — смириться с тем, что непредусмотренные, но «необходимые» средства постепенно подчинят его и превратят в свое средство?

Но со мной перемена произошла внезапно — в связи с событием, которое я здесь расскажу, А может, я и не переменялся — просто попал в чужие времена: в чужие времена, в чужую реальность, которую мне даже трудно было осознать — точнее, трудно было примирить с ней свой тогдашнее сознание, свою совесть, от природы не склонную приноравливаться, — и смириться я мог только самоподчинением, самосглаживанием своей творческой, духовной личности.

Так или иначе, а событие это вдруг, с неуклонной и неизбежной навязчивостью, преобразуется в уверенность, что для писателя, если он хочет быть настоящим писателем, нет ни времени, ни эпохи, которые он мог бы назвать своими. Речь уже не идет о «вечном»,

неустанном творческом бунте против действительности. Нет! Писатель — тогда писатель, когда он верен своему творческому, невымышленному и неумышленному призванию — призванию, данному ему от рождения, время же, любое, в том числе и свое, — принимает и ощущает как чужое. Тут ничего не решает оценка, даваемая им этому времени (читателю, надеюсь, ясно, что речь идет о времени не как о замкнутом множестве времен года, но как о совокупности политических и культурных обстоятельств, в которых действует писатель): отвергает он его или одобряет, — существенно, что он проникает в судьбы, в жизненные неминуемости людей — неминуемости, трагические уже тем, что их не миновать. Это значит: быть целиком, всем своим творчеством в своем чужом времени. Это свое чужое время, это отчужденное сосуществование со своей эпохой, это вживание в бытие своей эпохи — и есть та основа, то содержание, которое позволяет произведению сохраниться и делает его оригинальным и некрошимым.

Вместе с этим сознанием у меня тогда явились сомнения: а создавал ли я, в самом деле, воистину свои произведения, а не промахнулся ли я, не растратил ли своих возможностей, уклоняясь от своего времени? Да, мое неполное подчинение революционному движению было и разумным, и плодотворным, но куда выше, недостижимо выше было бы, если б я вообще не оказался перед этой дилеммой: вживаться целиком в это движение, в эту эпоху или оставаться независимым писателем, во всем принадлежащим только себе. Тогда не встал бы вопрос о времени, вопрос об эпохе: время, эпоха подчинились бы творчеству, а само творчество достигло бы глубин и высот, о которых я едва догадывался.

Короче говоря: надо быть полностью независимым, не надо отстаивать никакую иную эпоху — своя чужая эпоха была моей, принадлежащей мне как писателю.

Но — все это запоздало: лучшие, плодотворнейшие годы растрчены, я подорван в своих основах и разочарован в своих достижениях — подорван чужими временами и разочарован в революции и революционном идеале, и даже это едва способен описать.

И все-таки попробую — как последний долг самому себе, как самое достоверное и самое немилосердное доказательство моих блужданий и безумств, которые разумно доказывали необходимость разумного мироустройства.

Итак, начнем сам рассказ — тем более достоверный, что он не представляет собой такого обобщения, как все мои предшествующие вступительные рассуждения.

1

Уже смеркалось, когда он явился: они, подпольщики, чаще всего являлись в сумерки. Но не потому, что в сумерки их было труднее узнать, и не потому, что полиция реже врывается в эти часы (обычно ночью или ранним утром): подполье — это полумрак, подпольная деятельность вступает в свои права, когда ночь и день меняются местами.

В первую минуту я едва узнал его. Не столько потому, что он изменился, сколько из-за невероятности его появления: кто-то из руководителей подполья в Центральном Комитете давно намекнул мне, что он выполняет «особые задания» — выражение, которым определяли агентов советских секретных служб. О революционерах, попавших на такие посты, в кругах подполья шепотом пересказывали легенды: тот, мол, в Китае, этот был в Латинской Америке, а сейчас неведомо где, — меня же ни мои склонности, ни мое откровенно легальное положение деятеля куль-

туры не приводили к встречам с ними. Ну, кое-кого из них я знал со времени, когда они еще не были на советской службе, а его, Петра Башича, — еще с Первой мировой войны, с юношеской борьбы за освобождение и объединение южных славян.

Дверь ему открыла прислуга, ядреная, но хитрая словачка, — я подозревал, что она связана с полицией, но мы с женой оставляли ее у себя, как бы давая через нее полиции «доказательство», что мы не занимаемся ничем подозрительным. В тесной и слабо освещенной прихожей мы оказались с ним лицом к лицу. Прислуга еще не ушла из прихожей, а может, продувная бестия, нарочно не спешила, — как я уже изумленно воскликнул: «Ты — здесь! В Белграде!»

На лице Петра, румяном и скуластом, засветилась радость — неяркая, но тем более заметная, что он был свежее выбрит. Он указал взглядом на прислугу — глаза его сверкнули синевой из-под нахмуренных бровей — и крепко пожал мне руку. А когда прислуга вышла, он смущенно двинулся, словно желая обняться. И я поддался этому его движению, мы обнялись и, может быть, из-за этого его смущения, гораздо сердечнее, чем было в моих привычках.

— А что до нее, — шепнул я ему, подмигнув в сторону двери, за которую ушла прислуга, — то мы с женой в разговорах при ней как-нибудь замаскируемся: придумаем что-нибудь про друга, с которым давно не виделись.

— Может, это уже и не важно, — туманно сказал он, когда мы проходили в мой кабинет.

Сидя в кресле, он продолжил с каким-то безумным смирением:

— За мной, Смилян, дружище Смилян... за мной так гонится полиция, что, может, думаю, было бы умнее всего — хоть бы мне и грозила каторга, а то и смерть в темнице! — может, умнее всего было бы

мне самому явиться в полицию и получить, так сказать, какой-никакой легальный статус...

Я ощущал в его словах какую-то предельную неясность: что значит явиться в полицию, что за легальный статус? Все-таки я ответил:

— Я тут советчик плохой, ненадежный. В одном будь уверен: я рад тебя видеть. Чем тебя угостить — выпьешь чего-нибудь? Коньяку? Препеченицы?* Или какого-нибудь вина?

— Нет, ничего алкогольного. Не пью — после всего, что со мной произошло, алкоголь мне опротивел. А вот кофе выпью с удовольствием. И сигарету, само собой разумеется...

Пройдя через ванную в спальню, я окликнул словачку на кухне: пусть принесет две чашки горького кофе, — потом сел напротив него, за мраморным столиком с пепельницами.

— Я знаю, друг Славко, — сказал он, — что ты страшно занят. Знаю и то, что человек моих занятий — если это можно назвать занятиями — прямо или косвенно способен скомпрометировать, если в один прекрасный день обнаружится, что у тебя со мной хоть какие-то контакты. Но можешь быть спокоен: ни одна живая душа, кроме нас двоих, не узнает о моем приходе. Главное, что я скрываюсь не только от югославской полиции, но и от югославских коммунистов и от моей собственной службы и ее агентов. Удивляешься? Есть чему удивляться — так оно обернулось!

Я скорее изображал удивление, чем вправду удивлялся: после московских процессов над вождями русской революции, после массовых арестов югославских эмигрантов в Советском Союзе — многих из них, самых видных, я знал, работал с ними, — после советско-немецкого пакта 1939 года меня в глубине души уже не удивляло ничто, доходившее из Москвы и тво-

* Крепкая водка двойной перегонки. — Прим. переводчика.

рившееся в коммунистическом движении. И, пожалуй, именно оттого, что я уже ничему не удивлялся, я скрывал свои сомнения и свое негодование от партийных функционеров, если приходилось с ними встречаться. Я чувствовал, что пришло время, когда в революционном движении приходится использовать тактику, скрывать прямые, непосредственные цели. Но не все мне было ясно, и это понимание, сознание иприятие неясности как интеллектуального, нравственного и психологического состояния особенно меня мучило. Эти мои — и не только мои — колебания, эта неестественная, несвойственная человеку, самоосознанная неясность — не в том ли была демоническая сила и энергия Сталина, чтобы и движение, и всякого человека в нем довести до состояния растерянности и остолебения, а тем самым осуществить и обезопасить свою власть страха и, вероятно, также скрытые реальные устремления нового политического класса? Для своей растерянности я, как и многие другие, находил самые приемлемые, нерациональные и предельно поверхностные объяснения и оправдания: ради единства революционеров в борьбе с фашистским чудовищем, даже если уже нет надежды на создание нового общества, следует молчаливо принять — принять, но не одобрить! — и такие сомнительные, рационально не оправданные расчеты. В конце концов, заключал я, Сталин — это одно, Сталин — одиночка и преходящее явление, а движение, революционная борьба и революционное общество — это нечто иное, нечто постоянное. Сегодня я вижу, как оно повернулось: Сталин, или так называемый сталинизм, — вот что постоянно, имманентно, вот что является жизненной сущностью, жизненным условием выживания догматического движения и утопического революционного общества.

Поэтому, минуя всякие объяснения, я сказал Петру:

— Ты меня скомпрометировать не можешь, ни прямо, ни косвенно: я тебя не искал — ты сам ко мне

пришел. Ты мой старинный друг, а я, во всяком случае, настолько известен, чтобы без риска принять тебя у себя.

Мои слова, как мне показалось, словно кипятком его ошпарили. Я припомнил, что когда-то он, как большинство революционеров, умел скрывать свои чувства — точнее, не скрывать, а превращать в другие, в данный момент нужные и оправданные. А теперь — теперь он не может ни скрыть своих чувств, ни заметить их другими. Поэтому я прибавил:

— Я думаю, что наша старая дружба еще жива, во всяком случае — настолько же важна для нас, как и наша преданность одной и той же идее.

— В том-то и дело, — подхватил он, внезапно смягчившись. — Дело в том, что ты единственный человек, единственный, кого я знаю, притом не только как старого друга и коммуниста, но и как писателя, ты, говорю, единственный человек, которого я знаю и который...

В этот момент в комнату вошла моя словачка с кофе. И Петр, вновь став старым опытным подпольщиком Петром Башичем, легко перешел на веселоболтливый тон:

— Нет, я тебе скажу: Боба — талантливая актриса, не поспоришь, но не такая интересная, как Гибарница...

— Да, — подхватил я, — я ее знаю по ибсеновским спектаклям, но лично не имел случая...

— А я ее и лично знаю. На сцене она — чудо чувственности и живого присутствия. Но как женщина — мне рассказывали те, что испробовали! — чудо бесчувственности и отсутствия...

А когда прислуга вышла, он продолжал, проверив, нет ли ее поблизости:

— Я тебе говорю: ты и писатель, ты и единственный, кому я не только могу, но и — вот что мне важ-

но, единственное, что важно! — но и кому мне надо, кому я обязан рассказать все, что произошло и еще происходит со мной, пока не дошло до худшего, до моей ликвидации, а дойдет уж точно... И вот я себя спрашиваю: это ли самое худшее или я сам натворил еще худшего?..

— Ты прямо как из Достоевского! — пробормотал я, подвигая ему шкатулку с сигаретами. — Но если это, как я надеюсь, длинный рассказ, то мы могли бы поговорить где-нибудь за едой: тут, в Белграде, есть рестораны, куда ходят только богатые, — «Два рыбака», «Сербский король», — туда полиция, та, в чьем ведении мы оба находимся, даже и не заглядывает...

— Нет, ни в коем случае! — воскликнул он почти резко. — Нет, пока я не расскажу тебе все, что у меня на душе...

Он взял сигарету и принялся ее разминать. Я не удержался, чтоб не сказать:

— Ты остался настоящим балканцем: тебя мучит то, что у тебя на душе! А я бы руку дал отрубить, ручаясь, что ты и другие, кто прошел сквозь такую ломку и риск, давно уже распрощались с подобными, по существу религиозными, понятиями и чувствами...

— И я так считал, — возразил он. — Да и не в религии дело, не в религиозных чувствах. Дьявол ведет, в чем дело! Но я... я только знаю, я вижу, что вся моя жизнь была — не скажу преступлением, потому что речь идет о чем-то, что страшнее и много тяжелее страшнейшего преступления! — я скажу: вся моя жизнь была необъяснимым заблуждением, непрестанной службой какому-то злу, которого ум человеческий не способен охватить... Нет, я не стал религиозен — это было бы бегством в ближайшую спасительную гавань! Но часто мне приходило да и приходит на ум, что все мы — даже ты, хоть ты и не до конца, ты краешком ума еще держишься за спасительную соло-

минку! — что все мы уносимы каким-то потоком человеческого, если не космического зла. И что это один из главных — если не главный — потоков человеческой жизни, человеческого движения и стояния на месте... Но я не буду тебя мучить своими, может быть, дурацкими рассуждениями — хотя они-то, мои сегодняшние рассуждения, единственно разумны, а все, что со мной происходило, все эти так называемые задания, которые я когда-то с радостью выполнял, — все это, возможно, было ничем иным, как безумием, действиями сумасшедшего и лунатика...

Он вдруг умолк, откровенно подавленный. А я встал, зажигая — сначала ему — сигарету:

— Должен признаться, что я уже привык к исповедям революционеров. Но будем практичны: в конце концов, не обязательно идти в ресторан, можно остаться и тут. Скоро шесть — прислуга в шесть непременно уходит на свидание к любовнику, некоему таксисту, и возвращается поздно, около полуночи. Жена занята в театре, в опере, мы будем одни, и никто нам не помешает. Я в последние годы ослабел — сам видишь, ишиас меня скручивает, слишком мало двигаюсь. Поэтому обхожусь без ужина, но могу тебе что-то приготовить, а может, и от обеда что-то осталось... Итак, дай мне услышать эту великую тайну, хоть я и не уверен, что ты ее не преувеличиваешь...

2

— Тайны, в сущности, нет, — начал он и прибавил с блуждающей улыбкой: — Если только вся тайна — не в изменившемся сознании, уж я не решаюсь использовать рабское, неопределенное и мистическое понятие — пробудившаяся совесть...

Внезапно он встал. Был он высок, прям и строен. И красивый мужчина, хоть уже под пятьдесят.

— Приятно здесь — кругом книги. Впервые я чувствую себя уютно, даже безопасно, здесь, у тебя — после погони, в которой я неотступно гонюсь сам за собой, но и все они — кто именно? — гонятся за мной...

Он так же внезапно садится, энергичным нажимом пальца гасит недокуренную сигарету.

— И вот почему я пришел к тебе, — начинает он, прислоняясь головой к спинке кресла и на мгновение прикрывая глаза.

— В сущности говоря, я изменил своей Службе. Ты, наверно, слышал, что я работал в советских секретных службах, в НКВД. Точнее, я не изменил Службе, только самовольно оставил ее, но, по ее критериям, это ничуть не легче, а то и тяжелее, чем если б я изменил. За это одно наказание — смерть. И хотя мне даже в голову не приходит выдать враждебным, буржуазным службам то, что я узнал во время своей работы, — они мне не поверят. Они никому не верят — это их ведущее, верховное начало, понимаешь ты, Славко Смилян? Но это не потому, что они знают свойственную людям слабость и переменчивость, а — черт знает, как это сказать? — потому что они изначально не верят. Они делают вид, что верят в идеал социализма, в будущее бесклассовое общество. А на самом деле не верят ни во что, кроме организованной силы. Они не только считают себя нервной системой и скелетом всего строя — они и правда этим являются. Иногда мне кажется, что старая царская охранка стала и царем, и общественными классами, и духовной жизнью и что это единственная серьезная перемена!..

Я встал проверить, ушла ли прислуга, — ее уже не было. Странно, я не слышал, как она уходила. Вернувшись, я не без тревоги заметил ему:

— Так мы всю ночь не доберемся до главного — до того, зачем ты пришел. Если хочешь знать, что я думаю, то я считаю, что для такого шага — ухода

со службы в НКВД — ты выбрал дурной момент: Польша раздавлена, западные силы с Чемберленом, Даладье и тому подобными спекулируют, не удастся ли им повернуть Гитлера против Советского Союза...

— ...И когда маленький и слабый Советский Союз защищается от огромной и сильной Финляндии! — нервно рассмеялся он.

— Да, и когда Советский Союз втянут в войну против Финляндии, — подхватил я серьезно, без иронии. — Но вернемся ближе к делу — к тому, зачем ты...

— О да! Ты имеешь на это право. Прошу прощения. Но я, знаешь, столько же, если не больше, одержим раздумьями обо всем этом, сколько и самими событиями, доведшими меня до этого состояния...

«Я пришел к тебе как к писателю, а при этом... Да, знаешь, я у себя на службе — через сообщения, которые приходили и из их, и из партийных источников, — я много узнал о твоих поисках, о твоих сомнениях и скепсисе, больше, чем ты можешь предполагать. Ни те, что в партии — я имею в виду вождей, притом самых последовательных и дальновзорких, — ни, тем более, те из секретных служб особенно-то тебе не доверяют. Считают, что ты не тверд, не последователен, но важен для них, нужен — из-за твоего имени, из-за твоего литературного творчества... И пусть тебя это не смущает! Я теперь обо всем не только могу, но и научился говорить открыто, если и не научился рассуждать...

«Итак, я пришел к тебе как к писателю, которого одолевают сомнения, — к сомневающемуся писателю, к писателю-скептику! Пришел, значит, рассказать тебе, исповедаться, как дошло до моего отщепенства, — ты один сможешь это понять, сумеешь описать. И, поверь, не то меня волнует, чтобы в будущем от меня остался наилучший портрет: мой портрет, какой уж есть, — это и портрет других, что пошли тем же

путем, — а у меня, после меня никого не остается — как говорится, ни котенка, ни кутенка...

«Но я умоляю тебя простить, что углубляюсь в теоретические или второстепенные воспоминания, — я не стал бы отнимать у тебя время своими переживаниями, но хочу рассказать то, что, думаю, в один прекрасный день будет полезно если не всем, то хотя бы нашим людям — не решаюсь сказать: нашему народу...

«Меня вовлекли в состав советских секретных служб — именно вовлекли, хотя сам я почитал это высочайшей честью, — в Вене, в 1922 году. Столкнулся я с этим, так сказать, невольно: наши студенты познакомили меня с неким Вейсманом — конечно, евреем, евреи тогда там весьма ценились. Этот Вейсман то ли был очень молод, то ли выглядел молодо, выдавал себя за студента, а может, и был студент... Я тогда бежал из Югославии — власти меня преследовали за принадлежность к конспиративной организации «Черная рука». Строго говоря, я в «Черной руке» не был, принадлежал, как ты знаешь, к «Молодой Боснии» — движению против Австро-Венгрии. Из этого движения «Черная рука» — в действительности, сербская военная разведка — вербовала кадры для своих террористических и националистических акций. В этот невод попал и я, а когда в четырнадцатом году был убит в Сараеве Франц-Фердинанд, я перебежал в Сербию, откуда в рядах сербской армии попал в Албанию и на Салоникийский фронт. Там меня застал процесс в Салониках — меня арестовали и судили. И хотя король объявил амнистию — злость во мне осталась: ненавижу короля Александра, я возненавидел и монархию, а с ней и весь порядок. Ненавидел я так откровенно и слепо, что не видел никакого выхода — не поддавался ни идеологиям, ни организациям!»

— Ты спрашивал, — прервал я его сердечно и шутливо, — смогу ли я тебя простить, а я все это сам хорошо знаю...

— Извини — разумеется, знаешь! Но я отвык — вытягиваю нитку за ниткой, чтоб тебе было яснее... Так вот, этот Вейсман сводит меня с неким Штольцем — сводит как бы случайно, за столиком в кофейне, а этот Штольц — я так и не узнал, какой он был национальности, кажется мне, что болгарин, — он начинает со мной разговор: кто я, что я, что собираюсь делать, и все такое — хотя, как я увидел, он уже много обо мне знал... Меня, перенесшего поражение и озлобленного, привлекал коммунизм, и не коммунизм вообще, а именно этот советский, который сбросил не только царя и трон, но все слои и сословия, из которых монархи и монархии могут произрасти. Скажу так: коммунизм меня больше всего привлекал как самое успешное, самое радикальное сведение счетов. Привлекал он меня, хоть из коммунизма и коммунистического учения я не знал почти ничего, кроме тривиальной болтовни за столиками в кофейнях да по задымленным студенческим каморкам. Я верил, что к коммунизму и в коммунизм меня влечет некая моя неодолимая тяга к изменению существующего злого и бесчеловечного порядка. Да так оно и было — быть может, частично так оно и было. Была тут и жажда мести! Но — теперь я это вижу! — на самом деле, больше всего меня влекли к коммунизму и коммунистам какие-то тихие дурацкие амбиции, а может, и какой-то губительный, абсолютный, притом заимствованный идеал: и я, мол, внесу свой вклад, а надо, так и пожертвую собой за единый великий и праведный мир...

«Ну вот, опять отклонился!

«Так вот, этот Штольц после двух-трех встреч обратился ко мне прямо: — Разве вы не видите, что Советская Россия — главная сила этого идеала и что никто не может осуществить свой идеал и утвердить себя как истинного революционера, если не помочь этой главной силе? — Так говорил Штольц и, на мою — не только на мою — беду, говорил правду: были

ли, есть ли иные главные силы, способные на переворот?..

«Жил я тогда, надо признаться, в страшной нужде. Штольц предложил мне помощь. Но — так он сказал и так я воспринял — не как подкуп, а как чисто дружескую услугу пострадавшему революционеру, хоть бы и не приверженцу той же идеологии. — Знаете, — сказал он, — мы помогаем и другим, национальным и колониальным революционным движениям...

«И так, мало-помалу, но довольно быстро — ибо передо мной молниеносно открылись широкие надежды на удовлетворение и мести моей, и стремления к идеалу, — мало-помалу, но довольно быстро Штольц уловил меня в свои сети: я подписал обязательство!..

«Но не думай, Славко Смилян, что я сразу заслужил доверие, — полностью они мне так никогда и не поверили, они не верят, можно сказать, даже самим себе! Дали мне задание — чтобы проверить меня, чтобы привязать! Дали задание ликвидировать одного шпиона белградской — для меня, следовательно, королевской — полиции, который крутился среди левых студентов и сам то ли был студентом, то ли притворялся. Я выполнил это ловко и — безо всяких угрызений. Не думай, что хоть когда-то было обнаружено, кто это совершил. И тело не идентифицировали, когда выловили из Дуная, да и не очень старались: сведение счетов между балканскими эмигрантами и тому подобными сумасшедшими венскую полицию не волновало — лишь бы не австриец...

«Так оно и началось — испытание я выдержал.

«И все время, что я был в Вене, я полагал, что моя деятельность редкостна, а то и уникальна. Но, как я узнал позднее, и в этом, как во многом другом, я ошибался: круг «черноруких», боснийских и сербских заговорщиков, был узок, бездеятелен, но, может быть, именно поэтому значительная часть принадлежавших к нему тем или иным путем вступила на советскую

службу: между идеологиями, русской коммунистической и сербской националистической, была пропасть, но от жажды действия до действия — и это они увидели! — был один-единственный шаг...

3

— Какой Китай, какая Латинская Америка! — продолжает он, ненадолго задумавшись, опять прикрыв глаза. — Ни я и никто из наших, братец ты мой, и не понюхали Китая или Латинской Америки. Все рассказы о «Китаях», всё это Служба выдумывает, чтобы, как и все подобные службы, придать себе таинственную мощь и запутать следы своих агентов. А мы, служащие Службы, тоже были обязаны распространять эти рассказы о себе и о других — чтобы заметать следы и окружать себя таинственностью,

«Меня после Вены отправили в Москву, на обучение. Учили методично, однако, кроме шифровки, тайнописи и марксизма-ленинизма, я не многому научился. В Москве я оставался два года — вероятно, все еще проверяли и оценивали мою идеологическую зрелость. Платили мне хорошо, даже очень хорошо, и теперь мне стыдно сравнивать свой уровень жизни с нуждой рядового русского человека.

«Я так никогда точно и не узнал, что с моими прежними товарищами из «Черной руки» и «Молодой Боснии». Я наивно думал, что мне одному достались честь и счастье работать в секретных службах Советской России — тогда еще говорили Советская Россия, и помню, как мне было жалко, когда название это заменилось безличным СССР. Только позднее, в ходе работы, я слышал, что тот или иной был завербован, но и до сих пор не знаю точно, кто был, а кто не был.

«После двух лет обучения и повседневного выполнения обязанностей в Москве — мне с самого начала

поручили охрану приезжавших в Москву немецких и австрийских коммунистов и надзор за ними, потому что я еще с австро-венгерской школы хорошо знал немецкий, — после двух лет меня бросили на работу в Австрию. При этом мне строго запретили дружить с югославами — я следил за болгарской эмиграцией, которая внезапно выросла после убийства Стамболийского и подавления коммунистического мятежа... Тебе, несомненно, приходит в голову: а были ли ликвидации? Разумеется, были! Только уже не моими, а болгарскими руками — я был лишь организатором, что-то вроде Штольца для болгар, которых на таких делах проверяли, Все это было для меня приемлемо, прямо даже естественно: первая социалистическая держава обязана быть предельно бдительной — чтобы капиталистические державы не заслали в нее своих агентов под маской коммунистов, — и, конечно, обязана оберегать братские партии от провокаторов и буржуазных агентов.

«Не буду затягивать! В Вене я оставался два-три года — пока болгарская эмиграция не поредела. А потом меня послали прямо в Болгарию, поскольку я уже и болгарский знал прилично: я там был так называемым представителем так называемой венской фирмы.

«Там, в Софии, я встретился со своим старым знакомым по «Молодой Боснии» и по Салоникам — с Хусейном Орловичем. Ты его хорошо знаешь — до войны он учился в Белграде и постоянно шлялся по городу. Мусульманин, но до чего же вдохновенный серб и югослав, — он даже был четником в отряде Вука Поповича! Салоники, как ты знаешь, кончились для него еще хуже, чем для меня, и «белорукие» на родине после войны взъелись на него еще лютей, чем на меня. Орлович был поставлен как бы моим начальником в Софии. И, должен признаться, он этого заслуживал: хладнокровный, методичный — и безумно

отважный. Он меня тогда подбадривал, заметив, наверно, у меня тоску по родным местам:— Так-то, Богдан, не суждено нам было в нашей Боснии прославиться. Но разве не выше — безымянно служить мировой революции и ее защитникам и вдохновителям? Величие и счастье — не в шумном триумфе и славе, а во внутреннем удовлетворении, в сознании, что и ты — одиночка, червяк! — внес вклад в благородное, общечеловеческое дело. — Так говорил мне мой Орлович, так и я чувствовал, хотя по-прежнему тосковал по Боснии, по Югославии; жизнь у нас была полной чашей, услаждались и женщинами, и выпивкой, а в действительности были рабами, невольниками силы, которой мы восхищались, хоть и не понимали зазубренных нами идей...

«Так нас и перебрасывали по Европе — туда, где требовалось, и тогда, когда требовалось ликвидировать какого-нибудь провокатора или предателя. Теперь мне ясно, Смилян, за что они нас — меня и Хусейна — выбрали, почему мы для них оказались самыми подходящими. Из самого простого, простейшего расчета: потому что прошлое у нас было националистическое, революционно-националистическое, — советская власть могла со всей достоверностью отказаться от нас, если бы нас раскрыли или арестовали: речь, мол, идет об известных балканских террористах, из рядов движения, которое ничего общего не имеет с коммунизмом и советским государством и, по природе своей, не может иметь...

«Время от времени, перед переброской в другую страну, нас вызывали в Москву. Там мы изучали данные и условия нового задания. А иногда — причины мне и теперь не ясны, мы ведь уже прошли огонь, и воду, и медные трубы, но нас не готовили к практике в будущих, в нашей например, социалистических странах, — иногда нас посылали действовать и против советских контрреволюционеров и чуждых элементов.

Об этом я хотел сказать. Участилось это, вот ей-Богу, во время коллективизации, в начале тридцатых. В деревнях были волнения и поджоги. Было их несметное число, массы — кулаков и подкулачников. И еще бóльшие массы мерли с голоду, особенно на Украине: я сам слышал, от наших органов, что родители там сварили одного ребенка — чтоб остальные выжили!.. И это, эта коллективизация, это было самое мучительное и самое ужасное, даже для меня, привычного к самому суровому и жестокому обращению. Потому что русский или украинский крестьянин — не такой, как наш! Потому что наш крестьянин создал государство, он его ощущает как свое; он издавна и помещик, и торговец, он хитер и пронырлив. А у них крестьянин ощущает государство — и царское, и советское — как чужое, как навязанное. Суровый и анархичный, он в то же время смиренен и простоват: он не успел понять, почему его хозяйство разрушили, а его самого безвозвратно выслали в лагеря в далекие, зауральские и полярные, края. Он не знал учения о классовой борьбе и о партии — вожде и зодчем нового общества, — потому и не понял, что́ это за государство, а коллективизацию пережил просто как непредвиденное, непредчувствованное ненастье...

«В акциях по коллективизации, в раскулачивании и агитации за колхозы участвовали и наши, югославские студенты из партшколы в Москве — это называлось «поехать на практику». Но мы, Хусейн и я, не встречались с ними ни «на практике», ни в Москве: слежку за югославской эмиграцией и ее анализ осуществляли советские — аккуратно, через доносчиков из югославских рядов, а среди них мало кто — да был ли хоть кто-то? — не был завербован...

«Но, хотя нам и было запрещено, кроме как по заданию, встречаться с югославской партийной эмиграцией в Москве, никто не мешал нам обсуждать советские внутрипартийные вопросы. Более того, это

поощрялось — чтобы те, кто выскажется за оппозицию, будь то левую или правую, были вычищены из рядов Службы и поначалу брошены в советские просторы на менее ответственные должности, а позднее, во времена Чистки, прямо ликвидированы.

«Орловичу и мне повезло, что мы были партийно и идеологически слабо подкованы. Разумеется, мы были с самого начала членами партии большевиков. Но, недостаточно разбираясь в советских обстоятельствах, а тем более — в партийных дискуссиях, мы чувствовали себя связанными с государством, с формальной властью, а не с партией. Первой, незначительной, но затем решающей причиной было то, что мы ориентировались на Сталина и его сторонников как на правящую и наиболее государственную силу. Теперь я вижу и непосредственную причину этой нашей ориентации: наша деятельность — выполнение разведывательных и палаческих заданий — да, палаческих, хоть и ради революции! — выполнение такого рода дел скрепляло нас и связывало с государственным механизмом. Ибо партия, пусть формально, этими делами не занималась.

«Так и вышло, что я и Орлович пережили не только Великую Чистку, но и чистку в самом НКВД, после исчезновения Ежова и воцарения Бери.

«Но и мы не чувствовали себя в безопасности — никто, ни один человек не чувствовал себя тогда в безопасности в Советском Союзе. В безопасности, все ужесточаясь, все расширяя травлю, была только власть — власть абстрактная, безличная, которую символизировал и над которой господствовал низкорослый и неотесанный грузинский недоучка...

«Тогда началась гражданская война в Испании — там у меня и начало все запутываться и распутываться...

«Было, конечно, немало причин, по которым Служба послала в Испанию меня и Хусейна, притом с

приказом действовать вместе: я по-прежнему оставался подчиненным Хусейна — Служба пронизана строгой, безусловной иерархией, — хотя отношения у нас с ним были сердечные, дружеские. Может быть, еще и потому нас послали в Испанию с общим заданием, что мы были связаны с Болгарией и оба знали иностранные, в первую очередь балканские, языки. Нашей задачей был, по преимуществу, надзор за балканскими бригадами в составе интербригад: чтобы туда не проникли шпионы и пролезли троцкисты.

«Но с бригадами работы было немного: составленные исключительно из членов партии и попутчиков, они успешно контролировали себя изнутри. Наш контроль был рутинным, почти излишним.

«Однако мы не предавались праздности — Служба этого не переносит, она так и устроена, чтобы не допустить увиливания от работы, хотя оставляет и свободное время, и некоторые необычные свободы. Да, погуляли мы вволю по мадридским кабаре с испанками, но и выполняли запутанные, мутные дела — такая работа требует развлечений.

«Самой срочной, самой неотложной нашей задачей было очищение бригады от влияния и инфильтрации троцкистов. Это было не так просто, хотя в балканских бригадах кадры были гораздо более большевизированные, более преданные Сталину и советскому государству. Однако балканские бригады ежедневно соприкасались и в боях сотрудничали с западными бригадами, которые — особенно из стран с легальными партиями — не были ни столь чисты, ни столь иммунизированы.

«Сверх этого в Испании действовала троцкистская организация ПОУМ, не очень сильная, но весьма активная. Она вдруг стала крепнуть — пожалуй, из-за испанского темперамента и широкой анархистской основы: в конце концов, троцкист — просто вывернутый наизнанку анархист. Болгар и югославов было

нетрудно очищать от поумовских влияний, но оставались латиняне: французы и итальянцы, да и некоторые англичане, левые лейбористы, охотней всего проявляли свою левизну, кокетничая с троцкизмом... Я рассказываю тебе все так, как нас тогда инструктировали, — не так, как я думаю теперь: все много сложнее, картина у меня в голове была искажена, и не столько давлением пропаганды, сколько самоубеждением.

«Для советской власти ликвидировать троцкизм в Испании было исключительно, принципиально важно: в Советском Союзе троцкисты практически уже были уничтожены, но разоблачение других оппозиционных течений, особенно бухаринцев, как союзников Троцкого и троцкистов, еще продолжалось. Ты знаешь, что троцкистов разоблачали сначала как течение, чуждое большевизму, потом как контрреволюционеров и, наконец, как шпионов империалистических государств, в первую очередь, нацистской Германии, — антифашистская пропаганда, направленная против нацистских поджигателей войны, была тогда еще актуальна. Всякое оживление и укрепление троцкистов где бы то ни было в мире, тем более в революционной Испании, было бы катастрофическим для Сталина и советской партии: оно обнаружило бы чудовищность московских процессов и всю безосновательность сталинских обвинений. И, еще важнее, — на мой взгляд, самое важное, — обратило бы внимание мира на то, что в Советском Союзе нет никакого нового бесклассового общества, а только невиданная и немыслимая тирания. В этом было дело, а не в троцкизме: у самого троцкизма нет ни корней, ни надежд — в Испании вряд ли больше, чем в любой другой стране!.. Поэтому, Смилян, ликвидация троцкистов была поставлена как задача и обязанность более срочная и более важная, чем война против Франко и франкистов...

«Но борьба против троцкистов, истребление троцкистов в Испании было делом непростым: надо было

соблюдать формы, чтобы не нарушить суверенные права испанского правительства, охраняющего своих граждан на своей территории. Конечно, испанское правительство зависело от советского в снабжении оружием и дипломатической поддержке — можно было ожидать и рассчитывать, что испанское правительство кое на что закроет глаза, хоть и без формальной договоренности. Оно это и делало, и тем более без труда, что никогда полностью не контролировало многочисленные и многообразные партийные армии. Ликвидация троцкистов, как и окончательный разгром ПОУМа, были проведены испанскими товарищами, силами испанских коммунистов, а когда надо было, приходили на помощь и интербригадовцы.

«Меня вызвали, чтоб я помог ликвидировать — в действительности, чтобы ликвидировал! — бельгийского коммуниста Жана Дебуа. Дебуа был во французской бригаде: в Бельгии коммунистов мало, и, поскольку большинство из них франкоязычные и находятся под влиянием французской компартии, их распределили во французские соединения интербригад. Я ничего о нем не знал, кроме того, что мне сообщили: что это скрытый троцкист — этикетка похуже, чем фашистский шпион... Мы, сотрудники Службы, разумеется, знали, что троцкисты не являются фашистскими шпионами и что единственным преступлением Троцкого и Бухарина была другая точка зрения, другой политический курс, чем у Сталина, Молотова и большинства советского ЦК. Но мы знали, да и не просто знали, а видели и другое: никто в СССР, тем более в нашей Службе, не выживет, если не уверует в факты, приводимые на процессах, и в справедливость обвинений, т. е. в официальную точку зрения. Уверовал и я! Убедил себя! Сначала меня к этому самонабуждению привел сам факт существования советского государства — не забывай, что я был иностранец на его службе! — как несомненной главной силы революции:

перед лицом войны и фашизма необходима, жизненно необходима сплоченность мирового коммунистического движения и советского народа вокруг советской власти. А когда я воспринял эту сплоченность как необходимость — все уже пошло легко, и ничто не имело значения!..

«Потому я не интересовался личностью Жана Дебуа, но с прирожденной добросовестностью готовился выполнить порученное задание.

«Задание состояло в том, чтобы заманить его на советский корабль, — там его приняли другие агенты и, судя по всему, спровадили на советский тот свет.

«Орлович связался с контрразведкой и комиссаром бригады, где был Дебуа, а они «обязали» Дебуа вернуться в Бельгию для мобилизации новых добровольцев. Все протекало гладко: чтобы Дебуа ничего не заподозрил, название корабля было заменено французским — из-за фашистских подлодок и кампании фашистских стран за невмешательство советского правительства в испанскую гражданскую войну советские корабли постоянно меняли флаги и названия.

«Все протекало гладко, а все-таки у меня было ощущение, что Дебуа что-то заподозрил. Я должен был под видом моряка встретить Дебуа в определенном месте и проводить на корабль. Он был высок, светловолос, лет тридцати, с виду одухотворенный и меланхоличный, как все те, кого книги интересуют больше, чем жизнь. Я внезапно почувствовал, как он пробуждается, задает вопросы: а где корабль, а чей корабль, а почему такая таинственность, но, поскольку мой французский был несовершенным, я ответил только, что я немецкий беженец-антифашист.

«Ну, все прошло, как и было запланировано. Я бы и это пережил с чистой совестью, если б не впуталась неожиданная, непредвиденная случайность.

«В Мадрид — месяца через два-три после исчезновения Дебуа — добралась его жена с дочкой и с

бельгийским адвокатом, в поисках мужа и отца, пропавшего без вести: комиссар и контрразведка его бригады утверждали — по совету Орловича, — что он попал в плен, но другие офицеры бригады опровергали это. Эту поездку и розыски, не скрываясь, поддерживали бельгийское правительство и посольство в Мадриде: буржуазно-демократические правительства коварны, но блюдут законы — не любят своих коммунистов, не сожалеют о них, но за границей защищают их как своих граждан. Этим, между прочим, объясняется, почему в Советском Союзе репрессировали и ликвидировали только коммунистов из нелегальных партий, о которых их страны — как о своих гражданах — не беспокоились.

«Бельгийский адвокат нанял в Мадриде испанского адвоката для обращения к соответствующим испанским властям. А с этим адвокатом, левым республиканцем, — Служба нас учила, что связи с либеральными и социал-демократическими, даже, более того, с консервативными деятелями не только меньше бросаются в глаза, но особенно целесообразны, — так вот, с этим левым республиканцем Орлович и я были связаны по работе: не воспринимай это, Смилян, как некую роковую случайность — все секретные службы ходят узкими тропками, в своей среде.

«И наш наивный, простодушный левый республиканец пригласил меня на ужин — не знаю ли я, мол, чего-нибудь о судьбе Дебуа. А там — как ты уже чувствуешь — были дочка и жена Дебуа и его бельгийский адвокат.

«Не буду, Смилян, затягивать — что же выяснилось на этом ужине?

«А выяснилось на этом ужине, что Дебуа не был никаким двуличным врагом, да и троцкистом не был. Он был видный бельгийский коммунист, даже теоретик. Но по привычке, существующей в западных демократиях, — по привычке, не угасшей, не вытравлен-

ной даже у коммунистов, — он писал о своих сомнениях и искал достоверных доказательств. И чтоб его не посчитали отошедшим от революции и антифашистской борьбы, он отправился в Испанию — «проверить себя», как говорилось.

«А самым тяжким, самым неловким для меня было то, что я должен был притворяться и утешать жену и дочку человека, которого сам заманил на смерть; да, я утешал их, как друг и соратник; во мне все смешалось: историческая неизбежность жертвы и заблуждений с настоящей жалостью и с приглушенным, спрятым ужасом перед самим собой...

«Но это еще не конец моего рассказа, хотя и важный, быть может, переломный момент и в рассказе, и в моей жизни.

«Мой начальник и друг Хусейн Орлович не был на ужине у испанского адвоката, где были жена и дочка Дебуа и его бельгийский адвокат и во время которого... во время которого я впервые воистину оказался на горячих углях, то есть почувствовал себя всего лишь слепым — да, да, именно слепым — орудием непознаваемой, мрачной и в совершенстве организованной силы.

«Я сказал, что Хусейн там не присутствовал — он был где-то на фронте. После его возвращения в Мадрид я рассказал ему, что произошло. Но я умолчал — по выработанной привычке Службы — о том, как этот ужин, эта встреча с семьей Дебуа на меня повлияли и какие сомнения — нет, больше чем сомнения, уверенность! — какие сомнения эта встреча у меня вызвала. Конечно, я его знаю, думал я, но в нашей работе, в нашей Службе никогда не знаешь, что с кем приключится: Орлович может в один прекрасный день потерять доверие Службы, и лишние знания станут для него опасным бременем — и вот тогда, под уговорами, под пытками он может проговориться обо мне и о моих колебаниях. А по приезде

говоря, не потому я скрыл от Орловича свои сомнения, а потому, что и с самим собой толком не мог разобраться: с ума ли я начал сходить или, хуже того, уж не изменяю ли я революции и великому делу Маркса и Ленина? Был я, как можешь догадаться, в страшном замешательстве, в неожиданно подорванном — по сравнению с прежней моей самоуверенностью — душевном состоянии.

«Потом, вижу, Орлович заметил перемену во мне и с преувеличенной сердечностью советует: — Забудь — как раньше все забывал. Знаешь, Петр, — впервые он назвал меня не «испанским» псевдонимом «Родригес», как было положено по инструкциям, — знаешь, Петр, такие происшествия в нашей работе неизбежны: что-то подобное, хоть не совсем такое, и со мной было. Личные желания полней осуществляются, а личные неудачи скорей одолеваются, когда сливаешься с революционными, конкретными задачами — сливаешься, а не просто подчиняешься им...

«И действительно, я почувствовал, что прихожу в себя и успокаиваюсь, заваленный поручениями.

«Но до конца успокоиться я не мог — Дебуа и его жена не выходили у меня из памяти: даже когда я не думал о них, я чувствовал, что они за мной следуют, выплывают откуда-то из моих потемок, как неотгонимое и непреходящее привидение — с ним засыпаю, с ним просыпаюсь. Этому состоянию, несомненно, способствовало и то, что бельгийская пресса постоянно подогревала историю Дебуа как сенсационный и скандальный случай. Частично это попадало и в испанскую гражданскую печать, даже в печать Социалистической партии Ларго Кабальеро, который уже ссорился с коммунистами. И словно черт подсовывал мне все эти газеты под руку, так что они начали приводить меня в какое-то болезненное, невротическое состояние, и я в первую очередь искал в них — и, надо же, в первую очередь находил! — случай Дебуа...

«Ну, я уж тебя замучил этими своими переживаниями!

«То ли Служба опасалась, что нас раскроют, то ли заметила перемену во мне, то ли решила поручить нам новые, более важные задания — только нас, Орловича и меня, через два месяца перевели в Париж.

«А в Париже, в югославской эмиграции, и ни более, ни менее, чем на самых верхах ЦК, происходили неожиданные, хотя и не слишком необычные вещи: секретарь партии Горкич был отозван в Москву и там арестован, а новый еще не был назначен, в результате — замешательство и неизвестность... Позже мне стало ясно, что Служба не случайно перебросила нас в Париж и выдала задание именно в такой момент.

«Орлович и я не первый раз были в Париже, так что устроиться нам было нетрудно. Мы только — именно потому, что нам поручили разработку югославской эмиграции, — избегали Латинский квартал и его окрестности, где эмигранты больше всего и жили и встречались.

«Была осень, парижская, как всегда, прекрасная осень. И весело было в Париже — как всегда, как никогда.

«Но не прошло и месяца, как мы получили задание — новое убийство. О типе мы знали только, что он югослав и бывший член ЦК. Опять, значит, какой-то предатель и троцкист!..

«Всей акцией руководил Орлович — точнее, руководил кто-то другой, но вся организация была возложена на Орловича, а выполнение — на меня.

«Чтоб не мучить тебя ожиданием: в назначенный день и час, когда этот человек должен был выйти из партийного книжного магазина «Les Horizons» — и магазин, и его «хозяин» уже были объявлены подозрительными, — я находился напротив, в машине, принадлежавшей Службе или, возможно, неизвестному мне ее агенту. Типа этого мне должен был пока-

зять один югославский студент, коммунист, который сразу затем должен был уехать в этой машине — о моем задании студент, разумеется, ничего не знал и не имел понятия, кто я.

«Как только из магазина вышел человек в полувоенном плаще и в надвинутой на глаза шляпе, со связкой книг, явно ничего не предчувствуя, потому что он спокойно останавливался перед витринами и купил в киоске газету и сигареты, — студент подал мне знак, что это и есть тот самый тип, и я пустился за ним следом.

«Я осторожно следовал за ним, а за мной следовал другой автомобиль, с Орловичем, — чтобы подхватить меня при бегстве или другой необходимости.

«Действовать надо было быстро, но выбрать удобный момент. Тип поднимался на Монмартр — тамошние улочки очень удобны: беззаботная богема и редкие полицейские.

«В один удобный момент тип остановился около какой-то витрины, я сунул руку под пальто и обхватил рукоятку револьвера — револьвер в таких случаях носят за поясом по некоей странной, возможно, наследственной привычке: так у нас в старину носили...

«Но человек оглянулся — по свойственной подпольщику осторожности или же почувствовал, что кто-то за ним следит... Я обычно не только не присматривался к виду и поведению своих жертв, но даже — правду говоря, не знаю, почему, — избегал этого. Но... мы оказались лицом к лицу, за четыре-пять шагов — идеальное расстояние, чтоб не промазать... Но... Но... Я его узнал: Богдан Перкович. Может быть, я еще ушел бы, уклонился, но в ту же минуту и он меня узнал — и мы кинулись друг другу в объятия.

«Богдана и ты, Славко, знаешь: он к тебе приходил — он рассказал мне — от подпольного ЦК. А я его знаю с детства — мы с Невесиной, из соседних сел. Нетрудно, Смилян, убить члена ЦК! Но как убить

друга детства, с которым учился в одной школе в Мостаре? И это еще не все! Как убить друга, который помогал мне скрываться, который в Вене обращал меня в коммунизм? Которого я знал и ум, и душу, и потаенные помыслы!...»

Петр Башич умолкает, поникнув, разминая пальцами сигарету.

— Я слышал, что Богдан, — вступаю я, чтоб что-то сказать, — погиб в Испании: его прославляют — даже одно соединение интербригад получило его имя.

— Да, теперь прославляют, — почти выкрикнул Петр. — Его очень любили, очень уважали в партии — может, это ему и стоило жизни! Потому что в Испании он был убит! В спину стреляли — мозг брызнул, глаза на землю выскочили! Мешал: самостоятельный, своей головой, своим умом думал...

«Но закончу!

«Я подал знак Орловичу — пусть скрывается с машиной — и продолжил путь с Богданом. Отвез его в такси — несколько раз менял такси! — на другой конец Парижа, в кафе. И все ему рассказал — рассказал, что он приговорен к смерти и что я должен был его казнить.

«Но, знаешь, что мне он, Богдан Перкович, ответил? Я, говорит, чист, совесть у меня чиста, и я партию и революцию не оставляю, что бы со мной ни случилось...

«Прошло меньше месяца — его отправили в Испанию, в интербригаду. Мы тайно встретились перед его отъездом. Он был озабочен и в то же время счастлив: — Там, — говорит, — покажу и докажу, что подозрения были неоправданны... — И доказал, уже знаешь!..

«А я не мог скрыть от Орловича, почему не выполнил задания: он из автомобиля видел, как мы общались. Он отнесся к этому неопределенно, хоть и не враждебно, и сказал мне: — Знаешь что, Петр. когда однажды войдешь в революционное движение,

уже не можешь из него выйти, а если выйдешь, то клейменым — так или иначе, а клейменым. Не выполнил задания — ну, это как-то можно объяснить и оправдать. Но покинуть движение, Службу — разве у тебя есть еще одна, иная жизнь?..

«А я все свое — не могу больше! И бежал сюда, в свою, в преданную мной страну, — тут мне и голову снимут: пади, голова, на родную землю!..

«Чувствую ли я себя, после всего этого, виновным?

«Эх, друг Смилян, это вопрос неверный — не в чувстве вины дело, а в чем-то большем. Сознание мучит! Сознание, что был слепым, ослепленным орудием в руках злейшей — не скажу демонической, хоть слово это так на языке и вертится! — в руках злейшей силы... Да, не только в вине дело, не только в чувстве вины. Все мы, Смилян мой, в одном котле — и жертвы и палачи...»

4

Приближалась полночь, а может, было и за полночь; моя жена и прислуга-словачка уже вернулись и улеглись в своих комнатах.

— Ты и не поужинал — не вспомнили, — заметил я, прощаясь.

— Это не важно, да и важно ли еще что-то, Славко Смилян?

С этими словами мы и распрощались — навсегда.

Петр, как он и говорил мне на прощанье, отправился в Загреб. Он говорил: «Кое-какие сбережения для начала у меня есть, родня кое-какая, а полиция в Загребе, после создания независимой Хорватии, только организуется и осматривается, так что мне там будет и побезопаснее...»

Я ничего о нем не слышал до послевоенных времен. А тогда услышал от ответственных товарищей, что усташская полиция обнаружила его и расстреляла: гибели он заслуживал, по усташским меркам, уже за то, что серб, а тем более, в молодости был борцом за создание Югославии, в зрелом же возрасте служил в советских секретных службах. Из дела, обнаруженного в усташском архиве, видно, что он в заключении — это официальная оценка — держался с достоинством: признавал только свою революционно-национальную деятельность накануне и во время Первой мировой войны, что было известным фактом, а какие бы то ни было контакты с советскими секретными службами отрицал.

Но Петра Башича нигде не упоминали — несомненно, из-за слишком тесных отношений Югославии с Советским Союзом. Только после 1948 года, после разрыва этих отношений, его имя начало встречаться в печати, сначала в местной, в его родных краях, а потом — шире. Ну, конечно, только как имя отважного революционера. Но пошли и слухи — в осведомленных кругах, — что Башича в Загребе в 1942 году подцепил на крючок агент Службы — под видом посланца от югославской партии, чтобы перебросить его к партизанам. И вместо партизанского отряда Башич попал — судя по всему, по доносу этого агента — в усташскую полицию.

Судьба Хусейна Орловича была несколько иной. Служба отправила его в 1940 году в Белград — чтобы он через недовольных из прежней «Черной руки» и через другие «буржуазные» связи собирал военные и политические данные и незаметно приглядывал за новоназначенным ЦК. Ну, и его вскоре после оккупации, уже в 1941 году, схватило гестапо на вилле в пригороде Белграда. И его расстреляли. И он держался достойно — не открыл ни своего настоящего имени, ни, тем более, своей деятельности.

Но и Орловича не упоминали и не славили до 1948 года, хотя на то не было ясных причин: насколько известно, он не «предал» революцию и не повернулся против Службы и советской системы. Югославские власти упорно, но безуспешно расследовали, как дошло до ареста Орловича, в то время как советские органы не проявили к этому никакого интереса. Югославские власти занимались этим по своим соображениям — чтоб открыть доносчика, который, может, и дальше работает на какие-то службы, а к тому же, Орловича хорошо знали и ценили на партийных верхах.

Югославы объясняли это тогда тем, что советские секретные службы не хотят, чтоб знали об их агентах и методах. После 1948 года это объяснение стало наивным, а гибель Орловича еще больше окуталась таинственностью.

Орловича теперь в его родных местах и во всей Югославии прославляют безоговорочно — я слышал, что о нем даже сняли фильм: судьба, по видимости, хотя бы на некоторое время обошлась с ним справедливей, чем с Башичем.

И что же я скажу на полях этой исповеди Петра Башича в моем изложении?

Эта исповедь, этот рассказ непрестанно наводит меня на мысль о том, что миром правят, правят в мире оргию тайные силы. Я не имею при этом в виду тайную полицию государств. Даже великих держав: и она — только средство этих неуловимых, этих — назовем их так — высших тайных сил. Я имею в виду силы — быть может, случайности? — которые застают человека врасплох, непредвиденно. То же и с вождями народов: они не в состоянии предвидеть последствия и формы борьбы и начинаний; кажется, только народ — народ как целое, «предвидит» и решает свою судьбу, уже тем самым, что ничего не предвидит и не обдумывает, но живет и борется, чтобы выжить и пережить.

А что касается содержания и способа изложения этого рассказа — я вовсе не думаю, что это мое самое литературное и самое значительное произведение. Но мне важно, но я хотел бы, чтобы оно было полнейшим, подлиннейшим отчетом о моем чужом времени — о неумолимых тайных силах, которые определяли и мою судьбу писателя и борца. Не выше ли это, чем литература?

Напомню, что я изменил имена и местности, кое-что сократил, кое-где исправил фабулу применительно к главной идее и главному течению действия. Но если кто-то откроет сходство с действительными лицами и событиями — сходство это не случайно.

Хвар, 28 января — 4 февраля 1981 г.

НОБЕЛЕВСКОМУ КОМИТЕТУ В ОСЛО

Узнав, что Нобелевский комитет принял к рассмотрению кандидатуру Леха Валэнсы на Нобелевскую премию мира, мы хотим всецело поддержать эту кандидатуру.

Лех Валэнса — стойкий, несгибаемый и мудрый человек, душа и символ «Солидарности». Той «Солидарности», которая и сейчас, в условиях навязанной ей коммунистическими генералами войны, ищет путей к социальному миру и национальному соглашению.

Лех Валэнса в высшей степени достоин занять место в ряду таких защитников подлинного мира, как Карл Осецкий и Андрей Сахаров.

От имени редакции и редколлегии «Континента»:

Василий Аксенов, Ценко Барев, Джордж Бейли, Николас Беттелл, Энцо Беттица, Иосиф Бродский, Владимир Буковский, Ежи Гедройц, Густав Герлинг-Грудзинский, Корнелия Герстенмайер, Александр Гинзбург, Пауль Гома, Наталья Горбаневская, Петр Григоренко, Ирина Иловой-ская-Альберти, Эжен Ионеско, Наум Коржавин, Эдуард Кузнецов, Владимир Максимов, Эрнст Неизвестный, Виктор Спарре, Юзеф Чапский, Пьер Эмманюэль.

ЗАПЛАЧУ О НЕВЕРИИ СВОЕМ

*«Господи, я верую, верую;
помоги моему неверию!»*

1

А в наш ужасный век,
Среди иных планет,
Я знаю: человек
Не вывернется, нет.
Налей вина мне, Пирр!
Твоя победа — тьма,
Как наш последний пир,
Когда вокруг чума.
А если Бог и есть,
За нас, за наш убой
Он чокнется, Бог весть
С кем — может, сам с собой.
Он Бог, он в небеси,
Но в нем клокочет бес:
Пощады не проси
У чокнутых небес.
Последний танк рычит,
Последний мозг кричит
И в страхе воеет плоть:
«Прости меня, Господь!»
Налей мне, Пирр! Я прах,
Но я и Вечный Жид.
Что у тебя в руках
Бутылка дребезжит?
Но Бог, он судия,
Я копошусь внизу...

Но даже к Богу я,
Как червь, не поползу.
Средь атомных шутих,
У бездны на краю
Я обопрусь на стих
И встречу смерть свою.

2

И вновь больничные палаты...
Прими лекарство, бинт сверни.
А Бог опять взимает плату
И пересчитывает дни.
Его всевидящее око,
Его бестрепетная длань
Неторопливо и жестоко
Перебирают нашу дань.
Ну что ж, кичись своей казною!
Мы не в обиде, мы в тоске.
Мы прячем руки за спиною,
Зажав монеты в кулаке.
Идет беда по коридорам,
Сосед притих и спал с лица...
И этим Божеским поборам
Не видно доброго конца.

3

А три раввина собрались втроем,
Решая непосильную задачу.
И думали: я все-таки заплачу,
Заплачу о неверии своем.
Они к молитве созывали всех
И над душой поверженною бились —

И за меня, как за себя, молились,
Почти что не надеясь на успех.
А я, лежавший в пепле и в дыму,
Не реял в небе и рекой не лился...
И не ЕМУ, но все-таки молился.
И сам себя обманывал: ЕМУ!

4

Почему от слова «плачет»
Перехватывает дух?
Разве это что-то значит —
На бумаге и не вслух?
Почему от слова «горе»,
Позабыв тропу свою,
Я, как дуб на косогоре,
Опечаленный стою?
И других оберегая,
Я себя не уберег.
Вот пишу, стихи слагаю...
Почему от слова БОГ...

5

Младенец в яслях, что глядишь
Тревожно, как пророчество?
Что, дерево, листвой гудишь —
Иль стать крестом не хочется?
Не хочется! А ночь в упор,
Вонзились звезд зазубрины.
Уже откован тот топор,
Которым будешь срублено.
Уже откован тот топор,
По ветру ветки маются...

Младенец руки распростер,
На ножки подымается.

6

Был хлеб веселым круглолицым парнем,
Он к нам ввалился прямо из пекарни
С коричневой от зноя головой.
Дымился он довольными ломтями,
И, сдвинув скатерть дружными локтями,
Мы пировали в радости живой.
Ручьем вилась свободная беседа,
Сосед, смеясь, перебивал соседа,
Бутылка кочевала вдоль стола...
Вдруг словно тень какая-то прошла.
И все преображалось постепенно:
Менялся стол, вытягивались стены,
Свисала скатерть, мокрая от слез,
Стал черствым хлеб, не звякала посуда...
И мы не знали, кто из нас Иуда,
А кто Христос?

7

Как манят тридцать сребреников! Руку
Протянешь и отдернешь. Но Иуду
Семь раз предашь анафеме, за то что
Он руку протянул и не отдернул.

8

Не лгите мне — не я распял Христа!
Я даже не сколачивал креста,

Я даже не выковывал гвоздя
И не смеялся, мимо проходя,
Я даже и в окно не поглядел...
Я просто слышал, как народ гудел, —
Мне было зябко даже у огня,
И странно слиплись пальцы у меня.

9

На чердаке заброшенном — рояль,
Его нутро гудит от непогоды.
Сюда спускался Бог седобородый —
Сидел, поставив ногу на педаль.
Откинувшись, закрыв глаза на миг,
Он клавиши какой-нибудь касался...
Но даже мне он Богом не казался —
Суровый и измученный старик.
Дом оживал — скрипучий, беспокойный.
Дом спрашивал его: «Неужто зря?»
В окно, как волны, колотились войны,
Басы гудели, словно лагеря.
Рояль дышал и вздрагивал под пылью,
И в этот час один лишь я и знал,
Как плакал Бог от страха и бессилья
И голову на клавиши ронял.

10

На Купчинском шоссе у переезда
Ждем поезда... Уже грохочет тьма.
Над нами небо — гулкий лист железа
И траурные черные дома.
На Купчинском шоссе у поворота
Струится ночь, как горькая вода.

Открой нам, Петр, небесные ворота,
И мы войдем, потупясь от стыда.
На нас грехи, как скользкие отрепья,
Мы крест не смеем приложить к устам,
Но поезда во всем великолепии
Влетают в рай за нами по пятам.
И всё: мужчины, женщины и дети —
Подобие катящихся планет.
И больше нету грешников на свете,
Но — Господи! — и праведников нет.

11

Входят в мир мой, который не выжжен
И пребудет со мною вовек,
Кошка Бишка, и сын ее Иржик,
И собака по имени Гек.
Надвигается мгла без спасенья,
Но я верю, я верю, Господь,
Что настанет пора воскресенья —
Дух оденется в новую плоть.
И тогда я, счастливый, увижу,
Что воскресли — как я, человек —
Кошка Бишка, и сын ее Иржик,
И собака по имени Гек.

12

Если где-то на крыши
Опустилась печаль,
Слышу, Господи, слышу,
Жаль мне, Господи, жаль.
Если мимо незрячий
Идет человек,

Плачу, Господи, плачу —
Не утихну вовек.
Я, как рана сквозная,
Весь приникнул к ножу.
Знаю, Господи, знаю —
От рыданий дрожу.
Все небесные грозы,
Все земные моря —
Это, Господи, слезы,
Это мука моя.

13

Господи, помилуй!
Господи, помилуй!
Боже, дай подняться, дай собраться с силой.
Я тебя не видел, я тебя не знаю...
Дай прожить, ладони кровью не пятная.
Огради от горя, охрани от муки —
Я тебе целую сморщенные руки.
Даже если вправду нет тебя, Владыка,
Упаси от раны, удержи от крика.
Сжался надо мною, сделай землю милой...
Господи, помилуй!
Господи, помилуй!

ГДЕ ЗАРЫТА СОБАКА

(Подлинная быль)

Печатаемый ниже рассказ Гелия Снегирева попал ко мне в руки уже здесь, в Париже. Переслан был каналами, о которых не принято говорить.

По сравнению с публикациями, увидевшими свет здесь, на Западе («Мама моя, мама...», «Как на духу...», письмо Л. И. Брежневу), рассказ более чем невинный. И в то же время очень «снегиревский». Точнее, «позднеснегиревский». Дело в том, что, будучи уже не юношей, а человеком зрелым, членом Союза писателей, Гелий позволял себе, не очень напрягаясь, писать всякого рода футбольные повести, вроде «Золотой бутсы», или детективы на милицейско-кагебешные темы. Потом вдруг крутой поворот и опубликованная в «Новом мире» небольшая повесть «Роди мне три сына». О ней много говорили тогда. И наконец, еще один, еще более крутой поворот, и в результате тюрьма.

Совсем недавно прочитал я, и читал не отрываясь, интереснейшие мемуары П. Г. Григоренко. Очень серьезный, на редкость искренний и в то же время увлекательнейший рассказ о том, как заслуженный генерал, убежденнейший коммунист, к тому же и сталинист, стал чем он стал — борцом за правду. Е. С. Гинзбург, в свое время тоже очень правоверная, написала одну из лучших книг последнего десятилетия «Крутой маршрут» — рассказ об ужасах и о добре. Микола Руденко, в прошлом секретарь партбюро ни более ни менее как Союза писателей Украины, понял на каком-то этапе своей жизни всю ложь и обман, окружающие его, и, плюнув на все блага, возглавил украинскую Хельсинкскую группу. Результат — тюрьма. О Сахарове я уже не говорю.

Снегирев — не Сахаров и не Григоренко. Но и перед ним расстилалась укатанная, утрамбованная, хорошо асфальтированная дорога. Спокойненько кати по ней, получай гонорары, живи как все, как советовал ему родной его дядя, «выдающийся» украинский совет-

ский писатель Вадим Собко — «Будь с нами, не откалывайся, не дружи со всякими там гадами...»

Не послушал Гелий умного дядю, откололся и был за это наказан. Тюрьма, больница, смерть...

Когда мне говорят об инакомыслящих, диссидентах, борцах за права человека — «Ну, что они могут сделать? Жалкая горстка, раз-два и обчелся. А в стране 260 миллионов», — я вспоминаю о декабристах: нет, не Николай I с Аракчеевым были лицом России, а они. Так и сейчас. Да, горстка, раз-два и обчелся, но в историю она уже вошла. И я рад, горжусь тем, что Гелий Снегирев из этой горстки.

Виктор Некрасов

13. 6. 82 г.

1

Ну, в общем, дело в том, что у нас умерла собака. Подохла, околела, я знаю, что о собаках не говорят — умерла, но эта собака действительно умерла, о чей иначе не скажешь. Но дело не в этом, то есть и в этом тоже, но это потом, а дело в том, что... Нет, и не в этом.

Собственно, собака не наша, потому что у нас есть своя собака, ну да, в нашей квартире живет свой отдельный пес, Варвара увидела на улице мальчишек, они таскали по лужам за веревку на шее щенка, ну, она и выторговала за десятку, при ней ни копыя не было, дома тоже только на молочишко до получки, так она в дом к родителям примчалась: «Собака, там собака, мучают, десять рублей!» — ей папа выдал десять рублей, и у нас появилась своя отдельная собака, назвали Боб, а потом оказалось, что он — она, так стала Бобка. А у Варвариных родителей была своя собака, так вот эта собака она вроде как бы и наша, потому что Варе было девять лет, когда Динка появился в доме,

его полная кличка Дин, так и в паспорте его собачьем записано, настоящий паспорт, книжечка в твердой обложке, фотография владельца, не собаки владельца, ну, не хозяина, а собачья фотография, длинноухий мохнатый спаниель с карточки смотрит, и печати в паспорте, и отметки о медалях и призах, Динка на всяких выставках бывал, даже в Москву летал на самолете и получал призы за породу, за охотничьи способности не получал, потому что из Георгия Ивановича охотник никакой, хоть ружье он и любит показывать гостям, какое-то там редкое три кольца. Но дело не в этом, а в том, что... Ага, вот в чем дело.

Пять дней подряд валил страшный снегопад. Накатало снегу столько, весь город замело, на улицах заносы, троллейбусы еле ползут, а то выстроятся на километр и загорают под снегом, а ты меси ногами это месиво, бабушка моя Маруся семьдесят семь лет такого снегопада не помнит, ей сейчас уже восемьдесят два. Я четыре утра подряд вместо зарядки снег с балкона сбрасываю, сброшу, вечером смотрю — опять закидало балкон до половины окон, дверь приоткроешь, стенка снеговая по плечи, и начинаешь ее обрушивать мусорным совочком, чтобы снег туда сползал, а не сюда в комнату на порог, потому что у самого порога горячая труба от отопления, растает сразу, потечет, сосед Витька снизу примчится, мы на девятом этаже, нам хорошо, нас никто не заливает, а с крыши, дом пока новый, не протекает. Я смотрел, снизу смотрел и с балкона, на других балконах не столько снегу много, то ли к нам с крыши еще насыпается, у нас крыша плоская, ската совсем нету, даже чуть к центру скат, как воронка, а в центре труба сквозь все этажи для воды, это такой экспериментальный проект, ну, посмотрим, как оно получится, вот начнет этот снег таять, его там на крыше метра на полтора уже, не меньше, если не зальет — черт с ним, хоть и экспериментальный. А все лето и осень до первого

снега я на крыше зарядку делал, Варвару пробовал заставить тоже вместе ходить, но от нее системы не добьешься, она только на крышу гостей вечером водит, вид на ночной город показывает, действительно красиво, наш дом высокий и на горе стоит, Черная гора, так и район в городе назывался, старожилы еще и сейчас так говорят, а таксисты уже не знают. Нет, действительно красиво, только крыша никакими перилами не огорожена, и я Варьку одну не пускаю, а ключ от замка на чердак всегда с собой ношу. Тьфу, чёрт подери, опять не в этом дело, никак не соберусь с мыслями, чтоб начать прямо с...

Одним словом — так. История эта, которую я хочу для вас выудить, выражаясь высокопарно, из реки жития-бытия и никак не могу подцепить на крючок, история эта самая что ни на есть реальная. Вот просто целиком от начала до конца было такое дело. Выдумывать мне ничего не надо, и не хочу выдумывать, и не буду, хотел имена переделать, там город, улицу не называть — тоже не хочу. Прямо все вот так есть и как было. А там посмотрим.

Утром я проснулся и сразу первым делом осознал несколько фактов, а именно: что я на своем диванчике, а Варвара дрыхнет напротив у стены через комнату на своей тахте, и лежу я под одеялом без пододеяльника и на кусочке ковры без простыни, значит, ночью Варька разбросалась на всю тахту, меня вытеснила, ужимать ее мне было жалко, и я сонный перелез на диванчик; что сегодня суббота и хвататься за часы на пианино у изголовья незачем; что на крыше гремит лист оцинкованного железа, плохо закрепленного на вентиляционном люке, он уже пять дней гремит без передышки, как какой-то флюгер тревоги, а выйти посмотреть и укрепить я, честно говоря, дрейфлю, ветер такой, что и слух может с крыши, опять же перил нет да и по снегу по этому по пояс лазить не охота, чёрт с ним, пусть гремит, уже привыкли и даже как-то уютно, там

вует, свистит, грохочет, а у нас тепло и тихо; что за окном на балкон, — окно широкое, во всю стену, из трех рам, одно окно, потом стекло в двери и еще одно окно, на одно окно и дверь спущены вьетнамские циновки и натянуты темно-бордовые шторы, а третье окно без циновки, и штора с него сдвинута, и форточка в нем открыта настежь, ветер все пять дней дует в нашей квартире в спину, — там мечутся крупные снежинки, и окно опять до половины в снегу, и нужно вместо зарядки скидывать снег, а мороз, кажется, упал, с вечера было минус 18; что Витаська уже проснулся, агукает и улюкает, и баба уже звякает на кухне кастрюлькой и ложкой, готовит овсянку, а коляска и сегодня будет стоять в коридоре на этаже, выбросить Витаську спать на балкон не удастся, а может, и удастся, надо глянуть на градусник, а от снега коляску можно закрыть плащом; что возле диванчика стоит Бобка, мотает задранной обрубком хвоста, а сразу, как только я открыл глаза, заюлил хвостом всю, залебезил ушами, засеменял лапами, надо идти гулять пса и за молоком и за хлебом, а вставать неохота, и если б еще поваляться, то зашевелилась бы моя Варюха, и я бы перескочил к ней на тахту.

Тут я услышал звонок, короткий и негромкий, и не стал вставать, а лежал и слушал, как баба прошаркала шлепанцами, нагнулась и всмотрелась в глазок в двери, открыла дверь, с кем-то вполголоса забормотала, кто-то с ней зашептался, дверь не закрывалась, наверное, соседка Катя просит спичек или луковицу. Нет, дверь закрылась, тихий разговор продолжался, Бобка уже у двери, царапнула косяк и подскулила. Я сел на тахте, смаху сунул ноги в старые родные лыжные штаны и в тапочки, шагнул двумя шагами к двери, потянул дверь чуть вверх и на себя, чтобы не так громко щелкнула магнитная защелка. В коридоре напротив бабы стояла Елена Владислововна, Варина мама, в левой руке держала голубые вязаные варежки,

смахивала ими остатки снега с рыжего пушистого воротника, а правой встряхивала такую же рыжую и еще больше пушистую шапку. В черном в талию пальто и английских тоже рыжих, как из замши, сапожках за 65 рублей она была стройная, совсем молодая, высокая, и я сразу вспомнил, как она достала из-под полы Варваре в подарок и себе по сто рублей очень изящные шерстяные бельгийские костюмы с замшей впереди от плечей до бедер, как они их примерили, надели, вышли вместе там у них дома в столовую и Елена Владиславовна громко рассмеялась и сказала:

— Ну, дорогой зятек, которую из дам вы предпочтете для бального котильона, а?

Она-таки совсем молодая и даже кажется стройнее Варьки, а с Варькой у нас танцевать почему-то не получается, хоть я танцую неплохо, только твистовать никак не научусь, а она и твистует с другими партнерами дай Боже, а с ней мы пробовали раза два потанцевать, так она почему-то на меня смотрит с иронией и говорит, что с мужем танцевать это пошло, а мне с другими танцевать неохота.

Елена Владиславовна сказала что-то Бобке, опустила к нему руку с варежками, увидала меня и сразу быстро и энергично — она все делает энергично, вообще женщина очень энергичная, — заговорила:

— Вот хорошо, проснулись. Варвара спит — и пусть, не будите. Здравствуйтесь, Саша, я не раздеваюсь, мне надо скоро уходить.

Она резко перегнулась в комнату к малышу, совсем другим тоном, неожиданно ласково пропела:

— Витасичек мой масенький, ты уже покусал, моя сонышка? Ах ты мой лодненький катавасечка, цыпонец моя лодненькая, любимая моя!

Слово «катаваська» для нашего пацана как-то в приливе отцовской нежности вырвалось у меня среди прочих разных ахов и междометий и Елене Владиславовне очень понравилось, она нашла в нем удачное

соединение нежных кличек Котка и Васька с той катавасией, которую все всегда устраивают вокруг Витаськи.

Так же резко Елена Владиславовна выкачнулась из двери к Витаське, опять вполне деловито сказала:

— Мария Петровна, мы в кухне поговорим, чтоб вам не мешать, — быстро прошла в кухню, села на трехногий желтый табуретик. Я проводил взглядом ее спину, отвел глаза, когда она повернулась ко мне, я старался разогнать остатки сна и получше приготовиться к тому, что что-то случилось и я сейчас об этом узнаю. Судя по тому, что в приветствии любимому внуку употреблено мое слово «катаваська», в случившемся, о котором мне сейчас сообщат, я не виноват, а там кто его знает. Я снял с вешалки свою старую и любимую куртку-болонью с давно уже сломанной молнией, на когда-то теплой и белой подкладке, влез в нее, запахнул на голой груди, грудь у меня волосатая, Варька говорит «мохнучая» и говорит, что любит мою «мохнучину», но, наверное, от родной тещи ее все-таки положено прикрывать. Я открыл дверь на лестницу и выпустил Бобку, дорогу на улицу он находит сам, потом шагнул в ванную — у нас именно шагаешь: один шаг — в ванной, еще шаг — в уборной, два шага — в кухне у окна, квартира маленькая, мало-метражная, это для нее тот детский горшок из армянского радио ручкой вовнутрь, но ничего, у нас уютно и вообще неплохо. Да, шагнул я в ванную, плеснул холодной водой в глаза и прямо с полотенцем вошел в кухню, пролез за столик в угол, сел на кованный бабушкин сундучок, покрытый малиновой попонкой, — весь внимание, подставил Елене Владиславовне свои пустые, ничего не выражающие очи: сейчас мне кое-что сообщат и тогда они, очи то есть, что-то выразят.

Ох, дело в том, что я не зря паялил и заставлял быть пустыми глаза, иначе они бы слишком откровенно выражали тревогу. Я даже не догадывался, а

точно знал, что такое случилось и почему в субботу спозаранок прикатила Варина матушка и почему сказала «спит — ну и хорошо». Беда мне с моей Варькой — Варежкой — Варюжкой, вечно влопается в какую-нибудь историю и никак ее оградить невозможно. И так уж медленно ее опыт этот самый уму-разуму этому самому учит, сил никаких нет.

Елена Владиславовна стучала ребром левой ладони по жирному пятну на клеенке стола и говорила:

— Саша, (стук) надо срочно (стук) нам с вами (стук) держать военный совет (стук). Дома у нас очень (стук) трагичная (стук) ситуация (стук), я примчалась пораньше (стук)... Сегодня рано утром в пять часов утра...

Ребро ладони острием топора зависло над клеенкой, а я про себя, не вслух ни в коем случае, а молча, договорил: «...скончался Василий Степанович Рогов» — и мне стало как-то так чуть-чуть слегка нехорошо.

Дело в том, что мы с Варварой попали в несколько странную зависимость от одного человека, вот этого самого Василия Степановича Рогова. Странную в том смысле, что если бы ему стало худо, скажем, он бы вдруг отдал Богу душу, то было бы худо и Варьке, нам то есть с Варькой. Я не хочу отвлекаться, прерывать рассказ о любезной мне беседе на кухне с Еленой Владиславовной и разжигать мою весьма стройную и лаконичную историю всякими растеканиями по древу. Просто информирую вас: есть такой вот Василий Степанович, который может сделать нам беду, и если бы он, к примеру, помер, то нам от того было бы не лучше, а много-много хуже. Ну, а для тех любопытных, кому все-таки хочется понять, как это так возможно и в чем все же суть, я изложу подробности в конце, после всей эпопеи с зарытой собакой. Кто захочет — прочтет, кто не любопытен — таким и осганется. Вот тут я ставлю цифру один (1) — вот так, и в конце под такой же цифрой (1) вы найдете

кое-какие иллюстрации к проблеме «отцы и дети». Только не листайте в конец сразу и не беритесь читать теперь, успеется, иначе потеряете цельность впечатления и интерес к истории о собаке.

Итак, я, сидя в углу кухни на бабушкином окованном сундучке, покрытом малиновой плюшевой попонкой, закончил про себя слова Елены Владиславовны:

— Сегодня рано утром в пять часов утра...

Я (молча): — ...скончался Василий Степанович Рогов.

ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА (вслух): — ...умер, наконец, наш Динка.

Пустота в моих глазах исчезла, глаза, я сам это ощутил, до верху наполнились ошалелым удивлением и рвущимся наружу криком:

— Разве не Рогов?! Да вы не шутите?! Динка подох... умер, да?!

Я поперхнулся, сглатывая слюну, и не дал вырваться крику. И потом уже о Роговых тоже не кричал и ничего не спрашивал: раз Елена Владиславовна молчит о них, значит все тихо, потому что, хоть гибель Динки и есть трагедия для дома — для семьи, но неприятностей, связанных с Раисой Захаровной Роговой, если бы эти неприятности нам грозили, она, трагедия эта, не затмила бы. Так вот я поперхнулся, сглотнул слюну, придал своей физиономии глупо-сочувственное выражение и успокоился — так вот сразу внутренне и успокоился: ну, умер Динка, его собачьей смерти ждали уже года два и молили о ней Господа, потому что он болел, какая-то у него проросла опухоль, ухаживали за ним, как за малым ребенком, гулять с третьего этажа во двор на руках таскали, а в нем все-таки с пуд было, шерсть с него клочьями по всей квартире, я уже не раз Георгию Ивановичу говорил — не мучайте собаку и сами с ней не мучайтесь, один укол — и все, гуманно и естественно. Нет, говорит, не могу, это ж он у нас как член семьи, как человек, четырнад-

цать лет в доме, Варюше было восемь, когда его вот такусеньким принесли, в моем старом шлепанце любил спать, а бабушка Татьяна как к нему привязана, он же каждый ее вздох и малейшее шевеление мизинца понимает — нет, не могу! Ну, не можешь — так не можешь, терпите и несите свой крест или как его там, и таки несли, пока Динка сам не сообразил, наконец, им помочь.

— Да, умер, наконец, Динка, — повторила Елена Владиславовна. — Вы знаете, Саша, как человек жил в семье и умер, как человек. Он же лежал, почти не двигался под столом у Георгия Ивановича вот уже неделю, голову ему приподнимет Георгий Иванович, я залью вот так сбоку воды из ложки, хвостом вильнет и опять неподвижен, только бок вздымается от дыхания. А вчера вечером сам поднялся, два раза падал, пока дошел, пришел к бабы-Таниной кровати, она вот так сидела, он у ее ног вытянулся и голову на ногу положил и затих. Она над ним всю ночь просидела, ногу не хотела из-под головы забирать, а утром в пять часов он глаза открыл, посмотрел на нее, слеза из глаза выкатилась, вздрогнул и замер. Навсегда уже.

Я сочувствовал, вытягивал трубочкой губы, кивал — я-таки искренне сочувствовал, Динка был стоящим псом, жаль только, по-охотничьи не пришлось ему пожить, главным своим инстинктом и гением наслаждаться, — а потом сказал что-то насчет того, что пес оказался умнее и гуманнее людей, они ему не помогли раньше отмучиться, так он сам любимых хозяев от себя освободил.

— Да, да, Сашенька, — согласилась моя теща, — но вы же знаете, он же был как человек в доме, для всех, и для Варюши. А теперь вот в чем дело, Саша, — она заговорила деловито и строго, — Динку надо похоронить. Собака, но нельзя же на свалку выбросить.

Я помолчал, подумал.

— Дать дворнику пятерку, закопает.

— Что вы, ни один дворник не возьмется! Где закопает? Снега на два метра везде, земля промерзла, а если кто-нибудь и согласится, то пятерку в карман, а собаку на мусорник в соседнем доме швырнет. Нет, это не дело. Я вот для чего к вам приехала.

И моя решительная теща рассказала, что еще в декабре, когда снега не было, Георгий Иваныч вырыл в лесу за городом яму, потому что Динка уже тогда собирался отдавать концы. Вырыл он яму в Пуше-Водице, у них там было место постоянных прогулок с Динкой, за грибами ходили, весной за ландышами, вообще так, для гимнастики, профессор любит ходить, все Закарпатье пешком излазил, и, между прочим, Динка тоже с ним там провел три лета подряд, вообще пес повидал столько, что иному человеку к старости в пору: в самолетах летал, в научно-исследовательских клиниках у знаменитостей лежал, паспорт с карточкой имел, медалями на ошейнике бряцал не хуже героя-воина, до того дожил, что даже в украинскую энциклопедию на слово «собака» представлять породу спаниелей своей фотографией попал, ну, словом, почеловечески прожил. Так вот, выкопал загодя Георгий Иванович яму, могилу для Динки, и заметил место: откуда-то там шестьдесят шагов и зарубки на двух соснах, все там, конечно, сейчас снегом замело, но Георгий Иванович умеет ориентироваться, отыщет безошибочно.

— Так вот, Саша, — говорит теща, — Георгий Иванович сам хочет идти, тащить Динку, искать яму — представляете, по такому снегу, он же не дойдет! Не отпущу я его одного!

Я поднялся с сундука, решительно швырнул полотенце на пятнистую клеенку и заявил, что все понял, полностью готов, как юный пионер, хоть сию минуту. Оказалось, сию минуту не надо, Георгий Иваныч до часу дня занят. Тут мы занялись вопросами оснаще-

ния экспедиции: у профессора есть резиновые сапоги, у меня лыжные ботинки, морозу сегодня минус 14, упал мороз, да, вот лыжи надо взять, это Елена Владиславовна сказала — лыжи взять, а я спрашиваю:

— А сколько там от дороги?

А она: «Шестьдесят шагов Георгий Иванович отмерял, там близко!» — ну, на кой же чёрт лыжи, если шестьдесят шагов, хоть по шею снег, все равно продеремся, а лыжи таскать — да ну их, лопаты тащить и все-таки останки эти самые собачьи, а лыжи свежему пушистому снегу одна обуза.

Тут из нашей комнаты донеслось сонное Варькино: «Кого там принесло, ба-аб?» Елена Владиславовна тотчас заулыбалась милому доченькиному голоску, сказала: «А-а, проснулась, соня!» — и устремилась туда. Она не раздевалась, сообщила, что спешит, обняла дочь, та в рубашечке прижалась к меховым плечам, услышала о смерти Динки и произнесла точно мои слова:

— Слава Богу, наконец-то! Сам, бедняжка, отмутился и вас пожалел.

— Бабушка бедная совершенно убивается, — сказала мать и сообщила о цели прихода. Варя выслушала, спросила, большой ли мороз.

— Ну конечно, надо папке помочь, одному трудно.

Тут я посмотрел на Варвару, заметил, как она смотрела на мать, а потом встретилась взглядом со мной, и почувствовал, что ей тоже очень хотелось справиться о здоровье Рогова, но она, так же, как я, решила, что можно не спрашивать: мамины объятия и ласковый голос тому порукой.

Елена Владиславовна еще о чем-то спросила, еще что-то сказала, пропела слова в комнату Витаськи-Катаваськи, от порога произнесла мне: «Так ждем вас, Саша, к часу», — и исчезла. Баба Маруся уже закан-

чивала скормливать пацанчику овсянку и молоко, и Варя тихо спросила меня:

— Витаська хорошо спал?

— Не жаловалась баба.

— Спокойно ведет себя?

— Вполне.

Я присел к Варьке на постель, заглянул ей в глаза, она чуть погладила пальцами мою ладонь, даже не погладила, а пощекотала, я вышел из нашей комнаты к Витасику, спросил у бабы:

— Баб, мы тебе не нужны?

— Молоко купить, — сказала баба, — хлеба нет, кажется.

— На сейчас молока хватило?

— Хватило.

Баба Маруся отвечала без энтузиазма, она уже знала, к чему клонится. Я потянулся префальшиво и сказал, зевая во весь рот, — зевок вышел совершенно естественным:

— Мы еще немножечко поспим, суббота все-таки, а собака пусть погуляет, сегодня не холодно.

Баба Маруся что-то проворчала, я шагнул в нашу комнату, шелкнула магнитная защелка, я повернул белую костяную задвижку, на ходу выскочил сразу из обеих лыжных штанин, Варвара откинула одеяло и прижалась ко мне.

2

Ровно в двенадцать я вышел из дому и встретил приятеля — Исака, зубного врача. Я ему сказал, что у меня коронка царапает язык, а он ответил, что коронка пустяк, пригнуть или подпилить, зайдешь и сделаем, а вот почему я не заскочу, у него такой спиртик стоит, такая наливочка: «Укачаю тебя, как ребенка!» Я подумал и сказал, что сейчас у меня похороны, а

часа эдак в четыре я бы мог ненадолго забежать погреться.

— Какие похороны? — спросил Исак.

— Несколько странные похороны, понимаешь, зайду, расскажу. Не трагические похороны, как раз тот редкий случай, что даже посмеяться по поводу похорон можно.

Исак недоверчиво на меня уставился, и мы договорились на четыре часа. Я пошел мимо молочного магазина через пустырь и увидел, что хоть и суббота, работа по прокладке трубопровода отопления из Дарницы идет, на дно широченной траншеи бульдозер обрушивает сверху глиняную со снегом насыпь, засыпает уложенные уже толстенные трубы. И я подумал: надо предложить вот тут и захоронить собаку, под вечер привезти, раскопать в рыхлой земле яму, потом присыпать, а завтра бульдозер все заровняет. Я даже остановился, стал прикидывать, сколько успеет бульдозерист за день нарыть земли и где окажется наиболее удобное место, — там пониже, тут он забросает почти доверху, а там только трубы успеет прикидать, — и тут словно меня кто толкнул, я отошел от траншеи и устремился к троллейбусу. Я шел и разговаривал со своим внутренним голосом, как в том анекдоте с пьяницей, который порешил не пить, а внутренний голос заявил: «черт, мол, с тобой, сам пойду выпью».

Я: — На кой мне дьявол эта возня с этой сентиментальщиной, тащиться чёрт знает куда с этим собачьим падлом. Им, видишь ли, память о члене семьи за четырнадцать лет дорога, а я, горячо любимый зятек, лазаю в снегу по шее, землю мерзлую долби. Вот честное слово, сейчас приеду, сам заберу эту дохлятину, найду за собственную пятерку, раз им жалко, типа на улице, и пусть сволокет, куда захочет, а то, может, и за трояк!

Внутренний Голос: — Врешь, не сделаешь. Полезешь в снег по шею и будешь долбить. И будешь ста-

раться самое трудное сделать, в благородство играть станешь.

Я: — Ха! Во имя чего же это, интересно знать, разве я подхалим?

Внутренний Голос: — Нет, не подхалим, а поступишь именно так и даже не заикнешься насчет зарыть в бульдозерной траншее.

Я: — Ха! Это почему же? Вот так сразу и скажу, как только войду в дом!

Внутренний Голос: — А вот не скажешь! А вот не скажешь, потому что...

Но тут я увидел, что подходит одиннадцатый, бросился бежать, а на бегу мой внутренний голос не пожелал продолжать спор, екнул где-то в селезенке и умолк. Умолк и больше ни бум-бум не произносил, но, тем не менее, предлагать зарыть Динку в траншее я в самом деле не стал, не только войдя в дом, но и позже.

Между прочим, мне не впервой хоронить собак. Был один случай — странный случай, такая какая-то нелепая, сентиментальная и жестокая история, я никому о ней не рассказывал, ни друзьям, ни Варьке — ну, Варьке-то по понятной причине, хоть все это и было до нашего с ней знакомства, а все равно женам не обязательно знать так уж совсем всё о нашей всякой там интимной жизни до них. Это было... Впрочем, я ведь решил не отвлекаться, так что вот цифра два (2), а в конце после всего для любопытных и сама эта история, жестокая и сентиментальная.

В доме, ей-Богу, пахло покойником, бабка Татьяна плакала, дед Стасик скорбно молчал и ходил за бабкой по пятам. На Георгии Ивановиче уже были надеты резиновые сапоги и в них заправлены старые штаны, на штаны напозла рыжая бабкина ватная кацавейка, а поверх кацавейки мы все вместе натянули старый черный плащ еще довоенного образца, пуговицы не сходились, стянули ремнем от брюк. Я ухватил

за шлейки рюкзак, из которого торчали держакы двух лопат, Георгий Иванович вынес из другой комнаты новый светлый мешок с останками пса. Я хотел помочь и тоже ухватить, но Георгий Иванович сказал: «Я сам, он легкий», и было в этом «я сам» немножко чего-то такого — не смей, мол, прикасаться, это наша святыня, а ты не наш, так что руки прочь, — а может, мне только показалось. И бабушка Татьяна, вся зареванная, подтвердила:

— Он же усох совсем, бедняжка, две недели только водичку слизывал.

Что бедняжка усох не совсем и что всякие «руки прочь» не проходят, стало понятно уже на лестнице в подъезде. С улицы нам навстречу зашла тетка, я ее не знаю, по виду дворничиха или уборщица, Георгий Иванович с ней раскланялся, переложил мешок из руки в руку и сказал:

— Ф-фу...

Тетка спросила:

— Подох-таки, да? — с полной ознакомленностью спросила, а профессор суетливо-виновато забормотал: «Да-да, кончился наш пес», и тут же опять переложил мешок из руки в руку. Мешок-то завязан веревочкой, его бы перетянуть шнуром каким крест накрест, как пакет, было бы удобно вдвоем нести, а тут он держит, и я ухватился выше завязки, смял в кулак холстину, чувствую — так далеко не утащишь, холстина пальцы разжимает.

— Эге, — говорю, — тот самый добрый пудик в нем и сейчас.

— Да что вы, Саша, он же совсем высох! — молвил профессор, но полной уверенности как-то интонация не несла.

Вышли мы из подъезда, и почему-то Георгий Иванович сразу юркнул с людной улицы в каменные ворота на задворки их дома, откуда переулком можно было выйти к троллейбусу, я взглянул на него при свете

дня и понял, почему он юркнул. Профессор был ну точно сельский поп, который забрел на потребу в чужой приход и теперь волокет домой свое заработанное даяние. Сапоги для бездорожья, старый черный подпоясанный плащ, смахивающий на рясу, борода поросла по всему лику, высокая шапка, впопыхах захваченный мешок с картошкой и парой утят, и еще рядом чапает, помогает подаяние тащить тип, то ли церковный староста, то ли гробокопатель, скорее гробокопатель, потому что и лопаты за спиной из сумы торчат, и старый, куций ватник, от зуба до пупа, как любит говорить моя баба Маруся. Да, в самый раз юркнуть в подворотню!

Идем мы по улице, произносим что-то друг другу, и как-то мне неловко, словно щекочут и смех удерживаешь, и чувствую, что и профессору тоже неловко. И вид наш этот внешний, и улицы снегом заметены, бульдозеры с проезжей части кучугуры на тротуары нагребли, тропинки у самых стен остались, мы с нашей ношей еле со встречающими прохожими разминаемся, бочком то и дело двигать приходится, кто-то за наши мешки и лопаты цепляется, кто-то даже ругнулся, но не оборачивается будто бы никто, хоть мне и казалось, что на нас все пялиться должны — понятное дело, видит человек некую странность, что-то люди непонятное несут, что-то сделали или готовятся делать, человек интересуется, хочет понять, когда видишь в «Огоньке» ребус — всегда тянет решать. А тут еще две собачонки за нами увязались, потянули носами за мешком и двинулись следом, как привязанные, норовят носом в мешок ткнуться и обе хвосты поджали, а одна, черный такой небольшой дворняк, рычит зловеще и загривок наежился. Я на них топнул, замахнулся — даже не отскочили, носами в мешок тыкаются и недобрым глазом на меня косятся, до самого подземного перехода через Крещатик провожали Динку в последний путь, то ли они знакомы были по прогул-

кам во дворах и узнали приятеля, то ли трупный дух их взбудоражил.

Да, так вот идем и что-то произносим, преувеличенно бодро произносим и на встречах преувеличенно смело смотрим, открыто улыбаемся — мы хорошие, ничего не делали и не делаем, но на всякий случай нас не заподозрите ни в чем плохом. Георгий Иванович говорит:

— Саша, с-станем в очередь, дождемся, чтобы быть первыми, и на заднем сидении сядем, а Динку я в угол под скамью задвину, я уже все продумал до мельчайших подробностей, у меня т-талончики на проезд, вы, Саша, сразу возле меня садитесь, лопаты тоже в угол устроим, и не вставайте, там компостер этот для талончиков рядом.

А я говорю, чего доброго водитель чересчур наблюдательный, гад, попадется, заподозрит, что дохлятину везем, не пустит, скандал, объясняйся, давайте будто в сторонке стоим, пока задняя дверь с нами не поравняется, и сразу туда, а вообще, говорю, надо в цивилизованном государстве заводить какую-то такую что ли контору, как служба быта, ну, не похоронную для собак, а какую-то такую, чтоб можно обратиться, приехали и забрали, хотя можно и специальную собачью похоронную, вот в Англии же есть собачьи кладбища и, стало быть, и конторы есть, ну, нам не обязательно внедрять такой собачий культ, а все-таки, раз уж собаки живут по-человечьи, то и хоронить их надо как-то так в организованном порядке.

А Георгий Иванович говорит:

— Саша, а вы д-документ какой-нибудь взяли?

— Какой документ? — спрашиваю.

— Удостоверение личности, паспорт.

— А зачем?

— Я взял, и свое удостоверение, и Динкин паспорт, вдруг, знаете, кто, да что везете, собака, какая собака...

Я подумал, что если кто-то что-то заподозрит и станет проверять, то и в самом деле трудно будет здравомыслящего милиционера убедить в том, что двое нормальных советских граждан дошли до такого маразма, в мороз такой и снег собаку за город везти хоронить, разве что тыкать ему в нос профессорский мандат и документы о собачьих орденах, а заодно, конечно, и Динкин труп вытаскивать в качестве вещественного доказательства. А Георгий Иванович говорит:

— Я, понимаете, боюсь, что он от тряски в пути промокнет, мешок окровавится, запах пойдет, вот собаки уже ведь учуяли. А то бы я такси взял — впрочем, нас такси к тому месту, где я м-могилу приготовил, не подвезет, туда т-только т-трамвай.

Георгий Иванович иногда совсем не заикается, а иногда заикается, причем сколько я ни пытался понять закономерность — так и не знаю, отчего это бывает, по-моему, не от волнения. И рассказывает дальше Георгий Иванович, что останки Динкины завернуты сначала во много газет, а потом в клеенку, а с газетами вышло странное совпадение. У них в НИИ умер доцент, паталогоанатом, который два года назад вырезал Динке эту самую опухоль, так доцента сегодня тоже хоронят, и потому и машину в институте не удалось попросить, а то бы, конечно, машина была, а во вчерашней «Вечерке» помещен некролог о доценте, так когда Динку они с бабкой в газеты уматывали, то в ту газету с некрологом случайно как раз собачью голову обернули, случайно так получилось, обернули, говорит Георгий Иванович, обвязали шпагатом, а потом он глядит — портрет в траурной рамке уголком выглядывает, вот такое совпадение, пациент и врач и в один день и в одну, получается, могилу. Хотел, говорит, развязать и снять газету, а потом подумал — ну что, ведь это всё условности и никакого значения не имеет, а я подумал, что Динку волоочь чёрт знает

куда — это тоже условности, а вот же тащим, и вообще профессор при всей сложности наших с ним отношений очень как-то доверительно и по-дружески мне все это рассказывал, так что я тут же вспомнил старый анекдот из учительской серии, хоть и не совсем на ту тему, но по аналогии с разворачивать или не разворачивать газету. Сидит старый учитель и крутит «козью ножку», страничку вырвал из старой ученической тетрадки. Сворачивает, машинально смотрит и видит ошибку — написано... ну, к примеру, «аднажды». Он высыпал махру, развернул, разровнял, взял красный карандаш, исправил «а» на «о», еще и дважды подчеркнул и на поля палочку вынес, потом опять свернул и, успокоенный, закурил. По-моему, очень смешная история, но в этот раз почти и не смеялись, и профессор горевал, хвалил коллегу, переживал, что из-за Динки не присутствует на похоронах, и в общем никакого, так сказать, кощунства во всем этом не было, да и при чем тут кощунство.

В троллейбус мы сели спокойно и вполне красиво, очереди никакой не было, я прикрыл собственным телом мешок от глаз водителя, мы быстренько вошли в заднюю дверь точно так, как планировал профессор, уселись, останки под сидение в угол, рюкзак с лопатами сверху, талоны, компостер — всё, сидим, едем и никто на нас не смотрит и нам на всех чихать. И ведем мы с профессором, моим тестем, которому я прихожусь весьма любимым зятем, вежливейшую и интеллигентнейшую беседу. Проехали мимо здания обкома над обрывом туда, к Днепру, — поговорили об архитектуре, профессор большой эрудит в этой области, знает историю Киева, как этапы собственной биографии, книг у него по этому вопросу миллион; а здание обкома довольно-таки безобразное: хоть в нем очень и очень уважаемое учреждение, но никуда не денешься, здание-таки снаружи скверное, особенно когда с той стороны, из-за Днепра, с пляжей на Мат-

веевском заливе, смотреть или даже отсюда, с набережной, от речного вокзала, — тяжелая такая неотесанная серая глыба на горе лежит и гору эту давит, да еще рядом Андреевский собор, легкий, стройный, весь в воздух рвется и гору с собой уносит. Профессор рассказал, что проектировал обком приглашенный из Ленинграда архитектор, и, когда построили его, так шутили люди, мол, архитектор уехал к себе домой и забыл на склонах Днепра старый комод своей бабушки. Я этого не знал и повеселился на весь троллейбус. Потом коснулись Андреевского собора, там недавно вот музей открыли и надо сходить посмотреть, и Растрелли учел, когда его строил, всё, и выбрал самое удачное место, и укрепил обрывы под собором, и уже прошло двести двадцать или тридцать лет, а обрыв не оползает и собор трещин не дает, и самое интересное, что сам-то Растрелли, оказывается, в Киеве ни разу не был, ни до постройки собора, ни после, вот как! А я тут вспомнил — вспомнил, но рассказывать не стал, — как пять лет назад над этим самым обрывом, там такая площадка по кольцу вокруг собора, ограда удобная по ней над обрывом, а отсюда от города собор площадку заслоняет, и мы на этой площадке с моей бывшей женой Алкой — ну, она тогда еще не была женой, а с Варей я не знаком был тогда еще совсем, — целовались с Алкой до двух часов ночи, а потом глядь — ворота заперты, высокие ворота, не перелезешь, я бы смог, а Алке никак, вернулись назад и опять целовались, аж пока ворота утром не открыли, из-за тех ворот я и женился на ней... Да, потом мы с профессором затронули ряд вопросов о значении религии, вспомнили, как западные области Украины отошли от униатов и как убили епископа Ивана Кастельника, который настаивал на присоединении к православию, потом проехали мимо улицы, на которой раньше жил профессор с семьей, и мне был показан сад, в котором дралась с мальчишками — с

девчонками она вообще не якшалась — и лазила по ужасно высоким сливам моя супруга Варвара Георгиевна и однажды упала и раскроила себе ногу, а Динки тогда еще у них не было, Динка через года два после переезда в нынешнюю квартиру появился. Проехали Лукьяновку, спустились вниз на Куреневку, ну, естественно, вспомнили о катастрофе здесь шесть лет назад, когда раз утром в понедельник сверху из Бабьего Яра хлынула масса жидкой грязи и затопила всё внизу, — тут мы оглянулись по сторонам, пригнулись друг к другу и тихо поспорили:

— Сколько же там все-таки погибло — двести с чем-то человек, газеты писали?

— Ой, ч-что вы! Я-то знаю точно — больше тысячи!

— Да нет, Георгий Иванович, даже «Голос Америки» передавал тогда — пятьсот двенадцать человек.

— Как хотите, не буду настаивать...

— А мэра тогдашнего, Давыдова, земля ему туда-сюда, предупреждали ведь за несколько дней — сочится вода через плотину, а он плюнул, а потом его даже и не сняли, не то что судить...

— Никита за него вступился, сказал: «Такими кадрами не бросаются!», так тогда все это передавалось, он в войну его личным телохранителем, говорят, был...

Потом Георгий Иванович рассказал, как он раньше работал в Кирилловской больнице и, когда еще Кирилловская церковь была закрыта, не реставрировалась, он дружил со сторожем, тот давал ему ключ, и он подолгу сидел перед Врубелевскими апостолами, и есть версия, будто Врубель писал апостолов с кирилловских сумасшедших, а я сказал, что верю в эту версию, я только раз был там и минут десять всего, наверно, стоял, задрав голову к этим апостолам, пока позвонки не окаменели в шее, так мне даже после одного раза до сих пор мерещатся их отчаянные глаза

и изломанные движения рук и тел. Потом Георгий Иванович стал несколько чресчур громко рассказывать, как он, когда писал свои диссертации и другие всякие ученые труды, всегда интересовался историей медицины и попутно писал статьи по истории медицины и стал называть одну за другой, и мне послышалось хвастовство в его разговоре, а вокруг кое-кто прислушивался, и он это видел и говорил не тише, а громче. Тогда я, между прочим, так, совсем не акцентируя, спросил, когда он напечатал первую статью свою, он сказал, что ему было лет тридцать пять-шесть, а диссертацию он защитил в тридцать восемь, я тогда сказал, что у меня недели две назад опубликована в научном сборнике статья по теории твердого тела, а сейчас сдана в набор и вот-вот выйдет еще одна, по кристаллам, и что диссертация тоже не за горами — что мне сейчас двадцать шесть, я не стал напоминать моему тестю, ему это и так хорошо известно, а соседи наши по троллейбусу меня, честное слово, вовсе не занимали, и говорил я все это не громко, а тихо. Сложные у нас отношения с профессором, моим тестем, очень и весьма сложные. Два года назад мы с Варькой твердо решили быть всю жизнь вместе, она поссорилась с родителями, ушла из дому, и они ее, совсем не фигурально выражаясь, проклинали; и тут вдруг, когда она жила у моей тетки — мы еще не расписались, я жил в общежитии, фатеры у меня даже не намечалось, я ведь до Киева в Харькове жил, там и институт кончал, но, если б даже у меня и была квартира, собственная и раскрепостная, Варя все равно не пришла бы ко мне, и я бы ее не позвал, все это была розовая романтика и игра в средневековое рыцарство — между прочим, не жалею, даже наоборот, хорошо это было, аж спазма в глотке, так здорово, та рыцарская романтика и теперь нам как-то так отраженно-квантово светит и всю жизнь будет светить. Так вот жила Варя у моей тетки Шуры и вдруг заболела. Стран-

ная болезнь, слабость, бледность, апатия, слезы, я туда, я сюда, врачи, анализы. И вдруг молодой один умник-лекарь отзывает меня в сторонку, показывает в анализе цифры каких-то там лейкоцитов-тромбоцитов и говорит, что это типичная картина рака крови и дни, мол, Варины — вы должны быть мужественны — сочтены. Через три дня оказалось, что он перепутал анализы, этот умник, кретин и дурак, и я пошел к нему домой и совершил два поступка: сперва положил на стол трояк в конверте, а потом подошел к нему на дистанцию ближнего боя и левой косым пощупал у него сплетение, а правой, когда он уже валился, догнал в челюсть, и он, хоть дурак и кретин, жаловаться не стал. Так это потом, а в три дня эти — от Вари я, конечно, скрыл диагноз того умника — передумалось всякого. Мерещилось мне и такое, что я отправляюсь на поклон к родителю, Вариному отцу в смысле. Сложные были отношения, и я, честное слово, не знаю, как поступил бы он, если бы я пришел и бухнулся на колени. Мерещилось мне всякое, когда ночью валялся без сна на веранде у тетки, прислушивался к Вариному сну — кому любопытно, вот цифра три (3) и отправляйтесь в конец, только опять же не спешите, потом успеется.

Так вот сидим мы, едем, громко и весело беседуем, уже о цели нашего путешествия едва не забыли, когда вдруг троллейбус перед снежным навалом тормознул, лопаты качнулись, и одна Георгия Ивановича прямо в лоб, аж он ругнулся, бормотнул то ли про чёрта, то ли про мать. А в нашу беседу как раз включился в это время третий участник, сосед с сидения впереди нас. Я стал рассказывать профессору, что поставили в селе Катериновке обелиск в честь победы над фашизмом, интересное очень решение, высоченный столб в шестьдесят метров, причем кверху не сужается, а наоборот расширяется, на стальной трубе, обшитой предварительно напряженными стержнями

и листовой сталью, и вот дуют теперь в эти дни везде страшные ветры, циклон проходит, и этот обелиск рухнул, переломился на высоте около тридцати метров и рухнул. Тут оборачивается к нам человек в черном бараньем кожухе и говорит:

— Извиняюсь, что перебую вас — я сам из Катериновки, сегодня приехал. Ходил смотрел, когда этот чертов памятник упал. Не на высоте тридцати метров, шестьдесят сантиметров над землей переломился, и ветра сильного в ту ночь не было, так просто сломалось, где-то не рассчитали.

Ну, меня все это очень заинтересовало, мой товарищ, сотрудник по отделу, как раз друг скульптора, автора проекта этого обелиска, он, мой товарищ, в институте эту историю рассказал, и возник спор, виноват скульптор или нет. Большинство твердило — нет, не виноват, он ведь скульптор, дал общий проект в рисунке и макете, а рассчитывали и строили архитекторы и строители, они виноваты; а другие злились и настаивали, что скульптор сам должен был все знать, рассчитать и проверить до самого конца и ссылались на Клодта с его конями в Питере и на того же Растрелли; а первые кричали — не те времена, сейчас невозможно без четкого разграничения заданий и ответственности, этот скульптор, хоть и следил бы за всем, все равно ничего бы не усек. Не знаю, и те и те немножко правы, но я бы на месте этого скульптора попал бы точно в такое же положение: даже будь ты и скульптор, и инженер, и архитектор, ну разве сумеешь пересчитать все сечения, лично проверить рентгеном сварку швов, качество стали!.. Чёрт его знает, а может и можно, не знаю. Словом, я внимательно слушал нашего соседа из Катериновки, когда тормознуло и рукоять лопаты огрела профессора по лбу. Он ругнулся, наклонился поправить рюкзак с лопатами, выпрямился и сказал:

— А вы знаете, Саша, таки протек, на мешке пятно крови...

Сосед наш сидел, перегнувшись через спинку лицом к нам, услышал это и спросил:

— Индюка зарезали?

Профессор ужасно как засмутился, забормотал: «Да, индю... нет, понимаете, это мы...» — взглянул панически на меня, моля о помощи, полез под сиденье, потом выпрямился, приблизил свою бороду к лицу соседа и сбивчиво забормотал, перемежая жалостные слова смешочками:

— Понимаете, собаку мы хороним, п-погиб пес, четырнадцать лет прожил в доме, членом семьи стал, не швырнешь же на свалку, вот возем с зятем за город закопать...

Чёрт возьми, до сих пор не секу: почему у нас все время оставалось ощущение стыда? Неужели только потому, что мы понимали, что большинству нормальных людей наши собачьи похороны должны казаться еретическим бредом? Ладно, а это почему же? Мол, нечего панам-господам делать — с дохлятиной возьматься? Примерно так и я подумал там, над траншеей с бульдозером. Потому что мысль такого плана — мол, тут люди не всегда еще там что-то такое имеют, а они с собачьим падлом цирк устраивают, — такая мысль вряд ли кому могла прийти в голову. Хотя, впрочем... Нет, скорее всего не то. Да, точно, я вот сейчас понял это, вот я чуть попозже об этом.

Наш сосед и попутчик отнесся к информации, полученной от профессора, вполне нормально, посочувствовал, расспросил, что за пес, Георгий Иванович извлек собачий паспорт, сосед уважительно сказал, что он не охотник, но видит, что собака замечательная; Георгий Иванович сказал, что Динкино фото есть в энциклопедии — и тут как раз мы приехали на конечную, на Дачу Кульженка. Вытащили мешок, пятно оказалось не кровавым, а просто снег с сапог Георгия

Ивановича подтаял, никакие собаки, по счастью, к нам больше не сбежались, и мы благополучно пересели в семнадцатый трамвай. Народу было мало, мы уселись на передней площадке, Динкины останки опять же устроились под сидением, трамвай тронулся, на меня сверху с потолка из-под конца дюралевого планки полилась вода за ворот ватника, я вскочил, пересел направо к двери и увидел нашего соседа по троллейбусу, он посмотрел, как я встряхиваю кашне, и сказал:

— Потекло, солнышко пригрело. А я вчера по холоду в валенках выехал, теперь вся надежда, что к вечеру натянет.

Я сказал, что да, конечно, натянет, ведь и сейчас градусов десять, не меньше, просто снег на солнце с крыши трамвая подтаял, — и посмотрел на его валенки, он их держал вверх носами над мокрым полом — и вижу я, в штаны, которые в валенки заправлены, вшиты малиновые вот эти шнурочки по шву, не лампасы, а как их, во, канты малиновые, милицейские, и я подумал, что ничего странного, если это милиционер, и вполне логично ему заподозрить нас и начать, к примеру, отслеживать. Георгий Иванович, по-моему, тоже это подумал, потому что оглянувшись на попутчика, улыбнулся ему и покивал бородой, посмотрел на задранные носки валенок над лужей, увидел малиновые канты и выразительно посмотрел на меня. И тут странная штука случилась, удивил меня вдруг профессор ужасно, до сих пор не могу понять, какие ощущения в нем вдруг сработали и заставили сказать то, что он сказал.

Через трамвай сзади к передней площадке пришла тетка, села рядом со мной и поставила на пол у своих и моих ног плетеную кошелку, из которой выглядывала ушами и лбом рыжая осмаленная свиная голова и возле левого уха торчала еще чистеньким вымытым копытцем свиная нога. И вот Георгий Иванович посмотрел на корзину, потом на мешок у себя под но-

гами, потом опять на корзину, на меня, подмигнул себе в бороду и сказал:

— Может, сменяем, а?

Я сначала не допер, потом понял и губы у меня поплыли, потом я решил, что все-таки допер не так и стянул губы в обычную позицию, а потом увидел, как профессор, картинно распахнув глаза и склонив голову к плечу, рассматривает свиные уши и нарочито облизывается — и тут меня повело, я стал хохотать так, что на меня опять сверху полилась вода, уже с другой половины крыши. Сперва я представил себе, что мы в самом деле каким-то непонятным образом сменяли Динку на потенциальный свиной холодец, и нынешняя хозяйка холодца определенным образом реагирует на содержимое нашего мешка, а потом я уже хохотал над тем, что ни фига, оказывается, не смыслу в профессоре, моем зяте — тьфу, то есть тесте, Георгии Ивановиче. Нет, в самом деле, трагедия, похороны, могилу выкопал загодя, едем мы с ним, словно ритуал совершаем, — и вдруг на тебе, профессор хохмается над, так сказать, святыней да еще и несколько, я бы сказал, неаппетитно хохмается, чего я уж никак от своего интеллигентнейшего родича ожидать не мог. Словом, целую остановку я хохотал, и попутчик наш милиционер, заразившись, стал подсмеиваться, хотя, конечно, даже если и слышал реплику Георгия Ивановича, то все равно не усек, что к чему; а профессор, все так же склонив голову к плечу, рассматривал свиное ухо и еще раз облизнулся — и не улыбнулся ни разу, все время изображал серьезность! Нет, никак я не предполагал за ним способностей на такие шуточки.

Перестал я хохотать потому, что мы приехали. Оба вместе кивнули на прощанье нашему милиционеру в валенках и вышли из трамвая прямо в сугроб — с вечера, видно, расчистили площадку возле рельсов на остановке, а за ночь опять намело, ну, утоптали

немножко снег, но во всяком случае мы попали в сугроб почти по колено, а мешок и лопаты положили на соседний сугроб, повыше, на уровне чуть ниже плеч. Пришлось подождать, пока уйдет трамвай, я как-то подсознательно скользнул взглядом по окнам, не выглядывает ли милиционер, мы отступили из снега на рельсы, и я спросил:

— Ну, от какого места отсчитывать шестьдесят шагов?

Я как раз всю дорогу нет-нет да и представлял себе, как мы в шестидесяти метрах от людной дороги роемся в снегу и прячемся в яму, лишь слышим трамвай.

— Что отсчитывать, Саша? — спросил профессор.

— Ну, яма же ваша, то есть та, что вы копали, где?

Георгий Иванович посмотрел вперед, куда ушел трамвай, потом назад, откуда приехали, опять вперед и опять назад и сказал:

— Вот тут где-то должна быть дорога туда, — он показал в лес перпендикулярно рельсам (да, я забыл сказать, что трамвай все время шел через лес и вышли мы в общем-то посреди леса), — и нам этой дороги надо держаться.

— А... а откуда шестьдесят шагов? — поинтересовался я, оглядывая срезанную трамвайными боками снежную стену, в которую надо было врезаться.

— Это там, Саша, дальше, от старых сосновых деревьев, — объяснил профессор.

— А до них?

— Километр, может, немножко больше.

3

И мы врезались. И я, ей-Богу, не знаю, что было и чего не было, что произошло на самом деле, а что мне примерещилось. Нет, ну в общем-то знаю, потому

что в итоге всё так, как оно есть, всё на своих местах, но когда я мыслями возвращаюсь туда, то опять теряю ощущение, что на самом деле, а что почудилось.

Где-то примерно через шестьдесят шагов, те самые, которыми должен был закончиться весь наш бросок, я тихо ругнул свою тещу Елену Владиславовну и заодно себя за то, что поверил в информацию, исходящую от женщины, и не взял лыж. То есть я тут же упрекнул себя в несправедливости, ведь она сама сказала — возьми лыжи, но ведь она сказала шестьдесят шагов, зачем же лыжи да еще по свежему сыпучему снегу. Ох, нет, хоть и по сыпучему, а нужны были лыжи: с первых шагов, как врезались мы в эту стену, срезанную трамвайными боками, так и оказались по пояс в снегу, честное слово, не преувеличиваю, ватник на мне куцый, до бедер примерно, так когда закончилась вся эта эпопея, на полах ватника по бокам и сзади наледенело снегу на ладонь, не меньше, всю дорогу полами снег грёб.

Словом, я храбро ринулся вперед, за спиной рюкзак с лопатами, ногу повыше, крупный шаг, раздвигаю снег лыжной бутсой, переваливаюсь на это бедро; вторую ногу вверх и вперед, шире шаг, так будто легче — в общем-то шагаешь обычно, как на ровном, но там механизма шага не замечаешь, привычно и отработанно с того периода, когда пешком под стол, а тут ботинок тянешь не в воздухе, а в более плотной среде и стараешься ногу повыше задрать, чтоб из этой плотной среды опять в разреженную, на воздух вытянуть — ну, вся эта физика-механика мало интересна, это я так про себя, сквозь снег продираясь, прикладывал различные теоретические проблемы. Иду я впереди, путь прошибаю, а за мной Георгий Иванович прет с мешком на спине, как-то мы, не сговариваясь, сразу бросились вперед по-спринтерски, то ли для того, чтобы поскорее смыться с глаз людских, то ли хотели убедить сами себя, что нам не страшен серый волк;

прокладываю я путь, оглядываюсь, а снег тут же за мной осыпается и только совсем маленькая остается канавка с углублением там, откуда ногу только что вытянул, а Георгий Иванович согнулся под мешком, ноги одну по одной задирает, а бородой снег почти метет.

— Тяжело? — спрашиваю.

— Ну что вы! — Георгий Иванович весело. — Совсем не трудно, вот дорога, видите, — нам ее держаться надо.

И тут мы повернули влево по этой самой дороге — где там он увидел дорогу, ей-Богу не знаю, такой же снег, только еще глубже, — молоденькие сосенки закрыли от нас трамвайные пути и профессор сказал:

— Саша, отдохнем.

Бросил он на снег Динкины останки, стоит и дышит, хорошо так дышит, со свистом, а я говорю — я не устал, а давайте меняться, теперь я поташу, вот вам лопаты, а Георгий Иванович говорит — тогда я вперед пойду, дорогу протаптывать, пожалуйста, говорю, идите вперед, мешком крутанул, через левое плечо перекинул и устремился за профессором, сначала старался ногу в след ставить, а потом перестал, один чёрт, только балансируй зря да прицеливайся на каждом шагу. Тут мне пришла в голову одна штука, и меня разобрал смех, говорю я — а как вы считаете, профессор, вот люди, которые там от трамвая видели нас, как мы в снег полезли, что они подумали, кто мы такие и куда нас чёрт понес? И давай мы выдвигать версии, он говорит, подумали, что у нас в мешке какое-то растение, которое обязательно зимой надо высадить, а я говорю, могут подумать и такое, что мы убили, расчленили тело и по частям на разные окраины города развозим, говорю, будь я участковый или там дружинник и увидь я такое дело, обязательно бы заподозрил и стал выслеживать, а он говорит, можно и так решить, что мы клад идем выкапывать, а я гово-

рю, что и в этом случае участковому не мешает бдить и выслеживать, шагов шестьдесят так мы профантазировали, посмешили друг друга — и опять профессор стоп, стоит, плечами вздыхает, говорит — надо мне бабкину поддевку сбросить, жарко очень. А погода вокруг — мечта, солнце во всю, ветерок не шелохнет, морозцу градусов двенадцать, хоть раздевайся голый и загорай; снял профессор плащ, стащил кацавейку, опять плащ надел, поводил свободно руками и плечами, совсем другое дело, я ватник распахнул, тоже хорошо, и опять мы вперед, я мешка профессору не дал да еще и вперед полез, так мне легче показалось, но на самом деле не легче, это я вскоре понял, все-таки впереди идущий рыхлит снег. А вокруг красота, снег на еловых лапах подтаивает, обрушивается, сверкает, искрит, опять мы стали, профессор объявил перекур, а я курить давно бросил, еще три года назад, когда хотел мастера по каноэ сделать, я тогда всерьез греблей заболел, даже бокс бросил.

— Знаете, — говорю, — вы покурите, а я поташу, тут подъем слегка, я лучше вон там возле тех берез отдохну.

Догнал меня профессор возле берез, дышит, и я дышу, сердце в ребра лупит, говорит он:

— Знаете, Саша, давайте его волоочь, вот так волоком по снегу, ну-ка я попробую, давайте.

Я вперед, Георгий Иванович за мной, а останки за ним, и след такой умятый остается, будто мы его не то загребали, не то заметали, и я говорю, ну, теперь, даже если не участковый, а самый простой гражданин, даже не следопыт и не очень любопытный, такой след увидит — обязательно по нему пойдет, чтоб до истины докопаться, а профессор:

— Это верно, любой захочет понять, где в прямом и переносном смысле зарыта собака, немцы говорят не «где зарыта», а «здесь зарыта»: hier ist der Hund begraben.

Профессор — он умница, он три языка знает, я в этом отношении дуб и олух, дойдет до кандминимума — как я этот несчастный английский спихивать буду, не знаю и не ведаю, Варя уже раз пять начинала со мной заниматься, она тоже к языкам талант имеет, английский и испанский прилично, а французский вообще в совершенстве — ничего у нас не выходит; ну, тут не только моя тупость, такая учеба в рамках семьи дело кислое, отсутствует обязательность, системы ни фига не получается, кажется — что такое полчаса каждый день, а тут кино, а тут задержался, или гостя чёрт принес, или Витаська разорался, раз сорвалось, другой, и полетели благие намерения по дорожке в этот самый ад. Между прочим, вот это мое лингвистическое бескультурье — одна из причин, почему родители так не хотели меня Варваре в мужья, мол, она такая образованная, у нее карьера с работой по заграницам, а он ни бум-бум, ну, а главной причиной, конечно, другое было, им доложили, что я развратник и всякий там бабник, моя дражайшая супруга Аллочка, когда мы расставались, проявила прыть, чуть меня из института не поперли и из партии заодно. А кроме того, чего скрывать, другого им зятяка хотелось, такого, чтоб уже с солидным портфельчиком, хотя я тоже не бесперспективный товарищ, профессор об этом справки наводил, а все-таки пусть бы уже был и при положении и при пенёнках, а то стыдно, целую неполную сотнягу огребают, а диссертация и будущее — это курочка в гнезде. Ха, а интересно это все было, странно вспоминать, до чего же они меня не хотели, до кошмара, до чёрт знает чего, аж пока Витаська появился — успокоиться не могли, да и теперь, собственно, все это одно соблюдение благопристойности, впрочем, местами лед-таки трогается, особенно у Елены Владиславовны...

Кажется, это все я думал, когда пер по снегу и пробивал профессору дорогу, хакали и хукали мы дуэ-

том, пыхтели, заметал он следы останками, двое дружных лошадок в одной упряжке, пара гнедых, каурых и серопегих в яблоках, и стоит передо мной чудная история, и смех и беда, еще чуть-чуть, и не видать мне Варьку, как в темную ночь солнышка, вот ставлю цифру четыре (4), и опять же, кто любопытен, см. в конце.

Топаем мы и отдыхаем, отдыхаем и снова уминаем снежок, один раз профессор на привале в снег уселся, за грудь держится и в бороду смеется:

— Ах, как х-хорошо на пуховой перинке поваляться с ус-устатку.

Потом я через корягу перецепился, мордой в снег ткнулся и не могу встать, снег с губ облизываю, и все глубже в лес наш путь и след-следок за нами тянется. Уж я профессора ругал, зачем он так далеко в лес залез — говорит, тогда без снега близко было, а кроме того, яму копал я, говорит, в самых наших с Динкой любимых грибных и ландышевых местах. Потом стали мы после каждого привала цитировать друг другу «индо еще побредем, отче» — это из древнерусской истории о герое-попе Аввакуме и его преданной супруге-попадье, не помню ее имени: отдохимся, хватает каждый по очереди мешок, как пароль — «индо еще побредем, отче», — и вроде на самом деле брести легче, слава предков подталкивает. Ох, много больше километра там оказалось, все два, чтоб еще и не с гаком. Как всегда при подобных мероприятиях, наступает момент, когда у человека возникает склонность к прожектерству для облегчения собственной участи, а также для возможного запатентования мирового открытия; так вот и я вдруг говорю:

— А дураки мы с вами, — простите, конечно, — профессор! Ведь вот же эту лопату, широкую, деревянную (он две лопаты взял, железную, землю долбить, и деревянную, снег отбрасывать) мы сейчас вытащим вот та-ак, Динку на нее положим и за ручку

будем тащить, все-таки доску легче волочить по снегу, чем мешок.

Не без удовольствия произнес я это самое «дураки мы с вами», да ни фига из прожекта не вышло: мешок с лопаты съезжает и доска почему-то сама себя тормозит, единственное — профессор теперь стал на лопату как на посох опираться, ручкой вниз, фанерой кверху, когда тащить мешок моя очередь приходила. И последние три броска очередь все время моя была, тут уж Георгий Иванович и возражать не мог. Иду я впереди и мешок волоку, он за мной на лопату опирается и слышу:

— Пропал бы я без вас, Саша, хотел идти один, х-хорошо, что жена не пустила и вас пойти заставила, не д-дошел бы я один, а я ведь упрямый, все равно лез бы, пока не...

И, знаете, у меня от этих слов его в носоглотке как наркозом свело, когда в зуб уколуют, и промелькнули передо мной все обиды, которых я от Вариных предков натерпелся, и ушли все обиды, нет их, снежинками с еловой лапы блеснули, и сыпучий снег их во-брал; и словно второе дыхание от того, как профессор эти слова произнес, во мне возникло, и я по новой: «Индо побредем, отче!» — и дую, и шурую, как на спуртовой прямой на каноз. А потом оглядываюсь и...

Поотстал профессор. Приподнял лопату и не опускает ее в снег, а стоит и пошатывается. Взмахнул лопатой, выпустил ее, она в снег воткнулась ручкой, доской вверх, как щит с каким-нибудь «По клумбам не ходить». И профессор возле щита на спину упал, рухнул во весь рост и в снегу утонул, только снежная пыльца взметнулась. Я остолбенел, потом бросился, мешок не кидаю, за собой почему-то волоку, подбегаю. Глаза закрыты, веки вздрагивают, хрипит, борода вверх-вниз, вверх-вниз на груди, только снежок на ней капельками. Я: «Профессор! Георгий Иванович, профессор!» — пульс его в снегу ищу, плащ на нем

расстегиваю, голову поднимаю, мешок с останками под голову ему заталкиваю. И стараюсь сообразить, что же делать: здесь оставаться, сердце массировать, снегом кормить и на лоб класть, может, в кармане где на всякий случай валидол какой он прихватил — или бежать туда, к трамваю, людей звать, а что люди, отсюда только на носилках, нет, на санях можно, из лыж сани сделать. Эх, слушай баб, были бы лыжи — я бы и сам управился, а так при всей скорости я до трамвая за полчаса доскачу, не меньше, да там пока скорую вызывать... Нет, стой, тут у остановки какая-то больница то ли санаторий. Но все равно, как же я его на целых два часа оставлю — невозможно, замерзнет. А оставаться здесь? А если костер разжечь? Только бы он поскорее в себя пришел, мы решим вместе, он же врач, чёрт подери, в конце концов! Понесло его, яму выкопал, сентиментальщина барская, проклятая!.. Стою я, сам пошатываюсь, черные шары перед глазами сталиваются, и слышу:

— Саша, а вон видите — сосёнки высокие зеленые? — ласковый такой, нежный, с большой любовью то ли ко мне, то ли к сосёнкам профессорский голос. — Так вот от них — шестьдесят шагов. Не туда за них, а от них сюда к нам. Шестьдесят шагов — сюда от них к нам.

И стоит передо мной профессор, мой тесть Георгий Иванович, и пальчиком вот так в сторону сосенок, ласково и любовно их подманивает. Я обернулся к сосенкам, потом опять к профессору, посмотрел на лопату у него в руке и вздохнул так длинно, что всю дорогу от трамвая назад к оставленному мной в снегу профессору в течение этого вздоха прошастать успел.

— Вам... это, вам не худо, Георгий Иваныч? — поинтересовался я. — Вы, может, валидолчику захватили с собой?

— Я захватил, — отвечает профессор вполне бодро, — но пока не надо, думаю, и вообще обойдусь,

вот еще немного, и будем зарубки на деревьях искать.

Я хотел спросить, не помогает ли валидол от бредовых видений, но воздержался.

Профессор ушел вперед со своей лопатой, я остался ждать сигнала для финишного броска, стою, утаптываю снег и из-за отворотов ботинок ледяшки упрессованные вытаскиваю, плохо заправил лыжные свои штаны в ботинки, вдруг слышу:

— Е-есть, Саша, есть! — трубным гласом на весь тихий зимний лес. — Нашел!

— Что нашли?

— Яму нашел! Сейчас зарубки искать буду!

Странно, на кой леший твои зарубки, если яма есть. Через полминуты:

— Есть, и зарубки есть! Все в порядке, двигайте сюда! Вернуться, помочь вам, Саша?

— Ладно, обойдусь.

Да, ямку профессор вырыл подходящую, для человека.

— Тут, — говорит, — видно, окопчик был военных лет, почти уже засыпался, я его углубил, всего часа полтора поработал, земля мягкая, одно удовольствие было копать. И хорошо, что я тогда копался, сейчас бы нам ни за что эту мерзлятину не продолжать!

Профессор затеял на радостях перекур, а я спрыгнул в яму — на дне снегу тоже по пояс, а сугроб на краю выше головы, — и подумал, что в четыре часа меня ждет Исак, укачивать меня спиртиком, как ребенка, так что надо поторопиться, хотя к пяти успеть. Кстати, вот гадство натуры человеческой или, может, обобщать не стоит — только со мной такое. Ведь когда профессор рухнул в снег и я над ним петушился — вот честное слово, помню, что я тоже об Исаке подумал, что к Исаку теперь уже не попаду.

Работаю я внизу железной лопатой, снег выбрасываю, вспотел, ватник скинул, наверх швырнул, профессор наверху над моей головой снег разгребает, до глины докапывается, что-то мы насчет боев в этих местах при освобождении Киева вспоминаем, рассуждаем о том, что уж из такой ямы Динку ни лиса, ни енот не выроют, а волки тут вряд ли водятся. Профессор вокруг меня поверху ходит, лопатой шурует, а я в центре ямы стою, наверх кидаю. И вот стал он между мной и солнцем, вижу я свою тень на срезе ямы и тень профессора. И тень профессора замахивается лопатой, доска торцом врезает меня по черепу — шапку я тоже вместе с ватником наверх швырнул. И я падаю в яму вверх лицом. И сразу мне сверху на лицо валится вонючий мокрый мешок, а сверху падает что-то еще мягкое, мой ватник и шапка. И еще сверху твердо и судорожно, все тяжелее и глуше, ударяют комья земли и снега. И я похоронен вместе с собакой и с портретом того паталогоанатома, который собаку лечил. А профессор долго уминает ногами яму и все смотрит на небо, чтобы тучки накликать, и снег бы пошел, и следы бы занес; и наши по пути сюда, и саму эту яму. И меня не найдут, ни одному участковому не придет в голову переться сюда. Но, с другой стороны, пропажу мою заметят, и Варька заявит, и у профессора спросят. А он скажет — не знаю, вернулись из леса, попрощались, а где собаку зарыли — вы думаете, я помню, в лесу где-то в снег бросили, буду я с ней таскаться, не нашел я той ямы по такому снежищу, гори она ярким пламенем. И будут меня искать, а профессора даже и подозревать не станут, никто, даже Варька. В самом деле, мог же я, скажем, у того же Исака надраться спиртом и утонуть где-нибудь в проруби или еще как-то там...

— Саша, мне кажется — хватит, вы уже глину выбрасываете, давайте руку, выбирайтесь.

Я посмотрел на профессора, на солнце и сказал,

что нет, давайте сначала спускайте мне сюда эти самые останки, я их вот тут уложу, со стен глины не мерзлой на них соскребу, а потом вылезу и будем сверху засыпать. Он обошел яму, стал над мешком и, наверное, если бы не повесил шапку на сук раньше, то обнажил бы голову теперь. Поднял он мешок, подержал на вытянутых руках подле бороды — такая себе минута молчания — подал мне останки из рук в руки и сказал:

— Лежи, собачка...

И добавил:

— Hier ist der Hund begraben...

А я вспомнил, как профессор предлагал меняться на свиньи ножки, уложил мешок на дно, стал соскребать лопатой со стен глину и опять ощутил, как комья тяжело и судорожно падают на мешок, а под мешком лежу я. Чёрт возьми, честное же слово — у меня абсолютно здоровая психика, а нервы, как тросы из металлокорда у нас в лаборатории на установке сверхнизких температур! Я на соревнованиях всегда на железном спокойствии выигрывал, и бокс, и гонки, а чтоб какие-нибудь галлюцинации, бред там какой — да мне даже сны и те раз в год снятся, Варька все допытывается и свои рассказывает, а мне хоть бы раз чего приснилось! А тут вот такое дело, дошел до ручки и не могу понять, по какой причине, сказать — устал, так разве это устал, летом на заливе не так намахаешься. Это не от усталости, тут другое, не знаю — что, но совсем другое, внутреннее какое-то, надо будет Варьке рассказать, она умеет такие вещи трактовать.

Когда мы закидали яму — сперва глиной, потом снегом, — утрамбовали и в общем закончили работу, профессор сказал, что это сейчас пусть так, что мы не сравнивали яму с краями, не только горба не насыпали, а весной, когда подсохнет, он придет сюда и все сделает аккуратно, как настоящую могилку, и я, чёрт

меня дери, еще раз увидел себя в этой дрянной могилке, развеселился и говорю:

— Профессор, ша! К нам по нашему следу добирается наряд милиции с собакой ищейкой! Видите?

Профессор привстал на цыпочки, всмотрелся, отпрянул за сосну, на которой была зарубка, и тихо крикнул:

— Прячьтесь!

— Напрасно, все равно найдут! Но клянусь прахом этой собаки — даже под черным дулом нагана меня не заставят разрывать яму и представлять доказательства нашей невиновности. Пусть сами роются, чёрт их дери!

Мы одевались, увязывали в рюкзак лопаты, уверяли друг друга в том, что путь назад покажется солнечной прогулкой, потом двинулись, и я стал рассказывать профессору жуткий финал нашего похоронного похода, ставлю цифру пять (5). Потом повеселились над какими-то анекдотами, то ли старыми, то ли новыми, идти в самом деле было легче, хоть мы и отдыхали опять через те же примерно шестьдесят шагов, и я сказал:

— А знаете, давайте с вон той елочки сорвем ветку и принесем бабушке Татьяне, скажем — с дерева над Динкиной могилой, ей приятно будет.

Георгий Иванович обрадовался, поглядел на меня трогательно, а потом вдруг, когда я уже за веточку взялся, и говорит:

— Нет, Саша, знаете — лучше не надо. Пусть забывает. Не надо атрибутов, не надо над атрибутами слез.

И я подумал, что это, пожалуй, верно, таки не надо, не надо над атрибутами слез, это хорошо профессор изрек, это мне понравилось. Мы шли и все-таки старались попадать ногами в свои старые следы, я шагал опять впереди, так когда уже подходили к трамвайному полотну, я заметил, что какими-то очень уж

крупными шагами шли мы здесь, в самом начале броска, сейчас на такой шаг и ног совсем не хватало. Потом мы выбрались из снега на расчищенную площадку у остановки, обтопались, обтрусились, на площадке стояли люди, на нас не смотрели, мы подошли к ним, и я негромко профессору говорю:

— Сейчас самое время нам спросить: эй, браточки, а фашисты в селе есть?

Профессор не понял, и я ему рассказал анекдот, см. цифру шесть (6), а один из ожидавших трамвая, дядька в сапогах и подпоясанном толстом пальто, знал, видно, анекдот, засмеялся и сказал:

— Да, теперь как раз только и партизанить.

Что он имел в виду — так просто ляпнул, чтобы дать понять, что анекдот знает, а может, что снега много намело, не поймать, мол, никому; я ожидал — он спросит, поинтересуется, откуда это мы из лесу с лопатами выползли, а он нет, не спросил, отошел, отвернулся, не интересно ему, видишь ли, ни к чему.

К Исаку я опоздал на полтора часа. Вернее, не я один опоздал, а оба мы с профессором. Когда мы пересели из трамвая в троллейбус... Кстати, хорошо меня тут Георгий Иванович разыграл: вошли, троллейбус тронулся, а он вдруг:

— Саша, мешок забыли!

Я ошалело на него глянул и вскочил, чуть не бросился к водителю просить остановиться. Мы похихивали, и я думал, насколько все-таки нам без этого мешка лучше себя чувствуется!

Да, так когда мы пересели, профессор и говорит:

— Что ж, помянуть надо пса, поехали к нам, пусть наши дамы бутылку ставят.

— Э-э, — говорю, — хозяин, за такое дело бутылку маловато, не грех бы и добавить.

А сам вижу — нет у него полной уверенности, что дома поставят бутылку и вообще одобрительно отнесутся к этой затее, даже если мы бутылку сами при-

несем, охраняют строго профессора на дому от чарки. Тут я и говорю: встретил, мол, утром приятеля, врача, ваш, дескать, коллега, — и очень он просил зайти попробовать настоечки какой-то особенной, давайте, говорю, вместе мотнем, рюмка добрая сейчас во как не помешает! Профессор на меня весело посмотрел, склонил к плечу голову и облизнулся, как на те свиньи ножки; спрашивает — а удобно ли, чужой, да так одеты, — я его убедил и уговорил, и мы в другой троллейбус и тут как тут. На доме Исака профессор увидел телефон-автомат, сказал: «Погодите, Саша», — добыл кошелек, две копейки, выразительно подмигнул мне:

— Супруге позвоню!

Он повернулся ко мне спиной и вполне солидно, со знанием дела стал врать, что мы вот только выбрались из леса — вот от снега отряхиваемся, — а тут у остановки как раз автомат, а трамваи ходят редко, заносы, так что часа два, не меньше, будем добираться к центру.

— Все в порядке, Леночка, целую тебя, родная! Саша кланяется... Нет-нет, совсем не устали! Целую тебя!

И он опять мне подмигнул: дело, мол, мужское.

Очень профессор веселился за столом у Исака, так он был мил, обаятелен и остроумен, что Исака даже на жену свою Беллу стал взоры метать, Беллка бабенка молодая, смазливая и хохотушка страшная. А когда мы под рюмашку-другую-третью чудесного хлебного спиртика, веселясь и друг друга перебивая, рассказали им о собачьих похоронах, Исака отодвинул тарелку, забыл поднять очередную рюмку и подозрительно на нас уставился, считая, что все это розыгрыш и наша фантазия. Потом, все еще с сомнением к нам приглядываясь, философски заметил:

— Ну да, это как в том одесском анекдоте: Хая с Пересыпи увидела похороны губернатора и говорит: «Живут же люди, мы так жить не будем».

(1). КОЕ-КАКИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ К ПРОБЛЕМЕ «ОТЦЫ И ДЕТИ» (то ли, говорят, эта проблема высосана из пальца, то ли не стоит выеденного яйца).

Некое семейство встречало Новый Год. Родители, родители родителей, дочь с мужем. И пригласили хозяева, родители дочери то есть, ближайших своих друзей, мужа и жену: он — генерал в отставке, она — жена при муже, Раиса Захаровна. Кстати, знакомство их, родителей с друзьями, началось на собачьей почве, вместе собак гуляли, родители спаниеля Динку, а те какого-то знаменитого сеттера, весь ошейник в медалях. Варька об этой Раисе, хоть она почему-то терпеть не может имени Раиса, говорила мне как будто уважительно и даже с увлечением некоей авантюристкой ее жизни. Была она из разорившейся, то ли от революции претерпевшей знати, девчонкой попала к босякам, прошла все эти медные трубы, прибилась к воинской части, понемногу стала выбиваться в люди, вышла замуж за крупного начальника, уже немолодого, а лет через пять встретила молоденького лейтенантика Васю Рогова и сбежала от начальника. Потом она рядом с мужем стойко прошла по жизни и в мирные дни и в военные грозы, причем весьма способствовала его карьере — об этом моя Варвара тоже говорила отнюдь не с осуждением. Особо выделялись заслуги жены, спасшей мужа в сложную эпоху 37-го года; доверительно выболтал генерал Георгию Ивановичу, что она, Раиса, ей одной известными способами-приемами спасла его, уберегла, а потом и возвысила, когда выше и впереди стоящие канули в вечность и в небытие и освободилась дорога, еще по этому поводу генерал Рогов и сострил весьма тонко и автоиронично: «Я, мол, — образца 1937-го года». Прошла она фронт медсестрой и тыловые госпиталия, хлебнула, чего все хлебали, он кончил войну генералом при полном иконостасе орденов, лет шесть уже как в отставке, а Раиса Захаровна ныне хозяйка весьма барского дома, уставленного скульптурами и картинами из Германии и старинной мебелью. Сухая она, как тарань, лицо темно-коричневое в густой-густой сетке мелких морщинок, под глазами огромные мешки, а в уголках глаз на мешках такие беловатые костяные пластинки. И голос у нее прокуренный до хриплого ба-са.

Село общество к столу, проводило Старый Год, шампанским отметило Новый Год, сидит общество, жует, мирно беседует, еще наливает, холодцы и паштеты другу другу передает. И с чего началось — хоть убей, не помню. Сказать, много Раиса Захаровна выпила — нет, не много, Варя мне рассказывала, что она всегда умела по-мужски дернуть, и я так в ожидании эффектного зрелища мельком присматривался, сколько она пьет, — так ей Георгий Иванович подливает в рюмку, а она прикрывает рюмку своей сухой черной рукой, никакого зрелища. Ну, и Варвара выпила рюмку водки, а потом шампанское прихлебывала. Да, вот видишь, на Варваре было новое платье, дня за три перед тем купили, такое темно-оранжевое, мешком, из тяжелого шерстяного матерьяла с фактурой немножко под церковную ризу, крупные то ли завитушки, то ли цветы — словом, дорогое английское платье, купили за свои, откладывали на подарок. Да, и еще одна штука получилась. У нас на восьмом этаже есть сосед, грузин Серго, славный парень, мы к ним — они к нам, часто друзья и родичи к нему из Грузии приезжают, как-то с молодым художником из Тбилиси мы у них познакомились, он уговаривал Варьку, что напишет ее портрет, а в следующий приезд привез ей в подарок браслет грузинской чеканки. Не откажешься — по обычаю востока! Ну, мы стол накрыли, а браслет Варьке очень нравится и все время у нее на руке. И вот в начале вечера она Раисе этой черной с костяшками под глазами рассказала, откуда взялся браслет, и как ей платье нравится, и потом... Нет, так не вспомню, как это вспыхнуло. Ага, что-то Варька ляпнула насчет введения наших войск в Чехословакию, что, мол, оккупация, не согласна она, дескать, а Раиса ей... Ладно, короче.

Стоит вот так моя Варвара в стойке фехтовальщика на саблях, и лицо у нее горит, как то оранжевое платье. А у другого конца стола вскочила Раиса Захаровна, совсем уже черная, как чугунок с картошкой над костром. И мы все: родители, дед и бабка Варькины — застыли кто с куском в зубах, кто с рюмкой в руке. И гремит-бушует словесная дуэль:

РАИСА ЗАХАРОВНА (хриплым басом, смешанным с густым дымом «Беломора», кричит и курит): — Платье английское? За какие денежки, милочка? Муженек молодой заработал и папочка-профессор подбросил? Ты сама заработай, тогда хвастай!

МОЯ ВАРВАРА (срывающимся визгом, в ярости и растерянности): — Как прикажете зарабатывать? Солдатам портки стирать? Не умею!

РАИСА: — Сумеешь! Думаешь, росла за папенькой-маменькой,

белые ручки маникюрила, так и всю жизнь будет, муженек папу-маму сменил? Чеканный браслет ей грузины подносят! (Легкий взгляд в мою сторону). За что грузины подарочки дарят?

Я (пожав плечами, изображаю неловкость): — Ну, Раиса Захаровна, знаете, это уж...

ВАРВАРА (подбородок ходит взад-вперед, губы дергаются): — Все эти блестящие собачьи жетончики ваш пес честнее заработал, чем вы своему муженьку-генералу!

ОБЩИЙ ГУЛ: — Варва-ара, опо-омнись!

ВАРВАРА (не опомнилась): — Гер-рои! Воевали! Шлюхой под начальство лезла!

ОБЩИЙ ГУЛ: — Варва-ара, опомни-ись!

ВАРВАРА (не опомнилась): — Партийные билетики для карьеры за голенища вместо ножей сунули!

ОБЩИЙ ГУЛ (из которого выделяется строгий с заиканием крик отца, Георгия Ивановича): — Варвара! Оп-оп-опомнись!

РАИСА (строго и четко): — Вот, Георгий, вот, Елена, какую вы воспитали дочь! Мы не можем больше находиться в доме, где нам наносят такие оскорбления! Пойдем, Вася.

ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА (кричит истерически): — Варвара, дочь, немедленно проси прощения, слышишь?! В моем доме, Боже!

ВАРВАРА: — Что-о-о?!!! Про-ще-ни-я?!!! Меня обзывают шлюхой в доме моих родителей — и я же должна... Ноги моей больше здесь не будет!

Варвара рванулась, вылетела, хряпнула дверь на лестницу. Я поднялся, пошел следом в коридор, на площадку, спустился вниз по лестнице, выглянул на улицу — бр-ррр, мороз, тихо и пустынно. Чутьем молодого влюбленного мужа учуял, что она сидит этажом выше над квартирою родителей у подружки Милы, и поднялся в дом. Роговы одевались в передней, у стены, как в почетном карауле, застыли Варварины дед и бабка. Георгий Иванович под ручку вывел дорогих и любимых друзей из коридора, вернулся за забытой впопыхах шапкой, сверкнул почему-то на меня из-под бровей.

Варька пришла через пятнадцать минут, даже не стала делать вид, будто она закоченела на морозе, спросила через порог:

ВАРВАРА (холодно, спокойно): — Эти... ушли?

Я: — Так точно, сударыня. Сопутствуемые папенькой.

ВАРВАРА: — Старый кретин... (Зашипела на меня.) А ты чего паясничает? Твою жену так... а ты... ты... ты почему вместе со мной не ушел? (Разрыдалась.)

Я (запинаясь): — Я ушел, но... я тебя не нашел...

Короче. Прошел день, первое января. А второго января утром Варвара сказала:

— Я вчера отправила Раисе Роговой вот это письмо.

И протянула мне страничку, черновичок, первый черновичок, как оказалось, потому что второй она отправила родителям с пометкой «к сведению». Боже, Варька, Варька, солнышко мое Варежка-Варюжка! Письмо кончалось постскриптумом:

«Если Вы недовольны исходом нашего спора, я предоставляю Вам возможность снести это мое послание в Институт Общественного Мнения и тем разрешить наш конфликт на основе законности».

А выше, над тем постскриптумом — и ордена-собачьи-жетончики, и шлюха сделала мужа-генерала, и опять же партийный билет за голенищем — ну, вот уж это совсем ни к чему, у меня тоже партийный билет.

— Варька, — говорю, — с ума сошла! Ты в самом деле послала?

— Заказным. Вот квитанция.

Пришел через денька два родитель, Георгий Иванович, не взглянул на дочь, посидел скорбно над кроватью любимого внучонка, и пошли мы с ним на кухню. Роговы получили письмо — я все надеялся, что Варвара нас мистифицирует! — и сказали: за совет обратиться в Институт Общественного Мнения — спасибо, пока (пока!) воздержимся; но вы, дорогой наш друг, должны и обязаны применить строгие воспитующие меры к вашей дочери, иначе... в самом деле, мы можем разве позволить, чтобы в нашем обществе жили и благоденствовали, кончали университеты и покупали английские плагиаты девицы с подобными идеологическими настроениями? Мы ждем, сказали Роговы, ваших, дорогой наш старый друг, выводов и решений.

— Мне уже с-стало из-вестно, — говорилось с усиливающимся от волнения заиканием, — что Р-раиса Захаровна показала письмо одной нашей общей приятельнице и намекнула, что, вероятно, ознакомит с содержанием п-п-письма руководство университета. В-вы представляете, ч-что б-будет?

Я представлял. Никаких решений принять не удалось. Варвара кричала, что она ни о чем не жалеет.

Прошел месяц. Поздно вечером появились Варины родители, строгие и скорбные, и профессор доложил:

— Вчера у Василия Степановича Р-рогова случился тяжелейший инфаркт. Р-раиса Захаровна сообщила нам, что врачи особенно тщательно допытывались, не было ли у него в последнее время каких-

то особенных волнений, и дала понять нам, что Василий Степанович весь этот месяц переживал то ужасное Варварино оскорбление...

Последовала длинная пауза. Выразительная пауза.

— Вы представляете, что она устроит, если он вдруг...

Это произнесла Елена Владиславовна, моя теща.

Вот и все в общих чертах.

(2). Хочется рассказать это дело в динамике, без вступлений и психологических размазываний.

Я шел вдоль дороги. Асфальтовая дорога за городом, транспортная связка между железорудным карьером и горнообогатительным комбинатом, я там практику студенческую проходил, это в Комсомольске-на-Днепре, возле Кременчуга, никак без вступления не получается, ладно, как-то получится. Иду вдоль дороги, на рудник после обеда возвращаюсь, оглядываюсь — попутку остановить, километра три все-таки. Как на зло навстречу — КРАЗ за КРАЗом, огромные, груженные рудой, режут на бешеных скоростях, там шоферы — ассы, крылья машине дай, выколачивают по триста в месяц, так что его скорость — его деньги. А попутной — хоть убей. Шагаю, озираюсь и вижу впереди у дороги на обочине двух собак. Сначала не разглядел, подошел ближе — эге, они в интересной позе: занимались, это самое, любовью и, как часто бывает, остались, не разъединившись, зад к заду, мордами в разные стороны, в народе говорят — «склепились». Крупные две серые собаки, помесь овчарки с кем-то там еще. Они жалкие бывают, беспомощные, когда случится такое дело, топчутся на одном месте, языки вывалят, повизгивают от боли, ни на что внимания не обращают. И люди, я замечал, когда такое увидят, норовят отвернуться — только нет-нет да и поглядят: чем-то таким срамным пахнет, непристойным. Впрочем, я и сам отворачивался, помню, когда шел однажды с девчонкой и натолкнулись на такое, старался от нее загородить.

Подхожу к ним, шагах в двадцати, а собаки, так топчась на месте, понемногу с обочины на дорогу, на краешек асфальта подвинулись, и навстречу нам прет от карьера груженный КРАЗ. Мне даже в голову не пришло, что он может наехать на них, — они же у самого края, дуй себе, как дуешь, поближе к осевой. И вот этот КРАЗ метров за сто до собак дает сигнал: загудел длинно, потом коротко и пошел — ту-уу, ту-уу, ту-ту-ту-ту — словно захохотал, я так и представил себе водителя, который там, завидя такое дело, развеселился, аж машина захохотала. Собаки от сигналов задержались, лапами засеменяли, но отбежать от дороги не сумели. И тут КРАЗ,

вая сигналом, на полной скорости вильнул к ним, ударил их, вывернул опять к осевой, пронесся мимо меня — я инстинктивно прыгнул на обочину, хоть он, наверное, и не задел бы меня. То, что творилось в это мгновение в разных, что ли, точках вокруг меня, зафиксировалось моими глазами примерно так: отлетают собаки, одна кувырком по земле, другая по воздуху и шлепается; прет на меня КРАЗ, ссыпаются мне на ноги комья руды (я отскакиваю в это время); за ветровым стеклом — рожа под козырьком фуражки, хохочущий рот, а рядом полное ужаса женское лицо.

Я стал на обочине, поглядел вслед машине, непроизвольно запомнил номер — до сих пор помню, 19 — 37, по ассоциации с годом обильных человеческих убийств, не иначе, запомнилось и о собаке. Поглядел на собак — в десятке метров лежат, не шевелятся, у одной на месте головы из кровавого месива торчит ухо. Слышу — за спиной тормозит машина, стихает мотор, смотрю — еще не стал КРАЗ, выпрыгнула на правую сторону женщина в брюках, замерла на секунду, глядя в мою сторону, быстро пошла ко мне. Из-за левого борта высунулась голова в фуражке, что-то крикнула женщине, та не оглянувшись, шла ко мне. Голова еще поторчала над бортом, потом нырнула, взревел мотор, попер, набирая скорость, КРАЗ. Женщина приближалась — шла, не бежала, — я уже видел, что это молодая женщина, девушка — брюки, комбинезонная синяя курточка, волосы стянуты желтой в красных бутонах косынкой.

Она подходила ко мне, смотрела на то, что было за моей спиной, замедляла шаг. Остановилась, посмотрела на меня, то ли спрашивала о чем-то, то ли просто хотела убедиться, что я в самом деле здесь есть. Опять стала смотреть туда, на собак, медленно подошла к ним. Я тоже подошел. Одна собака была изуродована и окровавлена, другая лежала чистенькая. Девушка сказала:

— Сволочь. Как-кая сволочь.

Сказала она это сипло, с дрожью, сбоку мне было видно, что она не разжимает зубов, а ноздри у нее побелели и вздрагивают, и грудь и плечи часто вздымаются.

Девушка резко обернулась, посмотрела вслед КРАЗу, который привез ее сюда. Повернулась к собакам, постояла над ними, повела глазами вправо, за дорогу, что-то искала там, потом зашарила по нашей стороне и сказала, не взглянув на меня:

— Надо их похоронить.

Я не успел еще составить определенного мнения об этом, кажется, не мешало бы, у меня тоже пищало в животе от жалости к

собакам и от злости на убийцу — а что, самый настоящий убийца! Чёрт возьми, но ведь и она была там, с ним, — правда, выскочила сразу же, но ведь могла же... А что она могла, баранка у него в руках и ногу с акселератора не спихнешь. И тут девушка — честное слово, как раз в эту минуту! — сказала, словно оправдываясь:

— Я не ожидала, никак не ожидала. Он заржал, задудел, и подумать я не успела, говорю — перестань, а он... — И тут же переключилась: — Надо найти лопату или что-нибудь.

Мы оттащили собак подальше от дороги, отправились на поиски лопаты и, представьте, нашли — лопату нашли, старую, но даже с куском ручки. Копали яму — там песок, копалось легко, потом закапывали. Молчали все время. Честно говоря, меня эта собачья гибель тоже оглоушила. Постояли мы над их могилой, посмотрели друг на друга — неловко как-то мне смотрелось, тут же и глаза я опустил, и она тоже, не знаю, отчего было неловкость испытывать. Пошли вместе к шоссе, остановились, она на меня посмотрела, я на нее — так вот и разойтись каждый в свою сторону? Она проговорила:

— Ты извини, я...

Шевельнула кистями рук, пожала плечами и пошла. Тогда я окликнул:

— Я тут на практике, студент.

Она не остановилась, через плечо сказала:

— Нас тут группа, лаборанты из Ленинграда.

На другой день я ее разыскал.

А через неделю этот самый шофер, рожа в кепочке, подкарауливал меня после танцев, четверо их было. Ух, как я крошил ему челюсти и делал отбивную из портрета, его одного я обрабатывал, те трое не так на меня нападали, как его обороняли. Но четверо на одного — это что-то, это в кино просто и легко герою удастся, хоть я и тогда работал уже в первом разряде полутяжелым весом. Утром Нина принесла мне в больницу булочку и бычки в томате и, ахая над моей забинтованной башкой, в ярости повторяла:

— Пойду в автоколонну, заставлю собрать собрание, все расскажу, как он... как он собак...

Ну, правильно, конечно — собак, а то я испугался было, что она меня на собрании защищать хочет. И я подумал: а если в самом деле на собрании устроить суд за такое — поймут, осудят? Чёрт его знает. Официально осудят, кто-то подонком назовет, а в общем-то посмеются.

Вот так мне пришлось хоронить собак.

(3). Это выглядело так. Человек нажал кнопку звонка. Третий этаж, ступеньки вверх и вниз, сетка лифта, кабина на этаже. Послышались шаги, отворилась дверь. Лицо в бороде, белый воротник без галстука. Двое смотрели друг на друга.

— Мне известна ваша ненависть ко мне. Я пришел потому, что выхода нет.

Один отступил, повернулся, пошел от порога. Дверь осталась открытой. Другой переступил порог, затворил за собою дверь.

Чтобы понять, что в эти тридцать секунд произошло, надо знать две жизни этих двоих. И еще одну жизнь...

— Я ничего не могу сделать. Этого не лечат.

Под бородой в воротнике рубашки был галстук.

— Мне это известно. Все отказались. Я знаю, вы можете попробовать что-то сделать.

Оба стояли рядом перед двумя окнами, руки за спину, смотрели в темноту за стеклами, в комнате горела яркая люстра.

— Я ничего не могу сделать.

У окна остался один. Другой пересек комнату и от двери не смотрел в спину с заведенными назад руками. Второй тоже пересек комнату. Они стояли лицом друг к другу по обе стороны двери.

— Вы можете попробовать. Есть препарат. Достать его — попытаться — можете только вы.

Руки у обоих были за спиной.

— Иначе она умрет.

— Уходите.

— Я приду завтра. В это же время.

Дверь открылась. Один из двоих сделал два шага. Дверь закрылась. Один остался. Руки за спину. В комнате горела яркая люстра.

Прозвенел звонок. Отворилась дверь. Ушли шаги и дверь затворилась.

Люстра не светила. В два окна светила луна. В лица двоим. Руки за спиной были в тени.

— Я уже сказал.

Клок тучи притушил луну.

— Она умрет. Вы понимаете это?

Ничего не происходило, не менялось, только опять в два лица светила луна.

— Это случится. И мы никогда не простим себе.

Возле левого окна хрустнули пальцы, сведенные за спиной.

— Я ничего не могу сделать.

Возле другого окна заскрипел под ногами паркет.

— Вы должны попробовать.

Стоявший у левого окна пересек комнату, стал у двери, не смотрел в спину у правого окна на фоне луны.

— Я уже пробовал.

Луна светила в лицо одному.

Луна исчезла за крышей напротив.

Человек у правого окна обернулся, сразу сделал шаг, пересек комнату, дверь открылась и закрылась.

И всё.

Что вы поняли, люди? Признайтесь, вы придумали себе такое:

«Человек у правого окна сказал:

— Я согласен на все.

Человек у левого:

— Хорошо. Но она бросит вас!»

Придумали, признайтесь? То-то. И зря придумали. Ни к чему это, придумывать зря.

Просто — кто-то ненавидит. И кто-то любит.

И кто-то умрет.

Вот такое мне тогда намерешилось в порядке бреда. Хорошо, что в порядке бреда.

(4). О КРАСНОМ И БЕЛОМ.

Она сказала:

— В моей крови современные белые лейкоциты не пожрали до конца глупых романтических красных телец. Ты имеешь единственный шанс стать моим мужем, получить меня: надо меня украсть.

— У кого? Или — от кого? — как правильно грамматически в данном случае, ты же знаешь, я в лингвистике не секу.

— Не важно, как грамматически. Важно, что надо украсть. Увезти, похитить, украсть, со всеми атрибутами, со скандалом, с воплями «помогите», с погоней. Если хочешь — с задержанием милицией и с фельетоном в газете.

— Хм... А куда украсть?

— Тебе дать адрес?

— Но какой смысл, Варюша? Я хочу честно доказать твоим родителям...

— И представь себе: даже если они тебя возлюбят, во что я очень слабо верю, и дадут тебе «добро», я — поднесу тебе фигу!

— Странно... Зачем? И как это — украсть? Хватать тебя у бровки тротуара, вязать телефонным кабелем, подгонять тройку серопегих или засовывать тебя в такси и шоферу — гони в загс, или лучше — во дворец бракосочетаний?

— Тройка серопегих с бубенцами, о-ляля! Моя мечта. Но можно и в такси.

— Послушай...

— Всё! Заповедь «не укради» отменяется. Укради!

И что вы думаете? Он украл ее. Похитил, увез. Да, да!

Ее церберы-родители были готовы на все. Ходил раньше за ней поклонник, некий доцент, он нравился родителям. И ей, кажется, тоже — пока не появился на горизонте наш герой. Родители устроили так, что она, их дочь, села в машину с доцентом-поклонником и он увез ее далеко-далеко, в тихий сонный город над плавной широкой рекой в дом своих родителей. Он не отходил от нее ни на шаг днем и спал ночью на полу у двери (снаружи), чтоб она не сбежала. Он был любезен, мил, влюблен, интересен. Он следил, чтоб она не подходила близко к почте и к телефону. А наш герой между тем сходил с ума, рычал и метался, но ни малейших следов возлюбленной обнаружить не мог.

И прошло десять дней, и она все же раз прошла мимо почтового ящика, и он получил открытку из следующих слов:

«Ищи — свищи! Ага? Вот!»

Он принялся усиленно свистать и искать. И представьте — нашел. И прилетел нерейсовым грузовым кукурузником в тихий город над плавной рекой. И разыскал дом, где жил поклонник с папой и мамой. И поклонник потом сказал ей:

— Ну, и зверские выражения лица бывают у этих будущих интеллигентов! Я панически стал припоминать известные мне приемы самбо.

До самбо не дошло. До бокса тоже.

Поклонник не думал отступать. Он был счастлив, папа и мама его были счастливы. Да что там, она приехала не гостьей, она вошла в дом почти невестой, вот так. И она поглядывала на него, нашего героя, весьма и превесьма иронически. И у него в крови резко падало содержание красной романтики.

Соперники были джентльменами. Хозяин радушно пригласил гостя к обеденному столу. Чокнулись с мамой и папой, намекали насчет молодой хозяйки. А потом он (герой) тоскливо возгласил:

— Мне пора. Автобусом ехать, что ли?

Да, тоскливо он это изрек, полная безнадёга звучала в голосе. Он не притворялся, не хитрил, не мистифицировал соперника. И победитель-соперник, торжествуя, снизошел:

— Мы вас проводим до автобуса.

Они пошли. Она посередине, держала обоих под руку. И спросила:

— У тебя есть деньги?

У него в крови засуетилась красная струя. Он смотрел на нее, искал глаз, чтобы глаза подтвердили догадку, но сухой профиль не подтверждал ничего. А соперник великодушноничал:

— Пожалуйста, возьмите у меня!

Соперник был самоуверен. И излишне доверчив. На автовокзале он оставил их вдвоем и, по долгу хозяина, побежал узнавать, когда и чем можно отправить поверженного гостя. Кажется, он еще и билет хотел взять за свои деньги. Нет, он был просто олух, этот соперник!

И тогда она сказала:

— Вот стоят такси.

Опять он увидел только ее профиль, но сжал ее локоть и потащил ее к машинам.

— Кто в Киев?

— Мы местные. А вон тот, кажется, искал на Киев.

Он опять потащил, он задышался:

— В Киев... едете?

— Вас двое? Тут только что ходила одна, тоже хотела, туда и пошла, я ее сейчас...

— Я плачу всё! Сразу едем, быстро!

Он рванул заднюю дверцу, втолкнул ее впереди себя.

— Быстрее!

Водитель рылся в путевках.

— Быстрее, слышите? Потом отметите путевку!

Водитель удивленно глядел на них.

— Уезжайте отсюда куда-нибудь.

Это сказал не он. Это сказала она, очень спокойно сказала, но под рукой водителя сразу сработало зажигание.

Что еще? Да ничего. Через два месяца кутили на свадьбе. И он великодушно послал приглашение тому доценту-сопернику, но доцент не пришел. И он, наш герой, был горд. И она была довольна — им довольна. А когда появился в институтской газете фельетон «Романтика по-киевски» — и он, и она возгордились совсем, а он

на целую неделю стал кумиром всего института: и молодежи, и старичков.

Вот и все. Они проживут в любви и согласии долгую жизнь и, как говорится, отойдут в лучший мир в один день и час. И внукам своим он поведает, как похитил их бабу, вырвав из лап соперника.

Да не убудет красных телец в крови их внуков!

(5). Поздней ночью раздался звонок. Профессор, заспанный, больной от усталости, подошел в кальсонах к двери.

— Кто там?

— Откройте, милиция.

— К-кто? Ч-что? Почему ночью...

— Откройте, профессор, не заставляйте ломать дверь.

Цепочка дрожит, вырывается из пальцев, как живая, ключ вертится не туда. Входят трое.

— Одевайтесь. Вот ордер на арест. В машину.

— Б-боже мой, ч-что такое?

— Всё узнаете.

Одевается, выходит, плачет жена, дрожат старики, садится в машину, сам в середочке — двое по бокам, как в одной хорошей песенке у Саши Галича поется, приезжают; кабинет, стол, яркая лампа в глаза, человек в штатском за столом.

— Итак, профессор, без излишних формальностей, нам весьма срочно надо установить истину. Вы были сегодня в лесу у Пушей Водицы?

— Б-был.

— С кем?

— С зятем, с моим з-зятком.

— И всё?

— Да, всё.

— Больше никого не было с вами?

— Н-нет.

— Припомните!

— Нет, мы вдвоем были.

— Допустим. Что вы делали в лесу?

— Мы х-х-хоронили собаку.

— Со - ба - ку - у?

— Да, собаку.

— Какую собаку?

— Мою собаку, Д-динку.

Человек за столом берет в руки два фото, смотрит на них, потом уничтожающе глядит на профессора.

— Да, ее звали Дина. Но какой цинизм, профессор! Женщину — называть собакой!

— Ч-ч-что? К-к-какую ж-ж-женщину?

— Не притворяйтесь!

Следователь швыряет профессору две фотографии. На одной — молодая, красивая, улыбающаяся женщина с толстой косой-короной, на другой — жалкий труп с размотавшейся в грязи косой.

— Б-боже! — восклицает профессор.

— Ее вырыли из ямы, которую вы собственноручно приготовили — для нее приготовили! — еще осенью. Сегодня вы вместе с вашим зятем совершили убийство и зарыли тело в этой вашей яме!

Тут открывается дверь и вводят меня, зятя.

— Саша, — бросается ко мне профессор, — что же это такое, С-саша?

— Я ничего не понимаю.

— Интеллигенты, ученые! Убийцы — вот вы кто! Женщина — для них собака!

— Вы не смеете! — взрывается профессор и стучит по столу кулаками. — Я не знаю этой женщины! Мы похоронили там собаку, вот фото, вот кого мы там похоронили!

И, как семерку козырным тузом, профессор прихлопывает Динкиным паспортом фотографию красавицы с косой.

И постепенно, понемногу, проясняется подлинная картина. По нашим следам к яме пришли убийцы, выбросили нашего дорогого пса и зарыли убитую красавицу.

А, ничего детективчик?

(6). Выходит из лесу тип: обросший, гранаты на поясе, автомат немецкий на шее. И топает бабка на базар с корзиной.

— Стой, бабка!

— Свят, свят, свят... Стою, сынок.

— В селе хвашисты есть?

— Свят, свят! Какие фашисты?

— Какие? Обнаковенные... Хрицы, хвашисты!

— Господь с тобой, сынок! Да ведь война-то двадцать пять лет, как окончилась!

— Окончилась, говоришь? — озадачился партизан. — А чьи ж я тады поезда под укос-то пушаю?

Киев, 1970

ВСТРЕЧНЫЙ ОГОНЬ

(Из второй книги стихотворений)

* * *

Отара в тумане скользит по холму.
Равнина незрима для глаза.
Доколе же брату прощать моему —
Скажи: до седьмого ли раза?

Стада исчезали — и скрылись совсем
За синий расщеп перевала,
Когда непреклонное: семижды семь, —
В ответ на века прозвучало.

Господь, наша память доселе строга.
Верни нас на тропы овечьи,
Где мы бы исправно простили врага
И с братом зажгли семисвечье.

Но слышишь: над рощей с утра воронье.
Гордится земля пустырями.
Здесь дышит на ладан людское жилье.
Не двое, не трое во имя Твое —
Приди и постой между нами.

...Морщинки от глаз исподлобных бегут,
И ежели деду поверить,
И ежели счет на морщины ведут,
Их семижды семь — не измерить.

Ты слышал ли песню разграбленных хат —
Отчизны колхозные были —

Про то, как он выехал на Салехард
И малого как хоронили?

Как мерзлая тундра сомкнулась над ним,
Костры на поминках горели,
И стлался над тундрой отчества дым
По всей ледяной параллели...

...Дорожка ты, тропка! На праздник, как в ад,
На труд, как на смерть, — и обратно.
Все утро вдоль пункта приема звенят
Бутылки светло и опрятно.

Смеркается медленно. Пьяный орет —
Поводит больными плечами —
Про то, как ебут его дни напролет
И как его сушит ночами...

По этой земле не ступал Моисей.
Законы — вне нашей заботы.
И где те блаженные — семижды семь,
Когда бы мы сели за счеты?

Господь! Отведи от греха благодать
Под сень виноградного сада.
Сподобь ненавидеть. Вели не прощать.
Наставь нас ответить, как надо.

...Черно небо гор.
Поднимается дым —
Молочная просека к звездам.
Когда мы вернемся, мы сразу простим:
К Тебе возвращаться не поздно.

1980

* * *

Кто на пресненских?

Тихо в природе,
Но под праздник в квартале пустом
Бродит за полночь меж подворотен
Подколодной гармоникки стон.
Вся в звездах запредельная зона.
Там небесная блеет овца,
Или Майру зовет Эригона,
Чтобы вместе оплакать отца.
А на Пресне старик из Ростова
Бессловесное что-то поет.
Не поймешь в этой песне ни слова,
Лишь беззубо колышется рот.
И недаром обиженный дядя —
Честь завода, рабочая кость —
Вымещает на старом бродяге
Коренную, понятную злость.
И под небом отчаянно-синим
Он сощурился на старика,
Слово ищет, находит с усиьем:
— Как тебя не убили пока?
Как тебя не убили, такого? —
Но старик только под нос бурчит...
Не поймешь в этой песне ни слова,
Да и песня уже не звучит.
Тихо длятся февральские ночи.
Лишь гармоника стонет не в лад,
Да созвездий морозные очи
На блестящие крыши глядят.
Поножовщиной пахнет на свете
В час людских и кошачьих грехов.
Волопас, ты за это в ответе:
Для чего ты поил пастухов?

1975

* * *

Заката рыжая полоска,
Как будто птица горихвостка
Взмахнула огненным пером
Над керосиновым ведром.
Ее усиьем невесомым
Обочины озарены
Бесшумным заревом веселым
До появления луны.

Покуда нам нельзя на волю,
Пока в неволе мочи нет —
Остался свет на нашу долю,
Ночной предагустовский свет.
Остался впредь до жути зимней
Под осязаемой луной
На нашу долю — короб синий
Нагретый, звездный и земной.

Нам остается месяц лета,
И можно ждать, как всякий год,
Пока багровый круг рассвета
Над хрупким дымом не взойдет.
Мы в чистом воздухе окраин,
Как пробки, фортки отворяем —
И пьем рябиновый настой
С последней выжатой звездой.

В такие дни острее слышит
Намеки совести душа.
Над самым ухом осень дышит,
Листами твердыми шурша.
И надо, с зоркостью орлиной
На глаз отмерив крайний срок,
Надежду вылепить из глины
Размытых ливнями дорог...

1975

* * *

Воздух нечист, и расстроено время.
На рубежах ледяного апреля
Рвется судьбы перетертая нить.
Вот уж четырежды похолодало,
Только и этого холода мало,
Чтобы горячку души остудить.

Нет ни покоя, ни воли, ни света.
Я проживаю в беспамятстве где-то.
Веку не ровня, держусь на весу.
Пасмурны днесь очертания мира...
Только объедки с умолкшего пира,
Да тишина в обнаженном лесу.

Как она там, соловьиная пара?
Был же закат — огненосней пожара,
Свечи берез и полян алтари.
Как началось оно, это похмелье?
Только быстрее застучали недели:
Катыши дней — от зари до зари.

Так горевать не пристало поэту.
Но за весну беспощадную эту
Капли дождя, будто капли свинца,
Плотно сгущенный бессолнечный воздух,
Горечь ночей, ледяных и беззвездных —
Пей до конца... Допивай до конца.

1979

Притупилось чувство боли.
Улеглась жара к семи.
Нынче вечер тайной воли,
Власти тайной над людьми.

В эту пору в Третьем Риме
Все недвижимо на вид.
Только небо над кривыми
Переулками кружит,

Только дышится свободней,
И прозрачен черный сад.
В Нижнем Кисловском сегодня
Флаги красные висят.

Я и в юности нередко
В эту пору здесь бывал
И, прыжком доставши древко,
Флаги красные срывал.

Тихо в мире... Слишком поздно.
Только музыка в окне.
Но ее аккорды грозно
Обращаются ко мне,

Но светлеет небосвода
Накрененное крыло:
Где она, твоя свобода,
Сердца тайное тепло?

Что ж, домой, под крышу, что ли:
Спать, и плакать, и опять
(Завтра день большой неволи)
Спать и плакать... Долго спать.

1979

ПОДРАЖАНИЕ

вот она почва праха свобода слова
проводы друга времени нет и решать пора
хочешь лети и сам а хочешь домой и снова
в пункте приема посуды накрест запор с утра

тучи пришли и шербатым ребром нависли
треть небосвода оставив сияющей голубизне
вот оно дело жизни свобода мысли
воля для ветра и града пространство в высоком окне

где-нибудь на capitoлии залил шары негроид
бомбе нейтронной нет равенство-братство-труд
русские люди по всей земле колобродят
органы хвалят места себе не найдут

трое войдут неслышно («дверьми обидно хлопать»)
сам я с утра в растерянности сердце слегка шалит
двое разложат на плитах паркета третий возьмет за
локоть
аккумулятор поставит на пол рубильник пошевелит

холод бежит по спине от луны двурогой
нужно держаться не горбясь и в землю не пряча взгляд
вот почему и бреду немощенной дорогой
медленно растворяясь и переходя в закат

а в сизом фонарном дыме неслышно бегут машины
поздние гости продрогши торопятся к очагам
шорох на кровлях мира под небесами чужими
храп палачей казненных молчание времени шум и гам

1979



На Крещение выдан нам был февраль
Баснословный — ветренный, ледяной,
И мело с утра, затмевая даль
Непроглядной сумеречной пеленой.

А встряхнуться вдруг, да накрыть на стол!
А не сыщешь повода — что за труд?
Нынче дворник Виктор так чисто мел,
Как уже не часто у нас метут.

Так давай не будем судить о том,
Чего сами толком не разберем,
А нальем и выпьем за этот дом
Оттого, что нам неприятно в нем.

Киркегор неправ. У него поэт
Гонит бесов силою бесовской —
И других забот у поэта нет,
Как послушно следовать за судьбой.

Да хотя расклад такой и знаком,
Но поэту стоит раскрыть окно —
И стакана звон, и судьбы закон,
И метели мгла для него — одно.

И когда, обиженный, как Иов,
Он заводит шарманку своих речей, —
Это горше меди колоколов,
Обвинительных актов погорячей.

И в метели зримо: сколь век ни лих,
Как ни тщится бесов поднять на щит, —
Вот, Господь рассеет советы их,
По земле без счета их расточит.

А кому — ни зги в ледяной пыли,
Кому речи горькие — чересчур...
Так давайте выпьем за соль земли,
За высоколобый ее прищур.

И стоит в ушах бесприютный шум —
Даже в ласковом, так сказать, плену...
Я прибавлю: выпьем за женский ум,
За его открытость и глубину.

И, дневных забот обрывая нить,
Покачнешься, двинешься, поплывешь!
А за круг друзей мы не станем пить,
Потому что круг наш и так хорош.

В сновиденье лапы раскинет ель.
Воцарится месяц над головой.
И со скрипом — по снегу — сквозь метель —
Понесутся сани на волчий вой.

19 января 1981

К тысячелетию крещения Руси

Геннадий Русский

КЛЕЙМА

СОТРУДНИК

*Святой памяти преп. аввы Германа,
первопоселенца Соловецкого*

— ...И послал Господь на море велию тишь... И поплыли мы с Савватеюшкой...

Ночь была как хмурый день, серы были небо и вода, и камни, и лес. Далеко отошло море в отоке, обсохло устье реки, обнажились корги и луды, лодьи наклонившись лежали на няше.

На сосновом наволоке под лесом стояла часовенка клетская, при ней келейка и крест. На берегу возле затухавшего огонька сидело трое людейщиков: старый кормщик, молодой его помощник и отрок-зуёк, а с ними невзрачный монашек. Смотрели на догорающий огонек, мальчонка прутом помешивал уголья, подкладывал веточки.

Светло было, а пора стояла безмолвная, глухая, птицы еще не просыпались, и люди разговаривали вполголоса, словно боясь нарушить обступившую тишь.

— Ну, рассказывай, что далё было, — сказал молодой кормщик.

Монашек востепенулся и заговорил неспешливо.

Продолжение публикации глав из книги — см. «Континент» №№ 22 и 26.

— Отворили мы парус...

— Ты ж сказал, что тишь была, — усмехнулся молодой.

— Дивились сами. Будто на месте стоим, оглянулись, а берег — далече! Неведомые силы понесли, будто по реке плывем, течением водным.

— Верно, течения тут есть, — молвил старый кормщик.

— Послал нам Господь дуновение аэрное, а на море велию тишь. Такой тиши над пучиною водною боле не зрел. До того нам весело на сердце стало! Восславили мы Владыку, плывем и поем «Волною морскою». Так-то сладко, про все на свете забыли, плывем и славим Владыку, и несет нас по тиши водной, что по речке! Кузова прошли, тут и остров завиднелся. Не ведаю, сколь плыли, может день, может два, может час един. Спасу Пречистому мы помолились, на брег сойдя, и изрек Савватеюшка, что отныне и во век бысть zde Дом Спаса-Владыки и Николы-Чудотворца, плавающих пособителя.

— Ишь ты! — сказал старик.

— Узрел Савватеюшка над Секир-горой стоячий в небе крест и мне показал, да слаба моя вера, не сподобился лицезреть. И рек Савватеюшка: «Будем zde жить и копить место». Шесть лет пустынничали...

— С чего ж ушли?

— Так Господь положил. Не приспело время стать обители.

— Чем же вы кормились на острове? — спросил молодой.

— Землю орали мотыгой, ячмень сеяли, репу. Рыбку ловили, ягодие собирали. Зимой зело тяжело бывало, дух занимался, не ведали, будем живы — нет, токмо на Господа уповали...

— Неужто людей там нет?

— Бывают о летнюю пору рыбаки, а о зимнюю никто. Лед zde живет худой, полынья да стамухи —

ледовые горы, не пройти. Також сей остров дивный, никому из мирян тамо жить не мочно.

— Для чего ж?

— Тако Господом заповедано. О том дивное видение Савватеюшке было...

— У вашего брата всё видения, — засмеялся молодой кормщик, — я, сколь живу, ни одного видения не видал!

— Не всякому дано, и мне не дано, не раскрыты внутренние очи, а Савватеюшке было дано. Поведал он мне диво дивное...

Мальчонка охнул и впился глазами в монаха.

— Жили мы с Савватеюшкой под Секир-горой на езере. О третьем годе пришел муж с жонкой с Карельского берега, поселился неодаль. Савватеюшка их увещевал: «Безумние, что творите! Отъидите от места сего святого, не мочно мирянам zde житьствовать». Не послушались. Тогда явил Господь Свою силу. Явились два световидных отрока и учили ту карельскую жонку поучать батогами и пререкли: «Съезжай с острова, ино худо будет!» Пришла она к Савватеюшке, плача все поведала. Меня о ту пору не случилось, на езере удил... Убрались они на материк — и сколь же дивен Божий Промысл! — о то же лето прибегали в лодьях каянские немцы и побили б их, а нас Господь уберег, отослал на дальнее озеро, тот остров езерами обилен...

— Сам твой Савватей бабу выпорол, а тебе сказал, что анделы, — засмеялся молодой.

— Савватеюшка-то? — удивился монах. — Он не то что муху, гнуса-комара не тронет, отмахнется токмо. Обилен гнус на острове, много мы от него терпели, а Савватеюшка их не давил: «Сия Божья тварь, речет, послана нам на испытание».

Молодой снова засмеялся.

— Савватеюшка велий Божий угодник бе, — убежденно произнес монах. — Он от обители Кирилла

Белозерского произшел, с ним страдничал. Красна обитель, рачется, идеже сияет муж славен. Сам Кирилл-игумен благословил его отойти в полуночные земли. С Бела-езера отошел Савватеюшка в Валаамскую обитель на острову средь Невое-езера и тамо вдолзе подвизался, и бысть ему глас идти к дышучему морю-океану на незнаемый остров. Я тут и жил тогда при часовенке. Сижу вот так, как мы ныне, и вижу — плывет он в челноке. Все во мне так и встрепенулось. Вышел он на бережок, поклонились мы друг другу, стали беседу беседовать. Я как услышал про остров, так-то возликовал, что обрел подруга! Сколь раз бывал я на том острову с рыбаками и мечтание таил — уйти туда пустынножить, а Бог-то все знает! — и послал мне подруга! Зде сие зачалось, на сем месте. Так-то нам обоим светло стало! Люди тут прилучились, глядят на нас, дивуются. Один из тех людей, с Терского берега, говорит Савватеюшке: «Куда ж ты, старче, подвинешься, больно ты дряхл!» А Савватеюшка ему весело так: «У меня такой Господин, что старого обращает в юного!» Весел духом он был, Савватеюшко, подруг мой желанный...

— Помер он, твой Савватеи? — спросил старый кормщик.

Монах кивнул, помолчал и продолжал.

— Шесть лет мы трудничали, ждали — придет кто из иноков, многие тяготы познали — и по десять ден и боле крохи не вкушали, мне так иной раз невмогуту, а Савватеюшка ничего, весел, уповал на Владыку. И верно, когда от велего глада подошли к смертной черте, не иначе ангелы нам пищу принесли.

— Уж и анделы! — усмехнулся молодой.

— Никто иной. Месяц бе март, году начало, о ту пору на острову никто не бывает, море не пустит. Вышел я из келейки, солнышко сияет, греет, а у меня в глазах туман, ослеп от сияния снежного — и на-

ткнулся я на праге на куль малый с мучицей. С того и ожили.

— И следа не было? — недоверчиво спросил молодой.

— Ни следа, и не чуяли, как подходил кто.

— Савватей твой и подкинул, берег до нужды тайный запасец, а ты — анделы!

— На зимовках так бывает, до последнего надо запас держать, — поддержал его старый кормщик. — Я и сам такие шутки проделявал.

Монах скорбно глянул на них и, не возражая, неспешно продолжал.

— На шестое лето вовсе плох стал Савватейшко. Учал меня нудить идти на матеру замлю. «Ведаю, рек, тамо ходит обители зиждитель. Иди, срящи его!» Я ему: «Како спознаю того?» Он мне: «Зрел я его тайным взором. Будет сей муж с высоким челом, тако и спознаешь». Я ему реку: «Како покину ты, отче, единого на отоке средь морской пучины?» А он мне: «Не тревожься, все в руце Божьей, пребуду я на сем острове в век века»...

Монашек вздохнул и потупился.

— А далее что, дядя? — не вытерпел отрок.

— Монах он, зови его отче, — поправил старый кормщик.

— Скажи, отче!

— Поплыл я на Суму. Живет там добродетель наш, Марко, к нему. И такая печаль тамо на меня напала, и глас неведомый укоряет: «Пошто покинул подруга своего? Не зреть те его боле!» Я реку: «Он меня сам понудил», а глас мне: «Ворочайся!» Да промешкал я, и море обурлило. Вопросал людей про того дивного мужа — никто не весть. А тут беда — обрели меня тивуны и доводчики от боярыни Марфы, учили грозить: пошто-де живете на том острове, той остров наша вотчина, и жить-де вам не дозволяем! Я им реку: ничей той остров, не жилецкий, Божий, а они насмеха-

лись: плати-де им пеню! Обида от них мне была, и немало меня потомили...

— Уж им лучше не попадайся, — усмехнулся молодой.

— А чую, точит сердце, меня Савватеюшка ждет. Ушли волостели, я назад поплыл, а уже осенины, море бурное. Плыву, а сердце скорбит: «Где ты, подруг мой желанный, жив ли?» Доплыл Божьей помощью. Бегу к келейке нашей, чую беду, дух захватывает, воплю изо всех сил: «Савватеюшка, брат мой, отзовись!» Прибегаю — растворена келейка, никого в ней нету... Я и обмер. Воплю: «Савватей! Савватеюшка!» — и нет мне ответа...

— Загинул? — вытаращил глаза отрок.

— Рыбари о ту пору прилучились на острове, от них дознался — уплыл с попутной лодьей Савватеюшка на Сороцкое устье, тако прорек: «Не могу помереть без христианского причастия». Сел я в лодию и молю Господа: «Поспеть бы!» Да не пропускают злые силы, море освиrepело, волны страшные, снег густой, все было, куда плыть — не вижу. Три дни меня проносило, но не страшился, волны лодию заливали, а глас неведомый укреплял: «Не страшись, пронесу тебя над морской бездной, затем, что дело твое не кончено». Волна морская меня мочит, а мне тепло, будто брат Савватеюшка рядом... Так и добежал до сего места. А уж вижу издалече — люди есть на наволоке, а сердце томится, беду чует. Соскочил на берег — гляжу, крест новый. Бегу, воплю: «Кого схоронили?» — «Монах, — отвечают, — преставился, именем Савватий!» Тут завопил я не своим голосом и на землю повалился: «Савватеюшко, брат мой, на кого ты меня покинул!»

Отрок всхлипнул и стал размазывать слезы рукавом.

— Ну, распустил нюни! — одернул его молодой кормщик, но и его проняло.

Монах продолжал тем же тихим голосом.

— Воплю: «Как же я без тебя? Кто ж дело Божье свершит?» И некто прорек мне: «Ты!» Оглянулся — никого. Понял я, то он, подруг мой, отозвался.

Монах смолк.

— Его это крест? — спросил старик, указывая взглядом на высокий резной крест за часовней.

— Его.

— Так ты и живешь тут?

— Так и живу при честных мощах его, молюсь и поминаю каждый день. Одначе и отхожу по ближним весям за подаванием, пытаю, не видали ль пророченного Савватеюшкой мужа, что с ним плыть на остров. Жду его.

— И давно ты так?

— Года не минуло.

— Дядь, возьми меня на остров! — с загоревшимся взором воскликнул отрок. — Я тебе служить буду, спастись с тобой вместе!

— Ишь, чего надумал, — покачал головой молодой кормщик.

— Отпустите, Христа ради, в ножки вам всем поклонюсь!

— Те Лука даст!

— Все одно сбегу!

— От нас не уйдешь, только в мать-сыру землю!

Мальчонка вскрикнул и бросился к лесу. Молодой кормщик начал было подниматься, но старый удержал его: «Вернется...»

— Ишь, как ты его раззадорил, — в сердцах попенял молодой монаха. — Ждешь какого-то мужа, а чего ж сам туда не едешь?

— Слаб я, не сподобил Господь разумом, чтоб обитель ставить. Для того сан иерейский надобен, а я и грамоте не свычен, в книжном деле неук, буквицы-то знаю, прочесть могу, а писать не навычен. Должен

послать Господь великого совершителя. Придет муж с высоким челом, и будет он обители начальник, а я ему со-трудник.

Сходила с небес серая пелена, светлей и ясней становилось окрест, разливалось алое сияние утра.

— Э-эй, вода зажила! — раздался с лодей бодрый голос.

Вдали искрилась и играла морская волна. Потянул легкий бережной ветерок. Загомонили чайки. Обсохшая няша покрывалась блестевшими лягами, русло реки, сузившееся до каменистого ручейка, ширилось, струйки воды подтекали под лодьи. На судах зашевелились проснувшиеся люди, слышались голоса, смех.

— Эй, на берегу! Никита! — крикнули с лодьи.

Младший кормщик поднялся и пошел к судну.

— Куда пойдете? — спросил монах старика.

— На Мурман будто.

— Не ходить бы туда, — сказал монах, — там каянские земли, а каянские люди злобные и нечестивые, к нам на остров прибегали, мы с Савватеюшкой отлучались — спас Господь, — а они в нашей келье афедрон учинили, сиречь отхожее место...

Подошел Никита с высоким рябым человеком.

— Всю ночь нас сказками тешил, — указал Никита на монаха, — про свою Савватеюшку, чуть зуйка у нас не сманил.

— Иванко где?

— Сбег куда-то.

Вожак тяжело глянул на монаха.

— Я найду его, — сказал монах и пошел к часовне.

Возле высокого резного креста на коленях стоял отрок, часто крестился и кланялся. Монах опустил ся рядом.

— Дядя! Отче! — отрок схватил его за руку. — Они не сказали тебе, мы разбойничать идем!

— Знаю. Приметил в лодьях мечи и кольчуги.

Хотите пограбить каянские волости. Недоброе дело... А ты молись Савватеюшке, здесь он лежит, он услышит, он спасет, он всем помогает, добрым и недобрым.

— Не хочу с ними! Сбежать бы! Спасаться, как ты!

Монах печально вздохнул.

— С тобой бы на остров!

— Вернешься, Бог даст, сохранит тя Господь, и приходи. Будет там дивная обитель, так Савватеюшкой указано. Ты дай ему обет, он тя и сохранит.

Отрок быстро-быстро закрестился и зашептал молитву.

— Иванко! — раздался крик с берега. — Где дрова? Убью!

Мальчонка испуганно вскочил и бросился в сосновую рощу собирать сухие сучья.

Монах постоял у Савватиева креста и ушел в часовню на долгую молитву.

На берегу запылал огонь, варили кашу, ели и смеялись. Вода прибывала, закрывала камни в реке и уже плескалась о берег. Лодьи всплыли. Их подвели к берегу. Стали собираться в путь, грузить утварь.

Напоследок все подошли к часовне, сняли шапки, поклонились, перекрестились. Несколько человек с вожакom вошли в тесную клеть.

Монах стоял на коленях перед иконой. Заметив вошедших, стал кланяться долу и произносить вслух: «Спаси, Боже, люди Твоя!» Перекрестившись, ушкунники вышли из часовни.

Монах вышел за ними следом.

— Лука! — тихо позвал он.

Вожак резко остановился и, насупившись по-бычьи, уставился на монаха.

— Чего тебе?

— Отпусти мальчонку... грех!

— Не твоя печаль, монах, — круто бросил Лука и зашагал к лодьям.

Три лодьи, притянутые к берегу, мягко покачивались на приливной волне.

Ушкунники, весело покрикивая, лезли в лодьи.

Река стала могучим потоком, вода скрыла камни; море, прежде видневшееся вдали, теперь подошло вплотную и мирным накатом набегало на каменистую оконечность наволока.

Мальчонка подбежал к монаху. Монах перекрестил его и погладил по волосам. Мальчонка схватил его руку, поцеловал и, всхлипывая, побежал к лодье.

Старый кормщик стоял на берегу, вглядываясь, как вода покрывает ближние корги, дожидаясь полной воды.

Монах стоял рядом, глядя в сверкающее, шумящее морское пространство.

— Белуха пыскает, — сказал монах, — тишину и ведро являет.

Кормщик согласно кивнул. Белуху и он заметил, стадо ее подошло к устью реки, и было то добрым напутствием.

— Стало быть, пора, — пробормотал кормщик и двинулся с места.

— Сохрани вас Бог, — прошептал монах.

— Звать-то тебя как? — обернулся старик.

— Герман.

Лодьи отплыли. Люди шумели, ставили паруса. Ходко под попутным бережным ветром побежали три белых паруса по солнечному морю.

Монах долго стоял на берегу, и когда паруса скрылись за мысом, и когда снова возникли вдали и растаяли в морской шире; не на них он смотрел и не о них думал: он его ждал, неведомого своего подруга — то ли в лодочке, то ли тропинкой подвигается тот, кого он ждет, — муж с высоким челом, и он сразу узнает его, как узнал Савватеюшку, и тогда вместе сядут они

в лодью, растворят парус и поплывут морем на желанный остров.

КОНТАКТ

Новый польский ежемесячный журнал за границей, издаваемый членами и сотрудниками НСПС «Солидарность».

Главный редактор — Мирослав Хоецкий.

Информация, публицистика, культура.

Резюме основных материалов на английском и французском языках.

	Цена 1 экз.	Подписка на полгода	Подписка на год
Франция (фр. фр.)	25	130	250
Австралия (австрал. долл.)	4,5	26	48
Голландия (гульден)	12	60	110
ФРГ (н. м.)	12	60	110
Швейцария (шв. фр.)	10	55	100
Швеция (шв. кроны)	25	135	260
США (долл. США)	5	28	52
Канада (кан. долл.)	6	35	66

При пересылке авиапочтой цена подписки повышается на 20 фр. фр. (полгода) и на 40 фр. фр. (год).

Для остальных стран — цена подписки та же, что для Франции.

До времени открытия банковского счета адресовать чеки:

Mirosław Chojecki — KONTAKT

31 rue Dauphine

75006 PARIS

France

ПОЭМА ПРИЧАСТНОСТИ

Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

М. Лермонтов.

Как славно быть ни в чем не виноватым —
Совсем простым солдатом... Солдатом.

Б. Окуджава.

Не человек — кто в наши дни живет.

М. Цветаева.

1

Ах, Россия, Россия, —
На плакатике голубь.
Что нас в горы чужие
Затянуло как в прорубь?

Что вдруг стало нам нужно
Брать кого-то на мушку
За твоей самой южной
Точкой — крепостью Кушка?

Кушка... Школьные дали,
Горы в утреннем дыме...
И о ней не мечтали
Мы... Но знали хоть имя.

Хоть считались как с фактом.
... А что дальше к Кабулу —
Это всё от нас как-то
Вообще ускользнуло.

Это даже и странно.
Ведь любя всю планету,
Мы судили все страны
Так и этак... Лишь эту —

Ни вовсю не честили,
Ни добром поминали.
Просто так — упустили.
Будто вовсе не знали.

Занимались не ею
Мы — на Запад глядели:
Хоть в хмелю от идеи,
Хоть оправясь от хмеля.

Обо всём говорили.
Чтоб о ней — не бывало.

... А теперь перекрыли
Все её перевалы.

Чтобы впредь кто угодно,
Хоть по праву рожденья,
Здесь не шлялся свободно,
А просил разрешенья.

И чтоб мы разрешали —
При доверии к цели.
Чтоб нам тут не мешали
Делать что нам велели.

Чтоб смирялась стихия
Перед волей Державы.
Словно это — Россия,
И мы все здесь — по праву.

И еще — что похуже,
Чем стыдней наша сила, —
Словно вправду нам нужно,
Чтоб по-нашему было.

Чтоб внедрялась знакомо
Ложь словес воспалённых.
Словно это нам дома
Не обрыдло с пелёнок.

Не гнетёт без предела —
Беспросветно... Обидно...

4

Но кому тут есть дело,
Что и как нам обрыдло?

Что стране этой горной,
Как и чем нас ломало,
Раз мы сжали ей горло,
Оседлав перевалы?..

5

Хуже!.. Снег на высотах.
Мы торчим в оцепленьи.
Иль, вися в вертолетах,
Льём огонь на селенье.

Бабы тычутся слепо.
Дым ползет по ухабам.
Мы сидим среди неба
И стреляем по бабам.

И от пиков до кочек,
От скалы до ущелья, —
Знать ничто здесь не хочет,
Кто мы есть в самом деле.

Всё таится опасно,
Всё к стволам прикипело.
Всё нас видеть согласно
Лишь сквозь прорезь прицела.

Хоть мы всё-таки ропщем,
Хоть за горло мы взяты,
Хоть, подумать, — мы в общем
Неплохие ребята.

Хоть!.. Но это пустое.
Разве речь о прощенье?
Мы, как смерть, — за чертою, —
Вне Добра и общенья.

6

Мальчик, школьник вчерашний,
На чужом солнцепёке.
И подумать мне страшно,
Как мы здесь одиноки.

Школа... Шалости... Шутки...
После — девичьи письма.
И подумать мне жутко,
Как мы здесь ненавистны.

Дома матери дышат
Нами... Ждут, вспоминая...
И девчонки нам пишут,
Даже где мы не зная.

Подвели мы их круто
Всех... И всем досадили.
Не прошли в институты,
В палачи угодили.

И спасенья — не будет.
В тыл рванешься — засудят.
В плен — и там не полюбят,
Руки-ноги отрубят.

7

Мы вне чести и славы.
Дай, товарищ, мне руку.
Нашим делом неправым
Мы прижаты друг к другу.

Все — враги нашей силе.
Все — хотят нашей крови.
И уже мы забыли,
Кто здесь прав, кто виновен.

И всё злей наши лица,
Жжёт отчаянность злая,
И весь мир нас боится,
Нам Добра не желая.

И себя нам всё жальче.
И одна есть дорога:
Глубже в лес... И всё дальше
От людей и от Бога.

Глубже в лес — и под иглы
Взглядов — жгучих и жёстких...

8

Ах, глобальные игры! —
Допинг старцев кремлевских.

Допинг!.. Чувства линияют.
Глохнет всё, кроме власти.
И порой заменяют
Игры ею — все страсти.

Шутка ль! — Всё они в силах.
Мир смолкает, робея...
И в их старческих жилах
Кровь кружится быстрее.

Рвутся в бой, хоть и седы,
Словно в день свой вчерашний.
Юность длят... И за это
Платят юностью нашей.

Нашей кровью и болью,
Нашим духом и телом.
И, наверно, судьбою
Нашей Родины в целом.

Мир доведен до края.
Он молчит... А взовётся —
Что мы здесь вытворяем,
Всё на ней отзовется.

Всё на ней!.. Безусловно!...
Чем поздней, тем страшнее...

...И, выходит, виновны
Мы еще и пред нею.

Всем во вред мы, похоже.
Как мы узел разрубим?
Мы ж не выродки всё же.
Мы ведь родину любим.

Воле старцев послушны,
Возражать избегая,
Не с того ль мы им служим,
Что мы ей присягали?

Не с того ль они сила,
Что себе мы не вняты?..
Ах, Россия, Россия, —
Прорубь... Голубь плакатный...

Где ж вы, голуби?.. Нет их.
Даже помнить нелепо.
Есть венец пятилеток —
Огнемёт среди неба.

Шли в навоз поколенья,
Мор и холод терпели,
Чтоб мы так над селеньем
Без опаски висели.

За бронёй... И висим мы.
И стреляем, как пашем.
И почти что немнима
Безнаказанность наша.

Да, почти что... Но — мнима.
С каждым днём она тает.
Пули бьют чаще мимо.
Но порой — попадают.

Чаще лишь задевают,
Ослабев напоследок.
Но порой пробивают
И броню пятилеток.

И в машине железной
Занимается пламя,
И мы рушимся в бездну,
Подожжённую нами.

И всё видится шире.
Дым глаза застилает.
И никто в целом мире
Нам спастись не желает.

И неправда прямая
(А куда ж нам податься?)
Всё сильнее прижимает
Нас друг к другу и старцам.

Кто поймет нас? — Всю эту
Заколдованность круга.
Никого у нас нету —
Мы одни друг у друга.

Пьём за дружбу, ребята!
Мы друг к другу прижаты.
Мы друг к другу прижаты
И кругом виноваты.

«Мы!» — твержу самовольно,
 Приобщаясь к погостам.
 От стыда и от боли
 Не спасёт меня Бостон,

Где в бегах я. Где тоже
 Безвоздушно пространство.
 Где я гибну... Но всё же
 Не от пули афганской.

Не от праведной мести,
 Вызвав ярость глухую,
 А в подаренном кресле,
 Где без жизни тоскую.

Где и злость, и усталость —
 И пусты и тревожны...
 Где так ясно: — осталась
 Жизнь, — где жить невозможно.

Там, в том Зле, что едва ли
 Мир не сцапает скоро.
 Там, откуда послали
 Этих мальчиков в горы.

Мы! — твержу. — Мы в ответе.
 Все мы люди России.
 Это мы — наши дети
 Топчут судьбы чужие.

И вполне может статься,
 Тем и Бог нас карает,

Что кремлёвские старцы
В них, как в карты, играют.

Нет!.. Пусть тонем в проклятьях,
«Мы!» — кричу, надрываясь.
(Не «они» ж называть их,
В их стыде признаваясь.)

Мы!.. Сбежать от бесчестья, —
Чушь... Пустая затея...
Мы виновны все вместе
Пред Россией и с нею.

Тем виновней, чем старше...
Вспомним чувства и даты.
Что там мальчишки наши —
Мы сильнее виноваты.

13

Мы — кто сгинул, кто выжил.
Мы — кто в гору, кто с горки.
Мы — в Москве и в Париже,
В Тель-Авиве, в Нью-Йорке.

Мы — кто пестовал веру
В то, что миру мы светим,
Мы — кто делал карьеру
И кто брезговал этим.

Кто, страдая от скуки
И от лжи — всё ж был к месту.
Уходя то в науки,
То в стихи, то в протесты.

Кто — горя, словно в схватке,
В мыслях путаясь рваных,

Обличал недостатки
В нашумевших романах.

Иль гася раздраженье,
Но ища пониманья,
Приходил к постиженью,
А порой и к признанью.

14

Мы — кто жаждал не сдаться,
В дух свой веря упорно.
Словно нас эти старцы
Не держали за горло.

Жил — как впрямь признавая,
Что тут бой, а не яма.
Адской тьме придавая
Статус жизненной драмы.

15

Да — тоской исходили.
Да — зубами скрипели.
Всё равно — допустили.
Всё равно — дотерпели.

Старцы — нелюдь. Мы ж — люди.
Но всю жизнь без печали
Мы не сами ль на блюде
Им детей подавали?

Без особых усилий,
Не поморщившись даже,
Мы привыкли. Мы были
В детстве поданы так же.

И взлетал так же слепо
Тот же радостный голубь.
Надо вырваться к небу.
Трудно вырваться... Прорубь.

16

Мальчик, сдвинувший брови
В безысходной печали.
Меньше всех ты виновен,
Горше всех отвечаешь.

Как приходится сыну,
Если предки такие.
Как за все наши вины
Отвечает Россия.

Бостон - Вермонт - Бостон
1981-82 гг.

ПЕРЕЖИТОК

Я появился на свет на восемнадцатом году революции, и все было бы хорошо и радостно в моей жизни, если бы не одно обстоятельство — мои дедушка и бабушка родились, к сожалению, задолго до!..

Они, конечно, не были виноваты в этом, да и появившись они позже — меня, возможно, и сейчас бы еще не было, — и все-таки факт их появления при капитализме меня смущал. Дело в том, что в их сознании была масса пережитков. И несмотря на то, что ежедневно они с ними боролись, что им помогала в этом общественность, — пережитки сдавались с большим трудом.

У дедушки и бабушки было одинаковое количество пережитков, но если быть честным до конца, у дедушки было на один пережиток больше. И вот с этим-то пережитком никакая общественность, никакие указы и постановления, никакое отделение церкви — в данном случае синагоги — от государства ничего не могли поделать.

Судя по всему, дедушке было суждено с этим пережитком жить и, как видно, умереть.

Была у этого пережитка довольно странная особенность — он не бросался в глаза. Вы могли с этим человеком беседовать, пить вино, работать бок о бок — и даже не догадываться, что пережиток существует. Но стоило пойти с ним в баню или искупаться лунной ночью в чем мать родила — как пережиток прямо-таки бросался в глаза. Поэтому с некоторых пор, а точнее с октября семнадцатого года, дедушка перестал посещать баню, правда, одновременно продолжая посещать синагогу, которую закрыли только в декабре.

Мало-помалу о дедушкином пережитке стали забывать, и помнили о нем только бабушка да несколько евреев, с которыми дедушка любил поплавать лунной ночью до революции... И наверняка бы забыли! Как вдруг, совершенно неожиданно, дедушке ударило в голову надеть этим пережитком меня! Меня, родившегося на восемнадцатом году после!

Замысел был коварен. Бабушка с дедушкой решили обмануть моих родителей, всецело занятых строительством нового мира и почти не бывавших дома. Вечером, за чаем, они разрабатывали план операции и, едва заслышав шаги мамы или папы, затягивали «Смело, товарищи, в ногу»... Папа подозрительно косился на них, явно видя в этом подвох, но дедушка с таким энтузиазмом выводил «Грудью укрепим в борьбе», что папа махал рукой и садился ужинать.

Бабушка кормила папу вкусно, хотя ни о каких фаршированных рыбах, цимесах и вументашен и речи быть не могло — придя в дом, папа запретил это раз и навсегда. Папа был сторонником интернациональной пищи и требовал, чтобы в доме в его присутствии говорили по-русски... Поэтому бабушка с дедушкой, плохо знающие русский, в его присутствии молчали...

— Мне достаточно, — говорил папа дедушке, — что я терплю ваш пережиток, уважаемый Моисей Соломонович.

— Какой еще пережиток? — обычно спрашивал дедушка, — какой вы имеете в виду?

— Тот самый, — отвечал папа, — тот самый!

Дедушка никак не мог понять, как папа узнал о его пережитке.

— Но, послушайте, Абрам Исаакович, — возражал дедушка, — вы же не будете отрицать, что от некоторых пережитков мы избавились. Мы, слава Богу, уже живем в отдельном доме. Свою мастерскую по ремонту галош я передал нашему государству, я

уже не пою в еврейском хоре. Что же вы еще хотите?!

— Это потому, что мы закрыли синагогу, — объяснял папа, — а то вы бы там пели и пели и мешали бы нам строить новый мир.

— Боже мой, — говорила бабушка, — кто вам мешает, стройте себе на здоровье, кто вам мешает?

— Кто?! — Папа делал несколько шагов и рывком открывал шифлед. — А это что? — Папа указывал на перевязанный пакет. — С этим можно строить новый мир?!

Бабушка с дедушкой переглядывались.

— Только не делайте вид, что вы не знаете. Это — маца! Как она попала в мой дом? — говорил папа.

— Это с до революции, — объяснял дедушка, — с тысяча девятьсот шестнадцатого.

— Почему же она такая свежая?! — интересовался папа, развязывая пакет.

— С чего вы взяли? — говорил дедушка. — Вы попробуйте...

— Я?! — вскрикивал папа. — Вы мне предлагаете мацу?!!

— Так вы ж говорите, что она свежая, вот я вам и предлагаю проверить.

Папа белел: — Члену партии, — выдавливал он, еле шевеля губами. — Мацу?!? Чтобы завтра же ее не было в доме или послезавтра в нем не будет меня!..

— Ради Бога, — отвечал дедушка и в знак примирения затягивал «Вихри враждебные»... Бабушка тут же подхватывала, и этот сводный хор завершал дискуссию. Папа махал рукой и шел изучать историю партии.

И вот однажды, когда папа уехал в командировку — он время от времени поднимал то сельское хозяйство, то промышленность, то искусство, а мама, как всегда, занималась окончательной ликвидацией безграмотности среди некоторых частей населения, бабушка

с дедушкой завернули меня в покрывало и понесли куда-то, на самую окраину городка, в какой-то домик, откуда вскоре вынесли, но уже не того меня, а меня с пережитком... В свое оправдание должен сказать, что я яростно сопротивлялся. Я кричал, отчаянно махал руками, одновременно дергал обеими ногами и даже укусил склонившегося надо мной бородатого человека с ножом в руках — но силы были явно неравными...

Через некоторое время появились мои родители и, хотя они были идеологически подкованы и чрезвычайно бдительны, они, к сожалению, ничего не заметили... Тем более, атмосфера, созданная дедушкой и бабушкой в этот вечер, была необыкновенной: в центре их комнаты, на стене, был повешен портрет Свердлова, весь вечер граммофон, одолженный у соседей, играл революционные песни и марши, и, наконец, бабушка с дедушкой преподнесли папе новое издание истории партии...

Очевидно, это уже было чересчур, потому что папа подозрительно спросил:

— Что-нибудь произошло, Моисей Соломонович?

— Нет, нет, что вы, — возразил дедушка, — просто скоро годовщина нашей революции.

Слово «нашей», произнесенное дедушкой, заставило папу содрогнуться, и он еле удержался, чтобы как следует не ответить этому «бывшему», еще совсем недавно занимавшемуся эксплуатацией человека человеком.

Это действительно было так... До того, как дедушка, после одного из постановлений, передал добровольно свою мастерскую государству, в ней работало двое — он и его брат, и, понятно, эксплуатация человека человеком была налицо: он нещадно эксплуатировал брата, а брат — его, причем каждый день с раннего утра до позднего вечера.

После добровольной отдачи мастерской никакой речи об эксплуатации, естественно, быть не могло,

дедушка сидел целыми днями дома, поскольку кому нужен бывший эксплуататор?..

Дедушкин брат Иосиф, почувствовав, что без эксплуатации ему не жить, подался в Америку, где продолжал заниматься эксплуатацией, правда, на сей раз самого себя, продавая горячие сосиски простым труженикам в районе Бронкса... Дед тоже было решил махнуть в Америку, но при посадке на корабль его неожиданно схватил приступ аппендицита, и он навсегда остался на родине... Потом он всегда возмущался, когда говорили, что аппендицит — не опасная болезнь.

— Я прошу вас, Моисей Соломонович, — все-таки не выдержал папа, — не говорить про революцию «наша». Вы к ней не имеете никакого отношения!

— Я вас не понимаю, Абрам Исаакович, — возразил дедушка, — то вы меня обвиняете, что я не принимаю революцию, а когда я ее, благодаря вашему влиянию, понемножку начинаю принимать, так вы мне заявляете, что она не моя!..

— Послушайте, — сказал папа, — не трогайте революцию вашими руками... Если б не ваш аппендицит, вы бы давно уже были где-нибудь... на Уолл-Стрите...

Дедушка был добрым человеком, он прощал многое, но аппендицит... Это была его боль, его несостоявшиеся мечты, дальние, новые страны, безбрежный океан... Для дедушки слово «аппендицит» было все равно, что для папы слово «революция». И, как папа не прощал, когда трогали его революцию, так дедушка не прощал, когда трогали его аппендицит.

— Знаете что, — произнес дедушка, — если бы не мой аппендицит — я бы вас, уважаемый Абрам Исаакович, слава Богу, не узнал. Спокойной ночи.

Дедушка снял с граммофона пластинку с революционными песнями, подошел к шкафу, достал оттуда талес, натянул его на себя и прямо на глазах у оторо-

певшего папы начал молиться... Папа растерялся, такого откровенного вызова от дедушки он еще не получал. Тем временем голос дедушки креп, он читал молитву все громче и громче, и тогда папа развернул свой потрепанный экземпляр краткого курса и, повернувшись лицом к Якову Михайловичу Свердлову, стал вслух читать его. Он читал четко, ясно, взволнованно, и его голос перекрывал голос, доносившийся из-под талеса, от восточной стены. Да, так оно и должно было быть — ведь папа читал не какую-то там Библию, а пятую главу...

Но тут дедушка откашлялся и стал набирать силу.

Из-под талеса понеслись трубные звуки, и, наконец, их голоса сравнялись, их фразы переплетались, и уже не ясно было, кто что читал — дедушка под талесом Богу пятую главу или папа Якову Михайловичу — Библию.

Папа не мог допустить такого. Он собрал все свои силы и на некоторое время вновь захватил лидерство:

— «На всех этапах социалистического строительства», — гремел папин голос.

— «Барахату адонай», — доносилось из восточного угла.

— «Под непосредственным руководством...», — кричал папа, и вдруг его голос сел... Видимо, сказались многочисленные выступления в области, когда он подымал сельское хозяйство и литературу.

— «Наш мудрый вождь и учитель», — хрипел папа.

— Что с вами, Абрам Исаакович? — поинтересовался дедушка из восточного угла. — Вам помочь?

— «Наше неустанное движение вперед, — продолжал хрипеть папа, — под знаменем всепобеждающего...»

И тут дедушка доказал, что он является благополучным человеком. Он отложил сидер, снял талес и спрятал все это в шкаф, хотя мог еще читать и читать

своим голосом, закаленным за долгие годы пения в синагогальном хоре. Папа же, несмотря на это, почти шепотом все же дочитал главу до конца и только после этого пошел спать...

Назавтра, не успел папа прийти на работу, как его тут же вызвали к первому секретарю. Первый был явно встревожен. Он кругами ходил вокруг стола, на котором лежало папино личное дело, время от времени открывая и закрывая его, и задумчиво покачивал головой. Создавалось впечатление, что он его учил наизусть...

— Абрам, — сказал первый, когда папа вошел, — кто была твоя бабушка?

— Еврейка, — ответил папа, видимо, растерявшись.

— Ты меня не понял, Абрам, — пояснил первый, — я спрашиваю, чем она занималась до семнадцатого года?..

Папа обрадовался.

— Она умерла, — радостно сказал он, — еще в прошлом веке...

Но первый был начеку.

— А чем она занималась в прошлом веке?..

Папа не знал.

— Я не в курсе, — ответил он...

— Это не ответ члена партии... с двадцать пятого года, — сказал он, заглядывая в папку, — может быть, все оттуда и пошло...

— Что пошло? — растерялся папа. — Что вы имеете в виду?

— А дедушка? — уточнил первый.

— Еврей, — опять ответил папа. Он настолько растерялся, что говорил невпопад.

Первый внимательно посмотрел на папу.

— В тебе явно живы националистические предрассудки, — сказал он, — я спрашиваю, чем занимался дедушка.

Это был коварный вопрос. Папа знал, кем был дедушка, но старался забыть... Дедушка был богач. У него была коза. Тошная, вялая, но живая... Она бляла на все местечко, так что каждый еврей знал, что у Шлойме есть коза — тошная, вялая, но живая... Долгие годы семья богатого папиного дедушки решала почти гамлетовский вопрос — быть козе или не быть, зарезать ее или нет... Дело в том, что хотя семья была богатой, но есть в ней было нечего. Они никогда бы и не решили этот вопрос, если б однажды его не решила сама коза — она издохла... Дедушка не смог пережить этого...

И вот сейчас первый вспомнил о нем...

— Ну что, молчишь, Абрам, — спросил он, — коза была? А?! Была коза?!

Папа покраснел. Он не мог понять, откуда первому известно про эту несчастную козу...

— Т-так ведь тошная, — извиняясь, произнес папа, — и в-вялая...

— Но живая! — подчеркнул первый. — Ведь живая?!

Папе нечем было крыть, и он стоял, понуро опустив голову. Он ждал вопроса о родителях. С ними было все в порядке, и он мог как следует ответить, приведя многочисленные факты их революционной деятельности, но первый, видимо, зная обо всем этом, вопроса не задал. Папе стало обидно, и он ринулся в наступление сам.

— Мой отец, — начал папа, — был...

— Знаем, — оборвал первый, — об этом знаем...

— А мать, — не унимался папа.

— Прекрати, Абрам, — оборвал первый, — ты не имеешь с ними ничего общего. Ты весь в деда! С козой! И в этом-то все и дело!

Папин мозг заработал лихорадочно, как, наверно, работает у утопающего перед последним погружением под воду. Первый явно на что-то намекал, а папа не мог

понять, на что. Он всегда был чист перед партией и всюду, где только мог, проводил ее курс. Если первый призывал сеять рожь, то у него и мысли не было призывать сеять пшеницу или, скажем, ячмень, хотя и встречались люди, не понимающие этого начинания. Если первый считал, что необходимо закрыть синагогу, он лично вешал замок на ее ворота, хотя и здесь были люди, не понявшие этого. Он уже много лет не ел фаршированной рыбы, не говорил по-еврейски и даже старался не думать на нем... Чем же мог быть недоволен первый? И тут вдруг в папиной голове всплыла маца. Она выплыла из шкафа, и назойливо плавала прямо перед глазами. Чёрт бы ее подрал.

— Это неважно, что она свежая, — неожиданно для себя проговорил папа, — я вас уверяю, она с шестнадцатого года.

Первый остановился.

— Кто она? — непонимающе спросил он.

Тут папа понял, что сболтнул лишнего, но надо было как-то выкручиваться.

— Так кто лежит с шестнадцатого года? — вновь спросил первый.

— Зябь! — выпалил папа и испугался.

Первый внимательно оглядел папу.

— А маца? — спросил он. — Маца с какого года в шкафу лежит?

Почва стала уходить из-под папиных ног.

— Я ее даже не пробовал, — сказал он.

— А откуда ж ты знаешь, что она свежая? — резонно спросил первый.

Папа настолько растерялся, что вдруг заявил: — Так какой же она еще может быть, если она с шестнадцатого...

— Т-ак, — произнес первый, — о маце будет особый разговор, — и сделал какую-то пометку в папином личном деле.

— Если о маце будет особый разговор, — поду-

мал папа, — значит, сейчас речь идет совсем о другом...

И тут первый стал в позу, какую обычно принимал, разъясняя важные политические аспекты. Начал он почему-то с середины.

— ...Одним из самых живучих пережитков в сознании людей является обрезание, которое веками насаждалось иудаизмом, царским правительством и национальной буржуазией. Сейчас, слава Богу, у нас нет ни царского правительства, ни буржуазии, ни иудаизма. Абрам, я спрашиваю тебя — почему ты сделал обрезание?

Папа никак не мог понять, почему сейчас всплыл этот вопрос.

— Простите, — сказал он, — я это никогда не скрывал. Об этом указано в моем личном деле.

— О твоём обрезании мы знаем, — перебил первый, — почему ты сделал его сыну?

Папа побелел.

— Это ложь! — еле выдавил он. — Это провокация с целью замарать и опорочить честное имя члена партии.

Первый задумался. Он решал вопрос: то ли папа не знает о случившемся, то ли знает, но хитрит.

— Абрам, — сказал он, — мне все-таки кажется, что лучше признаться...

— Мне не в чем признаваться! — закричал папа. — Я требую немедленной проверки. Слава Богу, есть такая возможность...

— Это опрометчивое решение, — заметил первый, — но раз ты хочешь... — И позвонил в колокольчик.

В кабинет один за другим вошли члены бюро, и по тому, что ни один из них с папой не поздоровался, папа понял, что они в курсе дела.

— Ну что ж, пойдемте, товарищи, — произнес первый, как о чем-то давно решенном, и товарищи,

во главе с первым, направились в сторону нашего дома.

Когда бюро в полном составе вошло в дом, у папы потемнело в глазах: бабушка и дедушка сидели за столом и со вкусом ели фаршированную рыбу. Была суббота, и они могли позволить себе это, тем более, что папа никогда днем дома не появлялся. А тут, нате вам, не только папа, а сразу все бюро... Дедушка настолько растерялся, что вдруг, с полным ртом, запел «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед», но, к чести членов бюро, никто песню не подхватил... и дедушка поперхнулся, то ли песней, то ли рыбой... Тогда бабушка, тоже, видимо, от растерянности, начала приглашать товарищей попробовать рыбу, одновременно извиняясь, что на всех не хватит, поскольку она не ожидала таких дорогих гостей. Но, к чести членов бюро, ни один из них не притронулся к традиционному еврейскому блюду, а все только сдвинули брови. Правда, Иван Степанович поблагодарил бабушку, подошел к столу, попробовал кусочек и даже успел сказать «очень вкусно», но тут, поймав осуждающие взгляды товарищей, поперхнулся и поспешно выплюнул остатки. К оправданию Ивана Степановича надо сказать, что он был не местный, прибыл к нам с Урала, недавно, и не только не пробовал фаршированной рыбы, но даже и не слышал о ней... Тогда бабушка убрала со стола рыбу и хотела отнести ее на кухню, но папа ее остановил...

— Я прошу вас никуда не уходить, — сказал он и, указывая на меня, добавил: — Разверните ребенка.

— Абрам Исаакович! — вскричала бабушка, — вы, наверно, сошли с ума. Ребенок спит... А между прочим, он ослаблен и, между прочим, не видит материнского молока, а без него далеко не уедешь — так вы хотите лишить его и сна, я вас спрашиваю?

Наступила пауза. Члены бюро, а вместе с ними и папа, в нерешительности переступали с ноги на ногу.

— Ну что ж, — нарушил молчание первый, — дети — наше будущее. Подождем.

Все расселись вокруг стола и молча стали ждать. Через час первый спросил: — Простите, он обычно во сколько просыпается?

— Вы знаете, — ответил дедушка, — если он сытно поест, то это надолго. Часов, знаете ли, до семи...

— А сегодня он сытно поел? — поинтересовался первый.

— Рахиль, сегодня он сытно поел? — спросил он у бабушки.

— Вы знаете, как назло, — печально ответила бабушка, — я ж не знала, что вы придете... — И она тяжело вздохнула...

— Н-ну, т-тогда вот что, — произнес первый, — чтобы не терять времени... Вы, простите, не против, если мы тут проведем заседание нашего бюро?

— О чем вы говорите, — дедушка даже встал, — это для нас такая честь. Рахиль, накрывай на стол... У нас там осталась водка?

— Прекратите, — оборвал первый, — что это вы придумали...

— Простите, — сказал дедушка, — мы же никогда не были на бюро... А сладкого можно? У нас есть струдл...

Тут уж не выдержал папа.

— Не членов бюро прошу покинуть помещение!

Бабушка с дедушкой закивали головами и, схватив меня, направились к двери...

— А ребенка-то зачем? — спросил первый.

— Но он же не член бюро, — сказал дедушка, и, так как первый ничего не сумел возразить, они вышли.

Пока на бюро решались неотложные задачи по строительству нового мира в нашем районе, дедушка развернул не по годам кипучую деятельность. Он побуждал на окраину города, к Хаиму Кудрявому, и умолял

его одолжить на какие-нибудь два часа его внука. Хаим Кудрявый не давал, говоря, что без жены он никому внука не даст даже на одну минуту, даже ему, Моисею Соломоновичу. Дедушка валялся в ногах и умолял Хаима не жалеть ему ребенка и что он даст ему за это последнюю бутылочку вина, и принесет фаршированную рыбу, и будет молиться за него каждую субботу...

— Скажи мне, — говорил он Хаиму, — я тебе когда-нибудь что-либо не возвратил?.. Веревку для белья? Таз? Живую курицу? Ответь, что я не возвратил? Почему ты мне не хочешь одолжить внука?

Хаим упорствовал. И тогда дедушка решился на крайнюю меру. Он напомнил Хаиму про ту золотую десятку, которую дал ему на хранение в период бурных событий и которая у Хаима ушла глубоко в землю, а на самом деле лежала на самом дне старого комода и, если Хаим хочет, то дедушка может ему ее сейчас продемонстрировать.

Хаим не хотел, но отдал ребенка.

— На два часа, — сказал он, — максимум.

Когда дед с хаимовым внуком на руках прибежал домой, бюро уже подходило к концу. Заплетающимся языком бабушка сообщила, что уже несколько раз разные члены бюро заглядывали и интересовались, не проснулся ли ребенок, и что она думала, что сойдет с ума, поскольку он проснулся и мог их выдать с головой.

— Он еще не обрезан? — поинтересовалась она, кивая в сторону хаимова младенца.

— Нет, — ответил дедушка, — в среду! Они хотели вчера, но, слава Богу, там очередь...

Из-за стены время от времени доносились отдельные фразы: «поручить и проверить», «доложить о результатах», «кровь из носу, а к среде», «кровь из носу, а к субботе». Чаше других доносился голос папы: «А мы заставим», «а мы заставим», «а мы заставим».

Дедушка пригладил свои седые волосы, расчесал бороду, помолился и, взяв на руки хаймова внука, вошел в комнату, где заседало бюро.

— Я извиняюсь, — сказал дедушка, — проснулся... Вы уж простите, что он так долго спал. Младенец!..

Все повскакали с мест.

— Разворачивайте! — приказал папа.

— С удовольствием, — сказал дедушка, — откуда начнем?

— Да все равно откуда, — выпалил папа.

Дедушка начал осторожно распеленывать ребенка. Он делал это так ласково и нежно, будто был не дедушкой, а мамой. Наконец, он распеленал.

— Вот он, наш клейнер, — сказал дедушка. — А что вас, собственно, заинтересовало?

Папа бросился к хаймову внуку, нырнул куда-то в пеленки и когда, наконец, вынырнул — лицо его сияло.

— Ну, что я говорил, — восторженно закричал он, — оклеветали!

— Конечно, оклеветали, — повторил дедушка, — а что, собственно, случилось?

— Прошу всех удостовериться, — кричал папа.

Члены бюро в порядке очереди подходили к лежащему на столе младенцу, внимательно что-то осматривали и, многозначительно покачивая головой, отходили.

— Ну, — говорил всем папа, — убедились!.. Удостоверились!

Члены бюро смущенно молчали. Последним подошел первый. Он глядел и не верил своим глазам — все было на месте.

— Ну? — кричал сзади папа, — убедились! Провокация!

Папа торжествовал — его честное имя восстанов-

лено. Он бегал по комнате, прыгал и даже поцеловал одного из членов бюро.

Первый думал мрачную думу. Значит, его обманули. Дезинформировали. Сегодня в малом, завтра в большом, а послезавтра... Ему стало дурно... И тут его взгляд случайно упал на личико ребенка...

— Простите, — еле слышно произнес он, — тут обман... — Его голос дрожал.

— Какой еще обман? — гремел папа, — вы, наверно, просто забыли, Наум Лазаревич, каким должен быть настоящий. А ведь у вас, между прочим, тоже в личном деле указано...

— Молчать! — вскричал первый, — это Петр! Мой сын.

Члены бюро, папа, дедушка и даже хаймов внук — остолбенели...

— Извините, — парировал папа, — какой же это Петр? Это Григорий.

Первый растерялся. Он редко видел сына, вернее, почти не видел, со дня рождения всего раз восемь-девять, но и этого было много — у него была редкая память, ему было достаточно увидеть раз, чтобы запомнить навсегда. Его можно было разбудить ночью — и он без запинки назвал бы вам любую цифру из пятилетнего плана, дату рождения любого революционного деятеля, а если тот, не дай Бог, умер, то и смерти, число членов партии в любой стране мира, хотя многие из них находились в подполье. И хотя сын — не план, но и тут он ошибиться не мог. На всякий случай, прежде, чем вступить с папой в спор, он подошел к младенцу и пристально взглянул ему в глаза. Младенец глаз не отвел, и первый понял, что это все-таки его сын.

— Нет уж, простите, — произнес он, — это, извиняюсь, Петр!..

Папа тоже редко видел своего ребенка, может на два-три раза больше, чем первый своего, но ведь и

память у него была гораздо хуже. Он, например, не всегда без запинки мог сказать, в каком году была организована коммунистическая партия Швеции, перевирал имена зарубежных революционных деятелей, особенно китайских, и хотя знал количество тракторов, выпущенных в тридцать втором году, но во сколько раз это больше по сравнению с 1913 годом — всегда путал. Поэтому он тоже подошел к столу и приступил к детальному изучению ребенка.

Пока папа детально изучал хаймова внука, дедушка, видимо, отошел от шока, вызванного неожиданным поворотом событий...

— Наум Лазаревич, — начал дедушка, — я извиняюсь, я, конечно, не член бюро, но я хочу сказать, что нам, конечно, очень лестно, что мой внук похож на сына первого секретаря... Это очень почетно... И все-таки, я извиняюсь, это мой внук.

— Абрам, — сказал он, обращаясь к папе, — что вы там изучаете? Вы все равно не помните. Это ваш сын. Это Гиршл!

— Это Григорий! — взревел папа, — запомните раз и навсегда, Моисей Соломонович, — это Григорий, Григорий! — И, повернувшись к первому, сказал: — Это — Григорий! Ваш Петр, к сожалению, никак не мог сюда попасть. — Но убежденности в папином голосе не ощущалось. Первый в своей жизни не сомневался никогда и ни в чем. Он всегда принимал единственно правильные решения по любому вопросу и не имело никакого значения, был он знаком с этим вопросом или впервые об этом услышал. В последнем случае он принимал даже более правильные решения. Но сейчас, судя по всему, его хотели поставить в тупик, хотели заронить в нем зерно сомнения — этого первый допустить не мог.

— Это — Петр! — убежденно произнес он и неожиданно для себя добавил: — Кто «за» — прошу поднять руки. Все подняли руки, а папа — первым.

— Единогласно, — сказал первый, — переходим к следующему вопросу...

— Одну секундочку, — произнес папа, — я только хочу заметить, что сын — мой...

Все бюро, как один, непонимающе посмотрели на папу, а Иван Семенович, который был не местный и недавно прибыл с Урала, удивленно спросил:

— Да, но вы же только что голосовали «за».

— Какое это имеет значение, — удивился папа, — я всегда голосую «за» и никогда не иду вразрез с коллективом... Но сын-то мой...

Создавалась напряженная обстановка. Первый, который вот уже пятнадцать лет был первым, такого не помнил, но умел выходить из любой, казалось, даже безвыходной ситуации... Достаточно, что он, Наум Лазаревич Шмок, сын Лейзера и Нехамы, внук раввина и шойхета, был чистокровным русским. Поэтому неудивительно, что и здесь он незамедлительно нашел выход.

— Это — Гиршл! — сказал он. — Кто за — прошу поднять руки.

Никто не поднял, в том числе и папа.

— Кто против?

Все подняли руки и первым — опять папа.

— Единогласно, — констатировал первый, — ...переходим к следующему вопросу...

Пока шло голосование, дед сумел незаметно обратиться из комнаты с хаимовым младенцем на руках и вернуться уже со мной. Как раз в этот момент папа вновь доказывал, что младенец его, чем опять привел членов бюро в состояние чуть ли не возмущения... Трудно было, конечно, предугадать, что придумал бы первый, не знавший безвыходных ситуаций, как вдруг растворилась дверь и в комнату влетел Хаим Кудрявый.

— Где ребенок? — орал он, никого не видя во-

круг. — Отдай ребенка! Уже прошло три часа, а речь шла максимум о двух... Ганеф, верни ребенка!

И тут Хаим Кудрявый осекся — он заметил первого...

— Наум Лазаревич? — протянул он. — Доброго здоровья... Кто мог знать, что это вам понадобился ребенок... Нет, это ваш сын, и вы с ним можете видеться, где угодно... Но почему именно в этом доме? Я понимаю, он ближе к вашей работе, но таскать ребенка туда-сюда... Вам, конечно, виднее...

— Ну? — спокойно произнес первый, — это еще раз доказывает, что мы никогда не принимаем неправильных решений! Это — мой сын.

Члены бюро одобрительно закивали головами.

— Хочу заметить, — произнес папа, — что я первым поднял руку.

— О вас будет особый разговор, — сказал первый. — Где сын товарища Шапиро? Принесите сына товарища Шапиро.

— Ради Бога, — ответил дедушка, — раз все бюро считает, что это ваш сын — подержите его, и я вам принесу нашего.

Дедушка отдал меня первому и тут же вынес хаймова внука:

— Пожалуйста.

— Разверните, — приказал первый и торжествующе посмотрел на папу.

— О чем речь, — сказал дедушка, — ради Бога. — И развернул.

Бюро опять приступило к осмотру хаймова младенца...

— Ну, — торжествовал папа, — что я говорил. Провокация!

Первый смотрел на младенца и мог дать голову на отсечение, что и это его ребенок... Но он точно помнил, что двух детей у него не было... Пока первый думал, как же такое могло случиться, я первый

раз в жизни описал первого... Видимо, это было не принято, потому что все члены бюро осуждающе посмотрели на меня. Первый тоже опешил. Его действительно до этого, видимо, никто не описывал.

— Что происходит? — спросил он, глядя почему-то на дедушку. — Вы мне что, его специально передали?..

— Я извиняюсь, — ответил дедушка, — раз это ваш сын, с него и спрашивайте... Но если вы не против, я могу его перепеленать.

Он снял меня с рук первого и стал осторожно разворачивать. В это время первый переодевался в папин выходной костюм... Первый был гораздо выше папы, и костюм лез с трудом, но все-таки с помощью Ивана Семеновича, который был неместный и недавно прибыл с Урала, его удалось натянуть... И тут все присутствующие увидели, что на первом секретаре сидит почти новый черный еврейский лапсердак. Первый, видимо, не чувствовал, что он натянул на себя, потому что он одернул лапсердак, молодецкато расправил плечи и сказал, что чувствует себя в нем довольно уютно.

И только было члены бюро начали обдумывать, как выйти из этого щекотливого положения, да еще чтобы не узнал первый, как вдруг дедушка закричал на всю комнату:

— Ой взй! — закричал дедушка. — Да что же это такое! Вы только посмотрите, что это...

Все бросились к дедушке, и их глазам представилась ужасающая картина: сын первого секретаря, Петр, — был обрезан...

Конечно, это был я, но бюро-то единогласно проголосовало, что я — Петр... Первый стоял в черном лапсердаке, бледный, как смерть, и молчал.

— Хаим Кудрявый, — наконец произнес он, — вы сделали обрезание не ему, вы сделали обрезание мне... Да, да, несмотря на то, что мне его уже когда-то сде-

лали, вы подрезали мне все крылья, Хаим Кудрявый... все крылья...

Все стояли, как на похоронах, все, кроме второго, который уже готовился стать первым. Он тоже стоял понуро, но совсем не как на похоронах... По его лицу можно было догадаться, что он уже готовит главную речь.

— Сняли бы хотя бы лапсердак, — презрительно бросил он первому, и все одобрительно закивали головами...

— Какой еще лапсердак? — еле выдавил первый. — Вам мало, что у меня подрезаны крылья.

— На вас лапсердак! — повторил второй и сплюнул.

Первый оглядел себя, и в его глазах потемнело.

— Помогите снять, — сумел выдавить он, но ни один из членов бюро, так дружно помогавших натягивать, даже не шелохнулся. И только Иван Семенович, который был неместный и прибыл недавно с Урала, помог ему...

— Боже мой, что тут происходит? — вдруг взревел Хаим Кудрявый, — вос туцах?! Я вам одолжил необрезанного, вы что мне возвращаете, я вас спрашиваю, ЧТО?!

Потрясая в воздухе кулаками, он начал наступление на дедушку.

— Что вы шумите, — спокойно ответил дедушка, — шрай ныт! Можно подумать, что вы не собирались сделать ему обрезание...

— Я?! — вскипел Хаим Кудрявый. — Да я не посмотрю на бюро и вырву твою паршивую бороду... Какая ложь, — бросил он в сторону первого.

— О, ты уже стал антисемитом... — сказал дедушка, — раньше мне это пытались сделать казаки, теперь ты... Обзови меня еще жидовской мордой, и ты уже можешь отправляться в Запорожскую Сечь... Я

сейчас приглашу сюда Нусида, и пусть он сам все расскажет.

Все знали, что Нусид занимался в городе незаконным обрезанием младенцев, хотя официально числился в пожарной команде младшим брандмейстером.

— Мало ли что скажет этот безумный, — отвечал Хаим, — действительно, Наум Лазаревич, я только сейчас вспомнил, оказывается, была такая мысль, и мы собирались это сделать, чёрт бы нас подрал, завтра... Но, скажите мне, Наум Лазаревич, разве может произойти сегодня то, что мы собирались сделать завтра?

Несколько минут, проведенных Наумом Лазаревичем без лапсердака, видимо, сделали свое дело. К нему возвратились силы, ясность мысли и глубокая убежденность в правоте своего дела.

— То, что должно было случиться завтра, — убежденно произнес он, — не может случиться сегодня. — Кто за?

Все посмотрели на второго, который уже вот-вот должен был стать первым. Второй ехидно улыбался. И никто из членов бюро, включая Ивана Семеновича, который был неместным и недавно прибыл с Урала, никто из членов, долгие годы синхронно поднимавших руку вместе с первым, не поднял ее. Первый все понял. Он молча подошел ко мне, неумело завернул в одеяло и, не глядя ни на кого, пошел к выходу. Он, видимо, был сильным человеком и умирал с музыкой... И тут дедушка, откуда только взялись силы, бросился и схватил меня из рук первого секретаря.

— Идите вы все к чёрту, — кричал дедушка, — с вашим бюро, с вашими решениями, с вашим «единогласно», с вашим Абрам Исааковичем и лично с вами, Наум Лазаревич. Фабренд золс ту верен. Это мой внук, это мой Гиршл, и я его никогда не обменяю на вашего необрезанного.

Все, как никогда, слитно сплотились вокруг первого, и ехидная улыбка сползла с лица второго. Первый стоял взволнованный и гордый, таким его видели только один раз, после того как в Кремле ему чуть было не пожал руку вождь и учитель всего человечества.

— О вашей улыбочке мы поговорим отдельно, — четко произнес он и презрительно добавил: — Джоконда!

Видимо, последнее слово начисто сразило второго.

— Зачем же так, Наум Лазаревич? — чуть не плача произнес он. — Я, действительно, одно время был левым эсером, был правым, центристом, уклонистом и даже попутчиком, но Джокондой, простите, не был...

Но никто уже не слушал второго, а все смотрели на папу.

— По-моему, все ясно, — вдруг произнес папа, с ненавистью глядя на дедушку, — предлагаю объявить мне строгий выговор с занесением в учетную карточку.

— Та-ак, — протянул первый, — какие еще будут предложения?

— Может быть, это и не предложение, — начал дедушка, — но я хочу сообщить уважаемому бюро, что хотя ваш Абрам Исаакович отравляет мне последние годы жизни, но ради справедливости хочу заявить, что товарищ Шапиро никакого отношения к обрезанию ребенка не имеет и является жертвой обмана, а также...

— Всех не членов бюро — прошу удалиться, — оборвал первый, и дедушка, прихватив меня, покинул помещение. Своего сына, хаймова внука, первый придвинул к себе поближе, на всякий случай. Затем он встал в позу, какую обычно принимал на трибуне.

— Товарищи, — громко произнес первый, — то, что произошло, является огромным пятном на каж-

дом из нас, на всем бюро в целом и, если хотите, даже на мне! Смехотворным звучит заявление о незнании! Член бюро должен все знать, даже то, что он пока не знает... Итак, товарищи, прошу поднять руки.

Все дружно подняли руки.

— Единогласно, — констатировал первый.

— Простите, — сказал папа, который первым поднял руку, — за что мы сейчас голосовали, я не слышал?..

— Я не разговариваю с исключенными из партии, — холодно ответил первый. — Пойдемте, товарищи. Нам здесь не место...

И бюро во главе с первым вышло вон.

Несколько минут папа стоял потрясенный. И вдруг он закричал.

— Маца! — орал папа. — Где маца?!

В комнату вбежали дедушка, за ним бабушка со мной на руках...

— Таки исключили, — спокойно констатировал дедушка. — Хайзерем...

— Мацы! — кричал папа. — Хочу мацы!

— Нету, — сказал дедушка, — выкинули, как вы и приказали.

— Нету?! — вскричал папа и уверенным шагом бывшего члена бюро направился к кровати, нагнулся и решительно полез под нее. Через некоторое время он вылез оттуда, весь в пыли, со свертком в руках. Он начал лихорадочно разворачивать его, откидывая в сторону тряпки, платки и прочее, и, наконец, добрался до мацы. Папа жадно набросился на нее и стал с ожесточением жевать... Он ел ее и ел, хрустел, запихивал ее в рот, давился, и было ясно, как он мстит первому, второму, всем им, и даже Ивану Семеновичу, который был неместным и недавно прибыл с Урала.

— Кушайте, кушайте на здоровье, Абрам Исаакович, — говорил дед, — она свежая, всего несколько дней.

Съев всю мацу, имеющуюся в доме, папа натянул на себя дедушкин талес, подошел к восточному углу и начал молиться... Он молился час, а может быть, два, затем в талесе вышел из дому...

Больше мы его не видели...

Одни говорили, что он уехал в Америку и работает там в Госдепартаменте, другие — что он возглавляет еврейскую общину в Кейптауне, третьи — что он бродит по нашей необъятной родине и всем желающим бесплатно делает обрезание...

Старый Шлойме даже утверждает, что недавно умерший в Техасе мультимиллиардер Хант и был бывший член бюро товарищ Шапиро, но этому уже никто не поверил...

Лев ШАРГОРОДСКИЙ — родился в 1934 г., окончил Ленинградский Технологический институт холодильной промышленности. Работал в Ленинграде — инженером, затем руководителем группы. С 1969 г. — занимается профессиональной литературной работой. С 1976 по 1979 г. — председатель Ленинградского комитета драматургов.

На Западе — с 1979 г. Член ПЕН-Клуба.

Александр ШАРГОРОДСКИЙ — родился в 1943 г. Окончил Ленинградский инженерно-строительный институт. Работал в Ленинграде научным сотрудником. С 1969 г. — занимается профессиональной литературной деятельностью. С 1977 по 1979 г. — председатель Ленинградского объединения драматургов эстрады.

На Западе — с 1979 г. Преподает во Фрибургском университете (Швейцария).

В Советском Союзе братьями Шаргородскими опубликовано около 500 рассказов и несколько сборников. Шесть их пьес были поставлены на сценах десяти театров и на телевидении. Они — лауреаты нескольких всесоюзных и международных литературных премий, в том числе премии «Алеко» (Болгария — 1972 год) и премии имени Даля (Париж — 1980 год). На Западе публикуются в Швейцарии, Израиле, Франции и США.

Недавно в издательстве «Editions de Guý» (Франция) вышла их книга «В этот день нигде не было войны».

СТИХИ

Елена Андропова

СТИХИ ИЗ ЦИКЛА «КРЕЩЕНИЕ»

КОЛЕЧКО

Над городом звенят колокола
Христовым светлым воскресеньем.
И возникает ощущение,
Как будто я уже была.

Была. И все предрешиено.
Вертись, киношное колечко!
И пусть со мной пребудет вечно
Все, что прошло давным-давно!

Который раз хожу в тонзал
Пересмотреть, переозвучить,
Переиграть, переулучшить
И что-то новое сказать.

На что оно? Коль все равно
Мой каждый шаг уходит в вечность?
Крутись, затертое колечко
Давно отснятого кино!

Клок пленки склеенной — и только?
Тогда зачем звонят колокола?
И красные сережки белый тополь
Возносит к золоченым куполам?

КРУГ

В кругу друзей, в кругу своей семьи,
В кругу обычных слов и представлений
На круге устоявшихся явлений
Перемелю сомнения мои.

Навек я в заколдованном кругу.
В сцеплении слов не отыскав исхода,
В любом краю в любое время года
Я вырваться из круга не смогу.

Вдвоем по кругу — больше ничего!
И мы уже не можем друг без друга!
Но что же может быть надежней круга?
И что же безнадежнее его!

* * *

Расстроена, как бабушкин рояль,
Как старый допотопный беккер,
Без клавишей и с лопнувшей декой.
Уходят струны проводами вдаль...

Так натянулись, что оборвались.
И нет стиха. Лишь чистый лист бумаги.
И я сама всего лишь чистый лист,
Пустой лоток золотомойной драги.

Настрой меня, веселый музыкант!
Сыграй на мне, изысканный маэстро!
И ты увидишь — у меня талант
Петь, и молчать, и знать под солнцем место.

Улавливатель образов и рифм,
Я только сверхчувствительный приемник.
Играть самой? Да это чистый миф!
Я инструмент. И это ничего мне!

Маэстро, Вы ведь признанный знаток
И душ, и муз, и клавиш фортепьянных.
О, лишь бы этот гул во мне не смолк!
А Вы во мне не сыщете изъяна!

Сосредоточьтесь. В самой глубине
Моей души послышится анданте...
Сыграй на мне! Иные музыканты
Могли играть и на одной струне!

* *
 *

Ты — тень теней. И я живу в тени,
Не видя света, но не зная мести.
И все в порядке. Все у нас на месте.
Зачем же эдак? Боже сохрани!

О, если б ненависть извне
Могла б во мне овеществиться,
То эти руки, эти лица
Все б упокоились во мне.

Но нет! Они во мне кричат!
Они зовут меня к отмщенью!
А я в христианском всепрощеньи
Молчу. И все со мной молчат.

КРЕЩЕНИЕ

Не для меня куполов золотое свечение,
И не в купели меня золоченой крестили.
В цинковой ванне крестил меня старый священник
В тридцать шестом, в коммунальной московской
квартире.

Наглухо двери тогда на засов запирали,
Подогревали на примусе воду в купели.
Всё, что положено, всё надо мной прошептали,
Всё, что положено, с примусом вместе допели.

Стукнула дверь, содрогнулся беспалый священник.
Выронил в воду он недокрещенное тельце.
И завернули меня с головой в полотенце,
Не завершив надо мною обряда крещения.

Как ни старались, но эти беспалые руки
Все же меня над водой удержать не сумели.
В страшных лубянских подвалах беспалый священник
И за меня принимал свои крестные муки.

О, я в свою осененность бестрепетно верю!
И в предрешенность еще не свершенных решений.
Пусть надо мной не свершили обряда крещения,
Крест мой потерял. Но это еще не потеря!

Елена АНДРОНОВА живет в Москве. Автор ряда самиздатских очерков и открытых писем. Стихи печатает впервые.

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПОГОСТ

Зачем живописна руина с крестом на весу?
Кому салютует рябина в промозглом лесу?

Зачем так украшены дроги, когда нас везут
туда, где в конечном итоге — дознание и суд?

Архангелы в длинные дудки трубят и трубят.
Знобит от старинной погудки, и пальцы дрожат.

Везут нас под благовест птичий, чтоб с глиной
смешать.
Зачем же столь странный обычай — гробы украшать?

1974

* * *

Что он там пишет при свете свечи?
Что он там пишет, безумец счастливый?
Гласу не внимлющий, нетерпеливый...
Ты ему ордер на обыск вручи!

Ты в его душу ворвись и обшарь
все закоулки, разведай, чем дышит?
что еще знает? о чем еще пишет?
Яростью пышет твой резкий фонарь.

Высвети душу его, обыщи —
шмон гроыхает над тихим зимовьем.
Он на глазах у тебя хладнокровьем
дышит — все пишет при свете свечи.

К тайне душевной вражду затая,
Ты появляешься, как наважденье.
Ты лишь всеведенья жаждешь, и бденье —
жалкая суть твоего бытия.

1976

ОДНАЖДЫ ОСЕНЬЮ

Природа в цветных заплатах и прошвах,
в ржавой глине на драных подошвах,
желтушно-серая и рябая,
тащилась, Внуково огибая,
и выла, как пьяная баба дрянная.
А выше, как мельница ветряная,
ажурный радар безмолвно вращался
и с пасмурным небом молча общался.
Зрителей было — раз-два и обчелся,
но кто-то подумал: о том и печемся,
чтоб мы не бесплодно с небом общались,
чтоб наши сигналы к нам возвращались.

1977

ВО ГЛУБИНЕ ЗЕМЛИ

Там не расплавленная лава
и не железное ядро.
Я видел сам: там переправа
в пустотах ветреных метро.

О эти оползни людские!
Чуть свет, досматривая сны,
влекутся души неживые,
от тела не отделены.

Проходят слева, дремлют справа,
сползают — всяк на свой манер.
Зато какая переправа!
Харон эпохи НТР.

Где ваши страсти, ваши страхи —
земная сущность бытия?
Вы в черном чреве черепахи,
продолговатом, как змея.

Вас ждет внутри земного лона,
страстей лишенных и обид,
в берете красном Персефона
и в черном кителе Аид.

1978

ШАГАЮЩИЕ ДЕРЕВЬЯ

А. Солженицыну

Пусть мы — оседлые деревья
и наши корни — якоря,
на легендарные кочевья
мы смотрим, завистью горя.

Топорща кроны, точно гривы,
о камни корни ободрав,
идут деревья-пилигримы,
шагнув поверх корней и трав.

Идут деревья-великаны,
чтоб, косной воле вопреки,
пройти моря и океаны
и пересечь материки.

Они идут, стуча корнями
по растревоженной земле,
светя зелеными огнями,
чернея спинами в смоле.

Идут, вершин не наклоняя
и не скрывая торжества,
суровой волей наполняя
материки и острова.

Идут и стоя отдыхают,
а из высоких сфер и нор
блистательные полыхают
блюстителю свирепых норм.

Такая ересь не простится,
и громовержцы тут как тут,
но лучшие на свете птицы
в тяжелых кронах гнезда вьют.

И маленькие обезьянки,
глазенки влажные раскрыв,
впервые видят мир с изнанки
и вверх ногами, вкось и вкривь.

На старых вязах, на березах,
где возбужденье и галдеж,
там равнодушие и тверезых
и безголосых не найдешь.

И в том значение изгоя:
пошел, пошел Бирнамский лес,
поправ инерцию покоя,
нас возвышая до небес!

1969-79

* * *

Да нет, я, конечно, не барин —
ни барского гнева, ни ярости.
Любимой за все благодарен —
и за избавленье от старости.

Я ей благодарен за годы
любви и счастливого плаванья.
Я ей благодарен за роды,
за все наши бухты и гавани.

За бухты Любви и Покоя,
за бухты и гавани Радости —
за все, с чем прощаюсь с тоскою,
и за избавленье от старости.

Исчезнуть в просторной стихии
свободным и с выпитой чашею —
спасибо просторам России
за эту возможность редчайшую.

Спасибо российским просторам,
в которые кану по странности,
за горести, предан которым,
и за избавленье от старости.

29. XII. 81

* * *

О чем-нибудь другом... О бывшей коммуналке,
где я теперь живу. Прелестный уголок!
Старуха так добра и зла, и очень жалко
ее — ей трудно жить, и рухнул потолок.

Ни слова о любви... Вниманье старым вдовам,
соломенной вдове, еще одной вдове
больной... Вокруг зима, и на кольце Садовом
сугробы к Рождеству — всё, как в седьмой главе.

Ни слова о любви... О Пушкине, о Польше,
о детях в январе — их сколько ни зови,
так тихо, плохо так, что вряд ли можно плоше
об этом написать... Ни слова о любви!

5. 1. 82

ИЗ ЦИКЛА «ХОДЫ»

* * *

Над деревьями вейся,
падай с неба наклонно, отвесно,
ощущение веса
отнимай у бегущего в лес, но

не лишай равновесья
на трамплине, а кончатся горы —
узкий въезд в редколесье
приоткрой, раздвигаясь, как шторы,

— дуя с веста и оста,
наложи мне на щеки румяна, —
то, что как-то зовется,
но по сути своей безымянно, —

бей в зрачки мне на трассе,
растворись в леденеющей лимфе, —
в наши дни на Парнасе
попросторнее, чем на Олимпе!

Январь 82

ЗИМНЕЕ УТРО

Дверь я примерзшую дерну,
в облаке пара
выйду во дворик.
Запах навоза и дерна,
дерна и вара
сладок и горек.

Вышел, в отрепья одетым.
Чем ни разжиться,
все разорвется
в Днепропетро... или где там?
в Днепродзержинске?
В Петрозаводске...

Снег набивается толсто
за голенища.
Трудно добраться.
Снег в темноте — это то, что
днем — пепелища,
в смысле контраста.

Все в этом смысле сгорело.
Глеет и жжется
жестко и резко.
Если б еще и согрело —
или как шерстка,
или как «Экстра»!..

Эх, недалёко до Рая,
гладки полотна
смертного одра!
Лезут из мрака сарая
ломы и метлы,
метлы и ведра.

Январь 82

I

Вокруг снега на сотни км.,
В шкафу молдавский вермут.
С дерьмом смешай себя — никем
Не будешь опровергнут. Сядь
Туда, где было кресло.
И, если не успел ты взять
Ни скипетра, ни жезла, пол
Ударив днищем таза, —
Благодари судьбу, что кол
Не подставляет сразу, — но
Дает, как ты, счастливым,
Подняться и предаться гно-
Сеологическим мотивам.

II

Похоже, что любовь, арест
И прочие события,
Сменившие ландшафт окрест,
Не могут из забытья дух
Твой вывести к звездным высям, —
Быть может, глуп он или глух,
А может быть — зависим он
От самого себя лишь.
Зато и не падет сей трон
Под натиском седалищ. Так
О каждой передрыге
Свидетельствовать может знак
Незамутненности бумаги.

III

Однажды утром ты начнешь
Менять, войдя в квартиру,
Остановившийся чертеж
Часов по транспортиру, над
Изножием без грелки,
И вот на триста шестьдесят
Поворотятся стрелки, — мол,
Не лицемерь, заветных
Себе выгадывая пол-
Часа, не жди сюжетных снов,
Закрыта фильмотека,
И дни, как высчитал Иов,
Бегут скорее человека.

1980

ПЛОЩАДЬ ВОССТАНИЯ

Кровель московских
и подмосковных,
серых и плоских,
единокровных

мне, дворянину
в мёртвом колене,
— вижу равнину
в собственной тени.

Скомкав период,
сделавшись тише,
сжавшись внутри от
слёз, отпустивши,

точно покойник,
локоть красотки,
на подоконник
дряхлой высотки

облокотившись,
воображаю,
как, подкатившись
к самому краю

крыш этих ГУМов,
этой рутины,
и не придумав
альтернативы

этого леса,
зримого сверху,
— царствие плебса
мысленно свергну.

Январь 82

ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА ЕФИМА ЛАДЫЖЕНСКОГО

Два стихотворения

I

НА ДАЧЕ

На даче в маленьком саду
под Харьковом давно
в легчайшем солнечном бреду
с друзьями пил вино.

Слетала облаком пыльца
и таяла в вине —
когда провалом в пол-лица
судьба явилась мне.

И так была она грустна,
что день в саду погас,
и обернулась сном весна,
и нас Господь не спас,

и никого из бывших нас
не сберегла звезда...
И нынешний недобрый час
открылся мне тогда.

ИЕРУСАЛИМСКАЯ ОСЕНЬ

Вечернего густого мрака
колющий дождик моросит.
Скулит бездомная собака,
дитя в коляске голосит.
Открытого пространства мало —
обложкой старого журнала
на непонятном языке
оно заклеено, как рама
в преддверьи морока зимы.
И прошлогодняя реклама
сулит несбыточные сны
о том, о сем... А все же осень —
по памяти — берет в тиски.
Собака лает. Ветер носит.
И рвется сердце на куски.

Иерусалим, 1982

ШОТЛАНДСКИЕ СТИХИ

(Из книги «ВНЕ РОССИИ»)

I. Заказное. Михаилу Лермонтову, на Тот Свет

Отправитель: Юрий Иофе, Шотландия

...испаряется море в рассветную сонь,
 море горькое, точно английская соль,
 море темное, дымное, даль без конца,
 море — первое древнее дело Творца.
 А Сэнт-Эндрьюс, скажу, неплохой городок,
 аккуратный такой, небольшой коробок.
 Ветер гордой Шотландии, горной страны,
 раздувает, как парус, срывает штаны.
 Перепутала что-то колдунья-судьба:
 не меня бы, другого поэта сюда!
 Только я ни при чем, ни о чем не просил.
 Не сердись на меня, дорогой Михаил!
 Тлеет Солнце в тумане, простор впереди,
 в море парус белеет, тот самый, поди.
 В море, что ли, уйти, я бы к бездне приник.
 Только я сухопутный, к другому привык.
 Под туманный восход, под печальный закат,
 под холодного моря тяжелый накат,
 в мертвом замке, где призраки предков твоих,
 выпить, что ли, поллитру — с тобой на двоих?
 Наказал меня Бог, я уныл и убог,
 вот дурак дураком из Москвы и убёг!
 А о гордой Шотландии, гордой стране,
 я, признаться тебе, не мечтал и во сне.
 Море сонное, странное, тайна воды.
 Как бы я не того... не наделал беды...
 Ведь бездарную дурь в голове затаил.
 Походатайствуй *там* за меня, Михаил...

Сэнт-Эндрьюс (Шотландия), 13. 4. 82

2. * *

Без задумок, без затей,
Я другой теперь, другой.
Призрак над рекою Тэй,
Над шотландскою рекой.
Ты иди себе, иди.
Я иду себе, иду.
И по городу Данди
Волоку свою беду.

Данди, 15. 4. 82

3. РАЗМЫШЛЕНИЯ В СТАРЫХ ДОКАХ

Полон лязга город Глазго,
Серый запах, сизый газ.
Город дымный, но не дивный,
Напряженный, как оргазм.

Бьется жизнь в его потоках,
Суть его оголена.
Но в субботу в старых доках
Тишина, как пелена.

Вот оно, земное лоно:
Щебень, щепки там и тут.
Посреди металлолома
Одуванчики цветут.

Где концы? И где начала?
Я взираю, сам не свой,
На замшелые причалы,
На обрубки мертвых свай.

Что мне там судьба-вещунья
Шепчет в желтой тишине?
Я гляжу, глаза прищуря,
В этот мир, открытый мне.

Этот мир исколесил я,
Добрался до самых недр.
А Россия... Что Россия?
Никакой России нет.

Глазго, 17. 4. 82

4. КАМЕНЬ

Камень желт, красноват, темно-бур.
Камень древнего, мертвого цвета.
Ты, как камень, застыл, Эдинбург,
На окраине белого света.
Может, ты — порождение гор?
Или ты — первобытная крепость?
Не пойму, где утес, где собор.
Все в тебе непонятно, как ребус.
Эдинбург, ты другим не чета,
Отродясь я такого не видел.
Карел Чапек, трагичный чудак,
О тебе мне когда-то поведал.
Камень страшен, недвижим, тяжел.
Он сформован иными веками.
Не с того ли к тебе и пришел,
Что и сам я твердою, как камень?
Путь мой темен, угрюм, окаян.
Но с пути я не сбился, не спился.
И... как камень, гляжу в океан,
В бесконечность уставился с пирса.

Эдинбург, 18. 4. 82

Россия и действительность

Юрий Фельштинский

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЧЕТЫРЕМ ПУБЛИЦИСТАМ

Предисловие

«Они не стоят слов: взгляни — и мимо!» Эту строчку из «Божественной комедии» Данте я помнил всегда. И все-таки решил написать статью в ответ на ряд публикаций четырех эмигрантских авторов.

Пусть не покажется читателям в России, лишенным свободного доступа к русскоязычной эмигрантской прессе, что вся русская эмиграция и весь Запад стоят в оппозиции к А. И. Солженицыну. Не знаю, может быть, у А. И. Солженицына и могут быть серьезные оппоненты, но пока их нет. Тем не менее я считаю своим долгом ответить на ряд направленных против А. И. Солженицына выпадов.

Бесконечны споры нашей эмиграции. До хрипоты в горле. До ссор между вчерашними друзьями. До взаимных обвинений в азефстве. Как готов я поверить словам одного публициста, утверждающего, будто нет ничего похожего в знакомой ему чехословацкой эмиграции*. Но о чем же спорим мы — бывшие узники советской власти? Об объединении сил для борьбы с Сове-

*Насколько нам известно, подобное утверждение весьма далеко от действительности. — Р е д.

тами? О предотвращении распространения коммунизма? Нет, об этом — крайне редко. Чаше...

Так бывало уже не раз в русской истории, что люди, более других пострадавшие за Россию, лучше всех нас ее понимающие и знающие, ощущающие свое причастие к русской истории, культуре, языку и народу, но и более других для России и ее народа *сделавшие*, — становятся объектом наирезчайших нападок самых различных политических групп и течений. Я, безусловно, имею в виду ту постоянную критику, которой в последние годы подвергают Александра Исаевича Солженицына. Отнести ли это к закоренелому человеческому пороку — не прощать другим их гениальности — или к действительным политическим разногласиям?

Лишь только приземлившись в венском аэропорту, вчерашние советские граждане, всю жизнь прожившие под коммунистическим гнетом, вдруг обнаруживают главную опасность, грозящую человечеству, не в удушливой классовой теории Маркса, но в А. И. Солженицыне. Увы, дискуссии о великом русском писателе не относятся к тем спорам, в которых рождается истина. Здесь очень многое зависит от позиции и не может быть доказано с математической точностью. Как правило, переубедить можно только читателей, но не авторов самих статей. И тем публицистам, с мнением которых я не согласен, чьи статьи я постараюсь затронуть в этом письме, моя работа, я уверен, явится лишь новым сырьевым материалом для очередных нападок и на А. И. Солженицына, и на «грядущую тиранию» «русского национализма», и, возможно, на меня самого, как автора письма, написанного с одной-единственной целью: защитить А. И. Солженицына от того, что я называю клеветой, невежеством и хамством. Но и тут оговорюсь сразу же: кажущееся клеветой мне — моим оппонентам увидится кристальной чистоты истиной. А относимое мною

к хамству многие расценят как остроту журналистского пера или как смелость автора, не побоявшегося обхамить «авторитет». И о терминах спорить здесь бессмысленно. Это опять лишь вопрос позиции.

Вы, обвиняющие А. И. Солженицына во всех смертных грехах, уже давно переступили те дозволенные рамки полемики, в которых цивилизованные люди способны вести профессиональный спор. В потоке выпадов, ругани и передергиваний уже не хватает места ни человеческим аргументам, ни обычной интеллигентности.

Обреченно я слежу еще и за тем, как причислят меня к «людям Солженицына» (какое позорное клеймо в наше время!) и «волонтерам, защищающим сильных мира эмигрантского. И более всего, конечно, Солженицына... И с каким знакомым рвением это делается, какими знакомыми средствами...» Да с каким там рвением? С грустью разве что, и досадой. И какие это у меня особые «знакомые средства»? Я пишу это письмо, обложившись статьями своих оппонентов. Вот и все.

Только наша всеядная эмигрантская пресса, в которой свобода слова часто заменяется отсутствием редакторов (по финансовым соображениям) и многие статьи, а то и книги «принятых авторов» идут в набор не читанными никем, кроме их создателей, может выдержать до изумления простое утверждение, что А. И. Солженицын — не в своем уме, в примитивном и прямом смысле этого слова.

«Вывод однозначен, — пишет один из авторов, — перед нами *помрачение рассудка*. Солженицын... очевидно, не выдержал удара абсолютной славы... (Слабые умом и духом могут потерять рассудок и от ограниченной славы и власти, как и от неожиданного богатства)... Безумие в этом случае облекается в яркую, завораживающую форму... Видимо, помрачение рассудка ослабило моральные тормоза у Солженицына и выпустило все злые чувства из подсознания, где они сформировались в ранний период его жизни под воздействием каких-то обстоятельств...»

О нет, это не медицинское заключение из института имени Сербского в Москве. Это статья, опубликованная в США, в газете «Новый американец». Я мог бы продолжить цитирование. В той статье дано еще и параллельное сравнение А. И. Солженицына с «безумцами» и «маньяками» Сталиным и Гитлером. Бумага все терпит. Что можно возразить на такое «обвинение». Глупо и унижительно доказывать, что А. И. Солженицын рассудка не терял. Да ведь это не вы, а я должен писать о «знакомых методах». Сумасшедшими объявляли и Чаадаева, и Жореса Медведева (А. И. Солженицын выступил тогда в защиту последнего, если помните). И уж приписывать не себе, но другим «склонность к очернению и шельмованию» — валить с больной головы на здоровую — совсем не честно.

Поливая грязью А. И. Солженицына, не забывают и о В. Е. Максимове. О В. Е. Максимове, правда, еще не говорят, что у него «помутнение рассудка», — было бы уж слишком подозрительно, если б и у него «тоже», — но, оказывается, что «при внимательном взгляде на характер и стиль его деятельности на ум приходят образы Нечаева, Азефа, Кочетова...» И опять — что здесь возразить. Мало ли что кому может «прийти на ум». Мы ведь в Советском Союзе возмущались всегда, когда священников или диссидентов сажали на скамью подсудимых вместе со взяточниками и судили по общей уголовной статье. Почему же тогда дозволено сравнивать Максимова с профессиональным убийцей-революционером, платным агентом охраны — провокатором — и партийным черносотенцем? Заимствовав у большевиков ленинскую фразеологию, вы и спорить не можете иначе, как используя шаблонные партийные формулировки типа: «зловещие качества новых вождей», «люди крайнего типа», «очень недобрых и опасных у власти людей»... Непосвященный подумал бы, что речь идет не о двух русских писателях — В. Е. Максимове и А. И. Сол-

женицыне, но о партийных деятелях, уже стоящих у власти. От вас же еще слышишь и постоянные жалобы на то, что лишь «единицы» решаются «выступить с критикой того же Максимова, как и Солженицына. Но при этом и они боятся назвать вещи своими именами». Но никакими «именами» «вещи» вообще не называются. Почти всегда идет забор сплошной ругани, и только. Либо же вдруг всплывает ложное утверждение, будто Максимов и Солженицын «приобретают реальную власть (в эмиграции это пресса, фонды...)». Но А. И. Солженицын «своих» журналов вообще не выпускает. «Реальная же власть» В. Е. Максимова в «Континенте» не больше и не меньше той, которая есть у любого редактора журнала или газеты (у А. Синявского в «Синтаксисе» или у А. Седых в «Новом Русском Слове»).

И вот опять должное быть отнесенным на свой собственный счет почему-то перекидывается на оппонентов. Один из авторов пишет:

«У нас нетерпимость произрастает главным образом все из той же всесокрушающей завистливости и опустошенности... Это нетерпимость не к иным взглядам, а ко взглядам (любим) иных людей».

Я совершенно согласен. Один историк, например, постоянно подвергался нападкам за свои статьи только потому, что «партийная» наша пресса безошибочно отнесла его к «людям Солженицына» (он действительно любит и ценит Александра Исаевича). Мой знакомый не растерялся и начал публиковать свои научные работы под псевдонимом. С тех пор на него никто не нападает (так как авторство не раскрыто), и читающая публика с удовольствием знакомится с его интересными статьями, не подозревая, что их написал «человек Солженицына». Сам А. И. Солженицын, с какою бы статьей он ни выступил сейчас, немедленно подвергается критике, все равно за что. Если о «Свободе» — так все ложь. Если о Польше — так оказы-

вается, что и поляки, и покойный кардинал Вышинский, и даже Римский Папа желали не освобождения Польши от коммунистической диктатуры, но социалистических преобразований. (Автора этих перевертышей я убедительно прошу не постесняться и привести соответствующие цитаты, из которых неосведомленным читателям и мне, как одному из них, стало бы очевидным, что социализм — это именно тот строй, за который сегодня поляки кладут свои головы в борьбе с социалистическим правительством Польши.) Будто бы Валэнса — не глубоко верующий католик, а член ПОРП, будто бы тысячи не приходили на крестины дочери заточенного лидера Солидарности. Будто бы гордые поляки, скандирующие «гестапо!» избивающим их милиционерам и войскам безопасности, забыли о своем национальном достоинстве. Будто не коммунистическая диктатура, но католическая церковь стоит на пути к свободной Польше. Здесь примешиваются еще и смехотворные утверждения: дескать, «на самом деле», Ярузельский — не коммунистический диктатор типа Кастро, но польский националист, спасающий Польшу от советского вторжения. Я не слишком удивляюсь, когда подобными заявлениями балует себя Вилли Брандт — ему об этом сказал *сам* Ярузельский (тому как раз нужно было получать отсрочку по выплатам 26-миллиардного кредита. Тут кем угодно назовешься). Но ведь вам Ярузельский ничего не говорил? И во всех случаях — зачем же принимать тактический ход за чистую монету?

Когда А. И. Солженицын подверг критике работу американской радиостанции «Голос Америки», его также немедленно обругали в ответ. Но вот М. Михайлов согласился с тем, что «замечательно верна критика Солженицыным передач 'Голоса Америки'», причем «если бы Солженицын слушал передачи 'Голоса Америки' на Югославию, то он бы мог намного резче осудить бездарное использование 'самого могучего сред-

ства, которое находится в руках Соединенных Штатов для того, чтобы установить взаимопонимание и даже союз с угнетенными народами'». И конечно же, никому в голову не пришло критиковать М. Михайлова за «кампанию», начатую «по указанию или с одобрения Солженицына».

Но самый яркий пример был продемонстрирован совсем недавно. Четыре года назад в своей Гарвардской речи А. И. Солженицын напомнил американцам, что их государственные служащие и журналисты могли бы добровольно взять на себя и еще одно обязательство — не выдавать открытых им государственных секретов. И свобода слова ни в чем не пострадала бы от этого. Вы и в этом усмотрели ограничение абстрактного понятия «свобода». Но несколько месяцев назад американский президент Рональд Рейган сделал первую ступень к реализации сказанного А. И. Солженицыным: запретил правительственным служащим выбалтывать государственные секреты в интервью прессе. И лишь услышали мы в ответ: «Не запоздала ли акция? Почему же *раньше* не ввели запрещение?»

Кроме открытой критики всего, о чем А. И. Солженицын говорит или пишет, в спорах с ним вы используете и прием подтасовки.

Например, сначала дается интервью с «полной дамой из Одессы», проживающей в Нью-Йорке, а затем: «На Западе 'слишком много свободы' и на вкус скромной еврейки из Одессы, согласно инвективам русского патриота, всемирно прославленного творца 'Архипелага ГУЛага'». Предполагается, естественно, что читатели проведут прямую параллель: тупая «скромная еврейка из Одессы» начиталась Солженицына и теперь утверждает, что на Западе слишком много свободы. Я же предлагаю рассмотреть и другую альтернативу: «полная дама из Одессы» Солженицына вообще не читала. Здесь, конечно же, и слоновьей тонкости ирония: «всемирно прославленный творец», и попытка убедить читателя, что на А. И. Солженицына, мол, и внимания теперь уже никто не обращает, и вам, дескать, не стоит:

«Быстро растратив свою необыкновенную славу и авторитет, А. И. Солженицын успел стать на Западе одиозной фигурой. Его

периодические выступления давно перестали восприниматься как откровения и едва ли когда-нибудь вновь появятся на первых полосах газет...» (О, появятся еще, не волнуйтесь. Появятся, когда уже будет поздно.) И как всегда, конечно же, марксистско-ленинская терминология: «Навряд ли Лев Толстой был 'зеркалом русской революции'. Но что А. И. Солженицын — зеркало русской антидемократии, это очевидно... Давайте, господа анти-демократы, выложим наши карты на стол!»

Давайте. Но сначала — откажемся от вешания пустых ярлыков с яркими надписями. Из того, что я антикоммунист и с удовольствием бы вычеркнул компартии из числа легальных, — не следует, что я фашист или антидемократ. Многие же из вас ратуют за «буржуазную демократию» не потому, что они «буржуазные демократы». Ни в коем случае. Просто, будучи *социалистами*, они поняли, как легко можно использовать доверчивую и беззащитную демократическую систему в своих интересах. Как пишет один из вас: «при современной демократии можно прийти к социализму мирным путем». И любовь ваша к демократии — не любовь к ней самой, но к ее слабости, через которую вы вполне легально и мирно намерены протопать к очаровательному социализму или коммунизму с «человеческим лицом» (здесь уместно напомнить слова одного поэта: «Если ты коммунист, то и лицо у тебя соответствующее»). В том и заключается наш полярно противоположный подход к западному обществу: я хочу видеть демократию сильную и разумную, демократию, способную *активно*, а не пассивно противостоять своему главному врагу — коммунизму. Вы же смотрите на демократию как на своеобразный переходный период, за который активность левых при пассивности центра сумеет обработать населению мозги до такой степени, что оно добровольно сунет свои головы в петлю социализма. Вам главное, чтоб считалось, что «без кровопролития», мирным путем, а еще лучше — парламентским. Мне же, например, абсолютно все равно, придут ли итальянские коммунисты к

власти легально или нелегально. Главное, чтоб они к ней вообще не пришли. И волю большинства, голосующего за коммунистическое правительство по все равно каким причинам, я никогда не признаю для себя законной.

Я знаю, вы не согласитесь ни с единой строчкой моей, ни с одним из моих утверждений. Но не могу не повторить еще и еще раз: обращая внимание на слабые стороны демократии Запада, А. И. Солженицын лишь способствует ее оздоровлению, а не гибели.

«Еще не рухнувший Запад...» Эти горькие слова правды как нельзя лучше отображают трагизм сегодняшней ситуации. К тону и смыслу их я безоговорочно присоединяюсь. В чем упрекаете вы А. И. Солженицына здесь? Где видите «антизападную пропаганду в эмигрантской прессе»? Если, согласно недавно проведенному в Западной Европе опросу общественного мнения, *подавляющее большинство опрошенных предпочитает советскую оккупацию войне за независимость* — да! ЕЩЕ НЕ РУХНУВШИЙ ЗАПАД! Если могущественная держава — Соединенные Штаты — житница всего земного шара, индустриальная громада, способная снабдить своими товарами не только собственное население, но и многочисленных соседей, далеких и близких, если страна с наиболее развитой наукой и наибольшим числом Нобелевских лауреатов и государство, самое демократичное из всех, когда-либо существовавших, не в силах противостоять военной мощи международного разбойника — Советского Союза, население которого никогда не ело досыта и лишено не только элементарных человеческих прав, но и примитивных предметов широкого потребления, — да, ЕЩЕ НЕ РУХНУВШИЙ ЗАПАД в величайшем унижении уступает советскому шантажу, возведенному в рамки государственной политики.

Казалось, к этой точке зрения могли бы присоеди-

ниться многие критики А. И. Солженицына, а на деле с ней солидаризируется только М. Михайлов:

«Нельзя не согласиться с Солженицыным в том, что политика западных демократий в отношении тоталитаризма чаще всего вызывает один лишь пессимизм у вдумчивого наблюдателя».

Но, оказывается, «главная причина... ненависти» Солженицына и Максимова «к Западу проглядывает в особом возмущении против существующей якобы на Западе тотальной цензуры со стороны левых и либералов. То есть им (Солженицыну и Максимову. — Ю. Ф.) мало почестей и признания, оказываемых им на Западе, и возмущает критика». Здесь опять — подтасовка. Через неуместное «то есть» связывается вопрос о цензуре, «почестях» и «критике». И вот «антизападными» становятся и «Сага о носорогах», и Гарвардская речь А. И. Солженицына. Относительно последней один из авторов пишет:

«Описание западной демократии и свободы подменяется карикатурой, с детства знакомой по советским газетам. Что же скажут те в России, кто не верил этому газетному бреду? Скажут: «Наверное, правда, вот и Солженицын говорит...»

...Вся страсть его речей о Западе обращена к людям в России, и призыв в них один: не следуйте Западу, его демократии, его свободе, его разврату, не следуйте всему, что отвращает Ваши души от чего-то расплывчатого, но истинного, высокого, русского».

Между тем, в речи А. И. Солженицына не было карикатур, но Правда, пусть не всегда приятная для слуха американцев. Вы не согласны с тем, что толпы грабителей ослепшего Нью-Йорка — признак упадка нации? Что тринадцатилетние дети не способны осознать величайшее право свободы без того, чтобы не открыть порнографического журнала и не выкурить сигарету марихуаны? Неужели действительно не угрожает вас та убийственная пустота американского телевидения, когда на протяжении часа местных новостей вам сообщают о пожарах и насилиях и редко — о серьезных проблемах внутренней жизни США. Когда прог-

рамма международных событий будто специально обходит острейшие мировые вопросы в дни польского военного переворота!

Подобной критики вы не встретите на страницах советской прессы. И почему А. И. Солженицын должен думать не об Истине, но о том, что произнесенные им слова правды сыграют на руку советской пропагандистской машине или рассеют многочисленные иллюзорные представления советских граждан о западном обществе? В конце концов, и вы, критикующие, в свою очередь, А. И. Солженицына, не слишком думаете о том, что советское правительство может использовать в своих интересах и вашу критику, пусть даже против вашей собственной воли. К тому же, статьи А. И. Солженицына обращены в первую очередь к Западу, и лишь во вторую — ко всему мыслящему человечеству, в том числе и к гражданам СССР. Эти страстные речи, основанные на глубоком понимании психологии большевистских лидеров и Западных правительств, имели своей целью в который раз обратить внимание западной общественности, столь чуткой во многих других случаях, на ту давно надетую на шею Запада петлю, которую только осталось, что затянуть.

В каждом выступлении А. И. Солженицына на Западе, опубликованном на английском (и лишь затем на русском), в каждом его интервью западному телевидению вы видите не естественное желание писателя высказать Западу свое мнение об острейших мировых проблемах, но тайный пропагандистский маневр на Россию: «не берите с них пример». Разве вы думаете, что русскому писателю нужен посредник в общении со своим народом? Если, как вы утверждаете, основную угрозу России А. И. Солженицын видит во вредном влиянии Запада, что мешает ему открыто сказать об этом своим соотечественникам? Кажется, уже никто не считает, что А. И. Солженицын боится критики.

В разные периоды времени, в разных странах и разные лица называли его диссидентом, клеветником, отщепенцем, реакционером, предателем, монархистом, русским или обычным фашистом, антисемитом, националистом, шовинистом... Из всех терминов неиспользованным остался только один — коммунист. И вы хотите убедить читателей, что А. И. Солженицыну не хватает мужества, обратившись непосредственно к России, сказать о Западе правду? Не проще ли предположить, что сказанное Западу к Западу же и обращено?

Вы мечетесь от утопий «интернационального планетаризма» до упреков А. И. Солженицыну в том, что он не понимает «плюрализма западного сообщества государств». В годы, когда военное превосходство Советского Союза становится все более и более очевидным, вы вдруг призываете к отмене воинской повинности во всех странах. Это звучит очень гуманно и в унисон с беспечно-либеральным общественным мнением Запада. И автор предложения, вероятно, не подозревает, что, внешне привлекательный, проект об отмене воинской повинности в обязательном порядке потерпит такое же фиаско, как и пакт Келлога-Бриана, ибо в тоталитарных государствах «добровольная армия» будет все той же принудительной; в демократических же — эффектный патриотизм итальянцев не пойдет дальше футбольного матча. И нежелание американского народа защищать себя от все возрастающей внешней угрозы — коммунизма — нам преподносится как что-то совсем естественное и понятное, вытекающее из всей двухвековой истории США:

«В американском сознании глубоко укоренена идея изоляционизма. Хорошо это или плохо, опасно или нет, эту идею не разрушишь сразу, тут и десяти пророков не хватит. Разве не помним, что нужен был Пирл Харбор, чтобы убедить американский народ в необходимости вступления во Вторую мировую войну?»

Но ведь это аргумент в пользу А. И. Солженицына! В век ядерных ракет зачем доводить до того, чтобы Советский Союз, окружив США со всех сторон, разместив ракеты на Кубе, нейтрализовав американских союзников в Европе, подготовив плацдарм в Африке и Азии, устроил американцам второй «Пирл Харбор»? Не поздно ли будет тогда начинать подготавливать общественное мнение, формировать армию, вооружаться? Конечно, поздно. Ведь современные программы вооружений рассчитываются на 10-15 лет вперед. Ни за день, ни даже за год изменить фактически ничего нельзя.

История всегда оставляла нам время на обдумывание и принятие решений. Уже *по крайней мере* 65 лет бомбы, подложенные под все цивилизованное человечество, беспрепятственно откалывают куски **ЕЩЕ НЕ РУХНУВШЕГО ЗАПАДА**. Если бы в ноябре 1917 г. незадачливым американским политическим деятелям сообщили, что не пройдет и 45 лет, как Куба окажется во власти издыхающей от голода Советской России, они улыбнулись бы такому пророчеству, оставив его без ответа. Еще не взорвалась та бомба в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и Бонне. Но будьте уверены, она взорвется, если не будет вовремя обезврежена.

Все то же желание во всем быть против Солженицына часто приводит его оппонентов к грубым неточностям. Автор одной из статей пишет:

«Улыбка судьбы — именно ненавистные Солженицыну либеральные силы пытаются убедить американцев в запоздалости их изоляционизма, в необходимости большей политической активности в мире, в том числе и в необходимости пекся об обеспечении прав человека в других странах».

Я вот так и представляю себе заявление А. И. Солженицына: «Ненавистные мне либеральные силы...» Где и когда заявлял он подобное? И с каких это пор либералы выступают за большую американскую политическую активность в мировой политике?

Уж не сенатор ли Э. Кеннеди, нанесший своему народу удар в спину во время иранского кризиса и захвата заложников? И если по своим корыстным соображениям политика, рвущегося в президенты США, Кеннеди «печется» — автор выбрал очень удачное слово — об обеспечении прав человека в других странах, нельзя ли, хотя бы по тем же соображениям, побеспокоиться обо *всех угнетенных народах* коммунистических государств и об обороноспособности своей собственной страны?

Почему-то считается, что интерес к правам человека — совершенно новое явление, что «классический принцип государственного суверенитета» требовал «полного безразличия к внутренним делам международных партнеров». Здесь опять же и желание быть против А. И. Солженицына, не уделяющего борьбе за права отдельной личности первостепенного значения. Но, с другой стороны, вопрос этот не риторичен, а важен принципиально. Если интерес к правам человека и все то, что мы называем «правозащитным движением», — явление второй половины двадцатого столетия, если некоторая либерализация советского режима после смерти Сталина — заслуга наших диссидентов, — то тогда имеет под собой опору и ваша теория, согласно которой Россия придет к своей свободе (а мир к «планетаризации», демократическому бесклассовому интернационализму) через правозащитное движение, через борьбу за права каждой отдельной личности. И вот при внимательном взгляде на историю выясняется, что интерес к правам человека был присущ и XIX-му, и 1-й половине XX века. Размеры этого письма не позволяют мне сделать детальный экскурс в прошлое, но я напому примеры слишком знакомые, чтобы их отклонить: протесты против геноцида армян, еврейских погромов, дел Бейлиса и Дрейфуса и массовых расстрелов рабочих, например, на Ленских приисках. Я хочу указать, что симпатии

Запада к восставшим в 1830 и 1863 годах полякам во многом сходны с сегодняшним сочувствием к ним; что протесты против вынесения смертных приговоров Сакко и Ванцетти и супругам Розенберг (1953), конечно, заглушили бы возмущение ссылкой А. Д. Сахарова, арестом А. Щаранского, фактическим убийством Ю. Галанскова и казнью О. В. Пеньковского. Или, может быть, выдача Розенбергами американских секретов Советскому Союзу чем-то отличалась от передачи Пеньковским советских секретов США? Лозунг же «Не вмешивайтесь в наши внутренние дела», детище советского правительства и XX века, для того и был введен Союзом, чтобы на «законном» основании творить беззаконие в собственной стране, над собственным народом.

Я отнюдь не намерен отрицать определенные заслуги движения за права человека в СССР. Международное движение, безусловно, окрепло, когда услышало голоса протеста, доносившиеся и из самой России. Но это, конечно же, не значит, что послесталинским ходом своего развития Россия обязана правозащитному движению и диссидентам. Как раз наоборот. В действительно безнадежные для советских людей годы — до 1956 — правозащитного движения фактически не существовало. Оно явилось следствием ряда внешних толчков, таких, как восстания в Венгрии в 1956 и в Чехословакии в 1968 годах, образование Израиля с последовавшими арабо-израильскими войнами, приведшими к росту сионизма в СССР (я прошу не ловить меня на слове: «сионизм» — термин ругательный только в советской прессе); и явлений внутренних, важнейшими из которых можно назвать XX и XXII съезды партии и «разоблачение культа личности» Хрущёвым; возрождение, пусть частичное, русской литературы, появление, например, банального по сегодняшним понятиям романа Дудинцева; публикация «Доктора Живаго» за границей (и автора оставили на сво-

боде! — для СССР тех лет — невероятно); выход в свет «Одного дня Ивана Денисовича»; дело Синявского и Даниэля; самиздат, окрепший с романами А. И. Солженицына; и лишь затем — движение за права человека под лозунгом «Уважайте вашу Конституцию!».

Правозащитное движение было одним из второстепенных следствий целого ряда сложнейших и важных для России явлений. Вы же, проектируя борьбу за права человека на первый план, как бы утверждаете, что именно с нее и началось возрождение России после смерти Сталина. Нет, не с нее! И обвинения А. И. Солженицыну, что он «резко выступает против идеи права и прав человека в том ее виде, как она сформулирована цивилизацией», — намеренное передергивание. Просто в стране, где у народа не выработано чувство правосознания, борьба за права личности не может считаться первостепенной задачей.

Вы упрекаете А. И. Солженицына и за высказанное им в сборнике «Из-под глыб» скептическое отношение к «идее прав человека». Не к идее — в сборнике «Из-под глыб» об этом и нет ничего, — но к самому движению, его силе и перспективам развития; а это совсем другое. Вы обвиняете А. И. Солженицына, но не даете ни единой фразы в подтверждение ваших доводов. В лучшем случае — ссылаетесь на безымянных «последователей», да и из их статей часто приводите без ссылок на источник лишь одну неполную фразу:

«Вот пример: 'мысль о примате личных прав при туманном представлении внутренних обязанностей' названа 'антиобщественной установкой'. Знакомая формула!»

И вы допускаете, что я приму это безымянное, вырванное из контекста и потому ничего не значащее высказывание как веское доказательство в вашем споре с А. И. Солженицыным? И разве вяжется это со сказанным тем же автором:

«Хотя на права человека у Солженицына взгляд особый, но и он, и многие в России и эмиграции недовольны пассивностью американского интереса к нарушению прав в СССР».

Критикуют А. И. Солженицына и за «карикатурное изображение» американской прессы: «...пресса — главный враг рода человеческого, предтеча антихриста...» И опять передергивание: А. И. Солженицын никогда не говорил ничего похожего. В который раз вы заставляете читателей догадываться о степени приближенности вашей гиперболы к оригиналу. Между тем, А. И. Солженицын не отрицал, что западная пресса охраняет свободу своего общества. Но разве не согласитесь вы, что она могла бы охранять ее еще лучше? На страницах американских газет, в целом дающих информацию, вы запутаетесь в лесе колонок с репортажами из здания суда над врачом-насильником; вы затеряете нужную бы вам статью в десятках страниц реклам духов, кастрюль, холодильников и нижнего белья. И вы считаете, что американские редакторы газет печатают расплывающихся в своей шаблонной улыбке девушек, рекламирующих колготки, только для того, чтобы привлекательностью их стройных фигур охранить свободу общества? Или вы всерьез верите, что редактор А. Седых перепечатывает дешёвые сенсационные сообщения из уважения к свободе печати, а не потому, что многие из его читателей, выписывающих «Новое Русское Слово», так же автоматически, как и «Известия» в СССР, недалеко ушли от древних римлян, требовавших хлеба и зрелищ? И не в расчете ли на низменные чувства американцев значительное число газет коронует свои первые страницы лошадиными буквами заголовков типа «Шестое замужество Элизабет Тейлор!» За день мировой активности неужели не случилось ничего более существенного?

Формально прав один из авторов, утверждающих, что, мол, никто не заставляет А. И. Солженицына

читать желтую прессу, когда есть и серьезные журналы. Дело, разумеется, не в А. И. Солженицыне — он желтой прессы не читает. Но человеческий мозг за сутки впитывает лишь ограниченное количество информации. Вы стоите в «универсаме» в очереди, не долго, минут пять-семь. Прямо перед вами, почти рядом с кассой, стенды с газетками и журналами. И, как по заговору, на вас смотрит именно желтая пресса, ничего больше. И не каждый американец, да и западноевропейец, вероятно, обладает достаточным самосознанием, чтобы остановить свой выбор на серьезной политической, скажем, а не развлекательной или детективной газетной статье. Если на девять серьезных журналов приходится один легкомысленный или порнографический — все не так плохо. При такой раскладке больше шансов, что и средний американец схватится не за заставленную в угол киоска порнографию, а за «Таймс» или «Ньюсуик», а то и за «Нэйшнел Ревью». Но раскладка получается совсем другой. На десять легких журналов — один серьезный. И куда меньше шансов, что именно его выберет уставший после рабочего дня читатель, возвращающийся в свой уютный домик.

Из общего хора статей, критикующих Гарвардскую речь А. И. Солженицына, не многим выделяется и это высказывание одного из авторов, с которым я вынужден не согласиться:

«'Вестник русского христианского движения' № 128 поместил обзор откликов на Гарвардскую речь Солженицына. Сказано: «Речь всколыхнула всю страну...» Ну, «всколыхнула» — это дань растущему культу личности Солженицына, но, правда, речь поразила многих. И поразила потому, что американцы поспешили провозгласить Солженицына символом *борьбы за свободу*. Теперь же видно, что он годится лишь в символы *борьбы за свободу от коммунизма*, но никак не за свободу вообще» (выделено автором. — Ю. Ф.).

У читателей и слушателей могут быть различные мнения по одному и тому же вопросу. Лично мне ка-

жется, что такая речь могла всколыхнуть Америку. Оговорюсь — не всю, лишь мыслящую часть ее народа. И если автор статьи в «Вестнике...», применив стандартный журналистский прием, приписал всем американцам свое собственное ощущение, нужно ли видеть в этом «дань растущему культу личности Солженицына». Разве резанула бы ваш слух фраза: «Высылка Сахарова в Горький взволновала всю мировую общественность!»? Думаю — нет.

А. И. Солженицын действительно не борется «за свободу вообще» (а что такое свобода вообще?). А. И. Солженицын делится опытом коммунизма. Только в сегодняшнем мире, где коммунизм является врагом номер один, *борьба за свободу от коммунизма и есть борьба за свободу*. Впрочем, это опять вопрос позиции. Многие из вас, например, открыто заявляют, что «видят в возможности возрождения идеологии русского национализма много большую опасность, чем в существующей марксистско-ленинской идеологии». Но как же можно *возродить* то, что никогда не существовало? *Идеологии* национализма не было ни у кого из русских. Зачем же подменять национальное самосознание национальной идеологией? Это совершенно разные вещи!

Ваше нежелание признать правоту А. И. Солженицына хоть в чем-то оказывается настолько сильным, что даже стремление А. И. Солженицына «показать ядовитость марксизма», всегда ведущего к концентрационным лагерям, встречает ваш контраргумент: «одна ссылка на практику нынешнего коммунизма не может опровергнуть теории Маркса». Помилуйте! Перечитайте эту фразу! Вы не оговорились? А что же вообще может опровергнуть теорию, если не практика? Но позвольте, ведь дело даже не в том, что *хорошая* теория была *испорчена* практикой! Экономическая теория Маркса опровергнута уже и теоретически, и практически, в то время как его политичес-

кие теории коммунизма подразумевали именно то, что на практике построили Ленин, Троцкий, Сталин, Мао Цзе-дун и Тито:

«Существует лишь одно средство сократить, упростить и сконцентрировать кровавую агонию старого общества и кровавые муки родов нового общества, только одно средство — революционный терроризм» (Маркс, Энгельс, Сочинения, 2-е изд., т. 5, стр. 494).

«Мы беспощадны и не просим никакой пощады у вас. Когда придет наш черед, мы не будем прикрывать террор лицемерными фразами» (там же, т. 6, стр. 548).

«Народная месть прорвется с такой яростью, о которой в 1793 год не может нам дать никакого представления» (там же, т. 2, стр. 515).

Вам не пришло бы в голову, что и это высказывание принадлежит не коммунистам-практикам типа Ленина, Троцкого или Мао, но тихим теоретикам — Марксу и Энгельсу:

«В одно прекрасное утро наша партия благодаря беспомощности и вялости всех остальных партий вынуждена будет стать у власти... Мы будем вынуждены проводить коммунистические опыты и делать скачки, о которых мы сами отлично знаем, что они несвоевременны... Прежде чем мир будет способен дать историческую оценку подобным событиям, нас станут считать чудовищами, на что нам, конечно, наплевать» (там же, т. 25, стр. 187).

Неужели после того, как концентрационные лагеря растеклись не только по просторам СССР, но и *всех без исключения* коммунистических стран, правомерно поднимать детский вопрос о теории и практике коммунизма? В школе и институтах в Советском Союзе все мы «изучали» работу Ленина «Три источника и три составные части марксизма» и навсегда запомнили, что марксизм — продукт исключительно западный и в фундаменте его лежит английская политэкономия, немецкая философия и французский социализм. Но когда эту известную каждому из нас прописную истину повторяет А. И. Солженицын, стремящийся доказать американским специалистам по СССР, что истоки

советского коммунизма следует искать в марксизме, а не в Российских Уложениях о Наказаниях 1845 года, на него обрушивают потоки несправедливой критики и обвиняют в «антизападной пропаганде».

Подвергается критике и взгляд А. И. Солженицына на февральскую революцию, изложенный им в одном из интервью Би-Би-Си. А. И. Солженицын, в частности, говорил:

«Либерально-социалистические тогдашние правители промотали Россию в полгода, до полного упадка... Так что не только не было никакой Октябрьской революции — но даже не было и настоящего переворота. Февраль упал сам... Я понял, что несчастный опыт февраля, вот его осознание — это и есть самое нужное сейчас нашему народу».

Если б вы подтвердили или опровергли мнение А. И. Солженицына, мы могли бы продолжить серьезный разговор на эту тему. Но по существу проблемы никто из вас не сказал ни слова. Вместо этого автор одной из статей утопает в диких натяжках:

«Вот они, лозунги: все беды от Республики, от демократии; не стремитесь к ним, не поддавайтесь на обман отравленных Западом либералов. А кто либералы? — те, кто говорит о праве и о правах!»

И это всё, что вы усмотрели в попытке писателя осознать опыт февральской революции? Мне всегда казалось, что *так* цитаты «разбирают» только в советской прессе. Сопоставив цитату из интервью и анализ ее, мы без труда заметим, что А. И. Солженицын ни слова не говорит о правах, к которым вы постоянно сводите свои размышления, или об «отравляющем» Западе. В русской исторической науке сформулированный А. И. Солженицыным вопрос является одним из сложнейших. То, что не было октябрьской *революции*, но лишь государственный переворот — свержение большевиками социалистического правительства и установление партийной диктатуры, — в этом сегодня никто не сомневается. Большевики это очень хорошо понимали уже в 1920-е годы. Отсюда и создание ле-

генд о несуществующем выстреле «Авроры» и «штурме» Зимнего дворца, во время которого в действительности погибло лишь шесть человек. И, если не осталось ни одной преданной части, решившей защищать свое социалистическое правительство, разве не означает это, что «февраль упал сам»? А если упал сам и так быстро, то не потому ли, что страна в целом не была готова к демократии западного типа? Как пишет один из вас, «у подавляющего большинства народа нет представления о том, возможна ли другая власть, кроме той, которую они видят». Это — о сегодняшнем Советском Союзе. Так неужели думаете, что крестьянская неграмотная Россия 1917 г. приняла бы демократию легче, чем современная? Ни российские народы, ни *политические партии* не были готовы к выборам в Учредительное собрание, к демократическому строю и к участию в управлении страной. Хрестоматийное заявление Ленина: «есть такая партия» — служит этому доказательством куда более серьезным, чем любые мои аргументы: за исключением большевиков, *все политические партии России считали себя неподготовленными к взятию власти в свои руки*. Ленин пошел именно тем путем, о котором писал Маркс: «В одно прекрасное утро наша партия благодаря беспомощности и вялости всех остальных партий вынуждена будет встать у власти...»

Вы не будете, конечно, отрицать, что классическими образцами западной демократии являются Англия и Франция. Но ведь почему-то, оставляя *за собой* право иметь демократические правительства, эти страны крайне медленно освобождали из-под своей отнюдь не демократической опеки колониальные народы. Французы и англичане отчетливо понимали, что ни Индокитай, ни Африка не готовы нести на себе то бремя демократии, которое европейцы привезли туда в трюмах своих кораблей. И никто из нас никогда не смел обвинить Францию и Англию в ненависти к де-

мократии, либерализму и «правам человека». Мы как бы знали, что зерна демократии не приживутся самостоятельно на целинных землях. Когда же, будто специально подтверждая нашу теорию, демократии бросали своих подопечных, вчера еще требовавшие свободы колониальные народы гибли в гражданских войнах, междоусобицах, геноцидах и правительственных переворотах. Будем ли мы отрицать, что и несчастье иранского народа сходно с трагедией русского? Посчитав режим шаха *наихудшим*, они свергли его *сначала*, чтобы *потом* установить *лучший* режим. Этот чужой пример покажется вам простым и убедительным. Вы не упрекнете меня ни в ненависти к демократии, ни в преклонении перед шахом. Почему же трагедию российских народов видите вы не столь отчетливо? Ведь когда А. И. Солженицын говорит: «Нельзя всю философию, всю деятельность сводить: дайте нам права! То есть — отпустите защемленную руку! Ну, отпустят, или вырвем. — А дальше?» — вы не согласны. А это — и об Иране, и об Африке, и об Индокитае, и о России, конечно.

Изучавшие историю своей страны по советским партийным учебникам (других ведь не было), мы настолько впитали в себя официальную версию о революции, что искренне не можем поверить предположению, будто не «народные массы», но «организация революционеров», с помощью которой Ленин еще задолго до революции клялся «перевернуть Россию», совершила государственный переворот в октябре 1917 года. Все то же незнание советской истории толкает вас и к другим неправильным, на мой взгляд, выводам. Один из авторов пишет:

«Интересно, что многие авторы несбывшихся пророчеств о скором крахе коммунизма вряд ли согласятся признать свою ошибку, ссылаясь на то, что Запад-де неправильно действовал, а то бы пророчество сбылось. Ну, тут не о чем спорить. Пожалуй, хорошо, что Запад, как правило, не основывается на рекомендациях столь мало информированных пророков».

Но в первые 25 лет советской власти именно от Запада несколько раз зависело существование республики Советов:

— в декабре 1917 — мае 1918 гг., когда немцы движением нескольких своих дивизий могли смести большевистское правительство, но уж слишком были заинтересованы в пораженческой партии Ленина и оставили ее у власти;

— в ноябре 1918 г., когда союзнические правительства США, Англии и Франции не только повергли Германскую империю, вернув Ленину треть отданной по Брест-Литовскому мирному договору России, но и не поставили перед германским правительством ультиматума о свержении большевиков;

— в 1921 г., когда невиданный голод, спровоцированный большевиками, грозил всеобщим восстанием, но добродушные страны Запада, во главе с американской АРА, помогали, как могли;

— в 1941-43 гг., когда Черчилль не только громко заявил, что считает Сталина своим союзником в войне против Германии, но и, вместе с Рузвельтом, оказал СССР существенную военную и экономическую помощь, простив коммунистическому правительству и годы подрывной деятельности против демократических стран Запада, и советско-нацистский договор 1939 года, и Четвертый раздел Польши, и оккупацию Прибалтики.

Вы пугаете читателей «политизацией патриотизма», «духовным изоляционизмом», от имени анонимной «эмигрантской публицистики» еще и лозунгом «демократия не для русских». Вы прекрасно знаете, что у советских эмигрантов можно найти любые высказывания. Но это не значит, что следует смешивать их в общем котле — ложкой дегтя бочку меда портить не стоит. Вы же запутываете читателя настолько, что он уже... (Пропуск в рукописи. — Ред.)

со свободы (в том ее узком значении, под которым в СССР «свободой» именуется нахождение вне лагерных и тюремных стен). С другой стороны, Испания никогда не представляла собой закрытого государства. Если и допустить, что испанские средства массовой информации ничего, кроме пропаганды, не содержали, трудно проигнорировать тот факт, что Испания оставалась открытой и для иностранных корреспондентов, и для многочисленных туристов (Испания, во многом, этим и живет), и для эмиграции. Таким образом, мы знали об Испании куда больше, чем средний немец, англичанин или испанец об СССР 1930-х годов. Да неужели вы не согласитесь со мной, что и вас, и меня сегодня не обманет никакая тонкая ложь ни об одной стране мира, опубликованная в советской газете. Интуицией, не всегда поддающейся логике и объяснению, мы делали самые правильные выводы и о вьетнамской войне, и о положении на Ближнем Востоке, а уж тем более — об Испании, лишь на основании скупых и лживых сообщений газеты «Правда». Признав столь выдающийся дар *понимания* за собой, неужели не оставим его и за А. И. Солженицыным?

Я не буду уверять вас, что испанская диктатура для *испанцев* являлась легкой. Не зная нашего опыта жизни в тоталитарном государстве, не познав, к своему счастью, ни советской, ни германской оккупации, как могли они предположить, что бывает диктатура худшая, чем их собственная? Но в том и заключалось гражданское мужество А. И. Солженицына, что он осмелился прямо, пренебрегая вероятной несправедливой критикой, вывести испанский народ за пределы местного, ограниченного географией Пиренейского полуострова опыта. Да, франкистская Испания прославилась на всю Западную демократическую Европу цензурой и судами. Только по сравнению с нашей цензурой и нашими судами они кажутся пародией на дик-

татуру. Вот об этом А. И. Солженицын и рассказал испанцам.

Вы перескальзываете на Власова, которого, дескать, «эмигрантские круги» «славят за переход на сторону Германии и вооруженные действия против своего народа». Но при чем же здесь А. И. Солженицын? Не он же «славит»!

Вы заканчиваете свои статьи описанием Сталинско-Брежневского *национального* государства, в котором страдают «не только евреи». Действительно, не только евреи, а все народы и народности Советского Союза. Но государство это — не национальное, а русские в нем страдают — не меньше других. Ведь у каждого малого и большого народа СССР есть хоть какая-то психологическая или духовная отдушина: у евреев — Израиль и теоретическая возможность выезда; у армян — своя церковь, относительно незамученная; у прибалтов — понимание, что их завоевали, — они ясно видят своего *врага*; у грузин — богатство своей республики, в сравнении с голодной Россией — экономическое процветание их земли. У русских отдушины этой нет.

«За русскими не предполагается любить свой народ, не ненавидя других... Русским запрещено заикаться не только о национальном возрождении, но и «национальном самосознании», даже оно объявляется опасной гидрой» (А. И. Солженицын).

Я хотел бы закончить свое письмо несколькими выдержками из статьи А. И. Солженицына «Иметь мужество видеть»:

«Уровень политической полемики заставляет выслушивать весьма плоские, а притом дружные обвинения — например, что я идеализирую прошлое России, не знаю историю собственной страны, а уж тем более не понимаю Америку и всё современное человечество, ибо мало разговариваю на бензоколонках. Я предупреждал против злостных искажений русской истории, — мне приписали это как исчерпывающую систему взглядов... Я не «читаю нотации», я передаю коммунистический опыт. Мне-то лично проще всего замолчать и предоставить заботу о будущем Америки исключительно еди-

номышленникам мистера Тривса. Когда они испытают всё на себе, — у нас будет полное понимание. Но боязнь критики и свежих мыслей — роковая черта обреченных систем... Я мог бы и не спешить со всеми этими аргументами. Уже становится ясно, что ни одна моя статья, ни десять моих статей, ни десятеро таких, как я, — непосильны перенести Западу наш кровавый выстраданный опыт и даже нарушить этот эйфорический комфорт, который царит в американской политической науке. Я мог бы не спешить, потому что уже на пороге те события, которые сами бесповоротно откроют Западу его просчеты».

К выводам этим я присоединяюсь полностью.

Февраль, май 1982 г.
Бостон, США

ФЕЛЬШТИНСКИЙ Юрий — родился в Москве в 1956 г. Там же окончил школу и три курса исторического факультета МГПИ им. Ленина. В январе 1978 г. эмигрировал из СССР. В настоящее время аспирант исторического отделения Брандайского университета (Бостон). Автор ряда статей и книги «Убийство Мирбаха», Нью-Йорк, 1982.

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Свыше 1500 титулов на складе.
Требуйте каталоги

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

Василь Гришко

К ПРОБЛЕМАМ РУССКО-УКРАИНСКОГО ДИАЛОГА

Прежде всего следует сказать, что вопрос русско-украинских взаимоотношений слишком серьезен, чтобы диалог по этому вопросу сводить к одним взаимным комплиментам, заверениям во взаимной любви, призывам к дружбе, а тем более — к «единству». Ведь речь идет о поисках общей базы для политического взаимопонимания и возможного сотрудничества в деле борьбы за жизненно необходимые для наших народов существенные изменения в Советском Союзе. Но действительное русско-украинское взаимопонимание, а тем более сотрудничество, возможны только при условии совершенной искренности с обеих сторон в выяснении всей сущности довольно-таки тяжелой для разрешения проблематики русско-украинских взаимоотношений.

К сожалению, до сих пор во всех попытках серьезного русско-украинского диалога преобладающей тенденцией с русской стороны было следующее: мол, давайте будем говорить о том, что нас объединяет, не затрагивая того, что нас разъединяет, ибо только таким образом сможем о чем-нибудь общем договориться. В частности, так пишет и Солженицын в своем известном открытом письме, главная мысль которого заключается в том, что в украинско-русском диалоге следует прежде всего иметь в виду «не опыт раздора, а опыт единства». Но ведь в том-то и дело, что главные трудности той проблематики, которая требует

своего решения на пути к какой-либо русско-украинской договоренности, заключаются именно в тех явлениях и фактах украинско-русских взаимоотношений, которые нас разъединяют, а не объединяют.

И здесь мы сразу же приходим к тому главному вопросу, в котором между национально-политическими кругами русских и украинцев вообще, а в эмиграции в частности, до сих пор не было, нет в настоящее время и не так уж легко будет возможно достичь даже настоящего взаимопонимания, не говоря уж о действительной договоренности в деле политического сотрудничества. Имею в виду первый и основополагающий для национально мыслящих украинцев вопрос в каком-либо политическом диалоге с русскими, а именно: вопрос о государственно-политическом характере украинской национальной проблемы в СССР — как проблемы взаимоотношений Украины и России в их современном положении двух наций, имеющих формально одинаковый государственный статус так называемых «равноправных союзных» республик разнонационального Союза ССР, а не проблемы взаимоотношений просто людей двух этно-национальных частей какого-то единого державного целого, которое русские и иностранцы вне СССР привыкли называть «Россией».

Собственно — старое имперское представление о России как об этнически разнородном, но едином державном целом под эгидой всеобъемлюще-великой русской (или даже «российской») нации, став характерной особенностью национально-политического сознания (и даже подсознания) большинства русских, оказалось тем источником взаимного непонимания, которое до сих пор делало невозможным какой-либо русско-украинский диалог в эмиграции. Первым препятствием к такому диалогу была, в частности, та вопиющая двойственность, которая с русской стороны проявляется каждый раз, как только дело доходит до

обсуждения вечно «дискуссионного» в русской эмигрантской прессе вопроса русско-украинских национально-политических взаимоотношений на фоне национально-политической ситуации в СССР вообще.

Как правило, представители русской стороны в горячей полемике, в которую обычно превращается «дискуссия» вокруг того, что русские называют «украинским вопросом», категорически отрицают русский характер национального угнетения народов национальных республик СССР, особенно же украинского народа, — даже и тогда, когда речь идет о таких формах национального угнетения, как языково-культурная русификация и демографическая, так сказать, «россиянизация». Мол, все это — «советизация», потому что Советский Союз — это не Россия, а то, что «советское» — не русское. Но в то же самое время, когда речь идет о национальных движениях подсоветских так называемых «националов», особенно же украинцев, имеющих своей целью государственную самостоятельность формально «союзных» национальных республик СССР, то тогда эти же самые представители русских поднимают крик по поводу так называемого «сепаратизма» этих, мол, «расчленителей России». И вдруг забывают, что СССР — это действительно-таки не Россия, а также — не все «советское» то же самое, что «русское», следовательно — стремление к осуществлению государственной самостоятельности союзных национальных республик, в частности же Украины, может означать только, так сказать, «разсоюзывание» разнонационального Советского Союза, а не какое-то «расчленение России». Ведь Россией-то в СССР является только одна (правда — самая большая и также многонациональная, а потому внутренне федеративная) союзная республика — РСФСР, обычно называемая «Российской Федерацией».

Кстати, такая двойственность русского понимания России и СССР в их отношении одного к другому

очень ярко проявилась и в новейшей так называемой «дискуссии» в русской эмигрантской прессе, возникшей в связи с украинской реакцией на упомянутое уже открытое письмо Солженицына с его девизом — «иметь в виду не опыт раздора, а опыт единства». Как и всегда до сих пор, снова с русской стороны слышен однообразно повторяющийся крик на том же самом старом русско-эмигрантском национально-политическом языке с такими его терминологическими анахронизмами, как «сепаратизм», «расчленительство», «угроза целостности России» и т. п. И все это, конечно, никак не способствует серьезному русско-украинскому диалогу.

Однако появление новейшей, более демократической русской эмиграции из СССР все же внесло несколько иное, хотя и не совсем новое, звучание в русский национально-политический язык в последних по времени попытках русско-украинского диалога. В отличие от своих предшественников в этом деле, представители новейшей волны русской эмиграции выражают готовность говорить и даже договариваться с украинцами на основе признания права украинского народа на государственное отделение порядком осуществления своего национального самоопределения. Правда, большинство представителей этой части русской эмиграции считает вопрос реализации этого права все-таки «спорным» и потому его решение считают возможным только путем общего с русской стороной демократического референдума (или по иной терминологии — плебисцита). И только среди меньшинства этой части русской эмиграции есть и такая группа русских, которые эту же самую формулу «права на самоопределение» уточняют до логического вывода из нее о «праве Украины на государственную самостоятельность», хотя при этом не уточняют и вообще обходят молчанием вопрос о пути реализации украинцами этого права.

Конечно, такая позиция этой группы не осталась без внимания с украинской стороны, и это сдвинуло

с мертвой точки дело русско-украинского диалога, который с таких исходных позиций смог наконец начаться. Его началом можно считать публикацию в 1977 г. в журнале «Континент» известного «Заявления по украинскому вопросу» представителей русских и других восточноевропейских кругов, связанных с этим журналом. Вызванная этим заявлением позитивно-критическая реакция демократических кругов украинской политической эмиграции и последовавшая за сим конструктивная двусторонняя дискуссия оказались довольно плодотворными. И в результате ряда встреч и переговоров удалось наконец сформулировать опубликованное летом 1980 г. так называемое «вашингтонское» совместное «Русско-украинское заявление», которое подписали представители двух — русской и украинской — групп политических эмиграций: русской среды журнала «Континент» и Украинского Демократического Движения.

Это Заявление — продукт взаимного компромисса и, как таковое, оно представляет собою временный, «рабочий» документ, которым провозглашены только те главные общие принципы, которые являются исходной базой для соглашения о взаимном сотрудничестве в деле борьбы за необходимые обоим народам существенные изменения в СССР. И первым из пяти таких принципов в Заявлении является взаимное «признание полного и безоговорочного права украинского и русского народов на государственную независимость». Причем обычного русского требования референдума (плебисцита) как условия для осуществления государственной независимости Украины — в Заявлении нет.

Этим Заявлением завершен первый, начальный (и в основном — подготовительный) этап серьезного русско-украинского диалога, который следует считать только вступлением к настоящему взаимному соглашению по вопросам, являющимся решающими для ха-

рактера русско-украинских национально-политических взаимоотношений теперь и в ближайшем будущем. Что же касается этих решающих вопросов, то они все же, даже и после вашингтонского «Русско-украинского заявления», покамест продолжают оставаться не до конца выясненными.

Здесь я, конечно, имею в виду прежде всего довольно абстрактную постановку вопроса об украинской государственной независимости только в плоскости русского «признания *права*» украинцев на это и на борьбу за это — без какой-либо постановки вопроса о пути конкретной реализации этого права. Избегание этого вопроса в Заявлении несомненно уменьшает реально-политическое значение этого документа, хотя в сравнении с предыдущим, просто отрицательным русским отношением к украинской борьбе за государственную независимость этот документ безусловно является громадным положительным шагом вперед в развитии русско-украинских взаимоотношений в эмиграции. Но главным критерием в вопросе о том, какую реально-политическую ценность имеет или не имеет этот документ, очевидно, является то, в каком отношении находится его содержание к конкретной реальности национально-политической жизни украинского и русского народов в СССР — на фоне их национально-политического отношения друг к другу в тех формах, в которых они как нации живут в государственно-политической системе СССР.

Как известно, Украина в форме Украинской ССР формально-юридически имеет в Союзе ССР не только «право» на государственную независимость, но, даже официально, по советской интерпретации ее конституционного статуса, считается «суверенным государством», которое в отношении к России, то есть к Российской СФСР, является «независимым». Раскройте специально посвященный слову «Украинская ССР» 17-й том Украинской Советской Энциклопедии изд.

1965 г., и вы увидите, что там первое же предложение, которым начинается глава под заглавием «Общественный и государственный строй», звучит буквально так: «Украинская ССР — это *суверенное национальное общенародное социалистическое государство*» (с. 174, подчеркнуто мной. — В. Г.). Не будем сейчас говорить здесь о том несоответствии формального и фактического положения вещей в СССР, которое является для всех нас общеизвестным фактом. Но в данном случае для нас достаточно самой формальной стороны дела, потому что эта сторона все же имеет под собой тоже некоторую подкладку историко-политических фактов, в свете которых она выглядит не просто пустой формальностью без всякого значения.

Дело в том, что Украина стала Украинской ССР не в результате какого-то «дарования» украинцам русскими большевиками «права на самоопределение вплоть до отделения», как это представляет фальшивая советская история. Украинская ССР возникла в результате вынужденного национально-политического компромисса с украинцами большевистской власти Советской России в процессе ее перманентных трудностей в затяжной трехлетней войне с демократической Украинской Народной Республикой (УНР), в форме которой украинцы государственно самоопределились в 1917 году, реализуя свое естественное право на полноценную национально-государственную жизнь. И только могущественная стихийная сила возрожденной в революции украинской нации заставила большевиков придать своей войне против самостоятельного украинского государства вид будто бы гражданской войны между двумя формами украинской государственности — Украинской Народной и Украинской Советской республиками. Причем войну против УНР Советская Россия начала тогда, когда государственная независимость Украины от России была признана русским большевистским правительством, именем

которого Ленин даже свой известный ультиматум Центральной Раде УНР, являющийся актом официального провозглашения войны, начинал буквально такими словами: «Совет Народных Комиссаров [Советской России] признаёт Украинскую Народную Республику и ее право на отделение от России... Все, что касается национальных прав и национальной независимости украинского народа, мы, Совет Народных Комиссаров, признаем немедленно, без ограничений и безусловно» (В. И. Ленин. Статьи и речи об Украине. Партиздат, 1936, сс. 277-278).

В течение трехлетней российско-украинской войны большевики три раза приходили из России на Украину и отходили назад, и каждый раз, приходя снова, они все больше и больше вынуждены были идти на национально-политические уступки украинцам и поэтому все больше «украинизировать» свое первоначально фиктивное «украинское» правительство и сам характер созданной ими в Харькове Украинской ССР. В конце концов, в критической международной и внутренней ситуации УНР, в левосоциалистических кругах, действовавших в демократической системе УНР, образовалось течение украинских национал-коммунистов, которые пошли на компромисс с русскими большевиками, добившись от них согласия на частично национал-коммунистическую концепцию Украинской Советской республики как формально «самостоятельного украинского государства» в военно-политическом союзе с Советской Россией (РСФСР). Как такое государство, Украинская ССР только в конце 1922 г. приступила вместе с Российской и другими отдельными национальными советскими республиками к составлению *союзного договора* о создании Союза ССР, который конституционно был оформлен только в 1924 г. И при этом, под давлением украинских, белорусских, кавказских и других национал-коммунистов, как свидетельство добровольно-договорного характера Союза ССР

и как главный атрибут ограниченного, но не потерянного суверенитета союзных национальных республик, в союзную конституцию и в конституции союзных республик вставлены специальные пункты о том, что каждая из этих республик имеет право на выход из Союза. И это право остается неизменной частью основного закона Союза и сейчас, уже в третьей версии союзной и республиканской конституций, именно как формальный залог будто бы «реального» суверенитета союзных республик. Это право принадлежит Украине, на этом основании она является членом Объединенных Наций, и теоретически она это право могла бы использовать, если бы имела достаточные для этого силы.

Этот партизанский прыжок в историю Украинской ССР я позволил себе здесь вот почему: формальный аргумент государственности Украины, сохраненной в виде наличия у нее права реализовать свой суверенитет путем осуществления своего права на выход из СССР, с конца 1950-х годов стал и продолжает до сих пор быть той формой, в которой главным образом проявляется национальное диссидентское (в последнее время трансформированное уже в национально-освободительное) украинское движение в СССР как движение в основном за национально-государственную независимость Украины. В такой форме это движение началось от инициативы раскрытой в 1960 г. группы украинских советских юристов во главе с Левко Лукьяненко, пытавшейся организовать «Украинский Рабоче-Крестьянский Союз» специально для пропаганды среди народных масс Украины идеи реализации права своей республики на выход из СССР и массового давления на украинские партийно-правительственные круги с целью добиться от них легальных мероприятий в этом направлении — ради спасения украинской нации от русификации и демографической «россиянизации». С тех пор эта идея все время в разных

формах последовательно повторяется в самиздатских публикациях и в главных организованных, групповых и индивидуальных проявлениях подсоветского украинского национального движения. Также легалистски-диссидентская Украинская Хельсинкская группа во главе с выдающимся украинским советским писателем Миколой Руденко даже свое возникновение в 1976 г. обосновала аргументом государственной суверенности Украины как европейского государства, которое, являясь членом Объединенных Наций, должно бы было быть отдельным партнером Хельсинкских соглашений по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе. А в своей деятельности и своих декларациях, меморандумах и самиздатских публикациях по поводу разных нарушений человеческих и национальных прав на Украине эта Группа взяла на себя дело защиты и популяризации движения за реализацию права Украины на выход из СССР.

В частности же, вопрос о выходе Украины из СССР неоднократно поднимали самые разные представители современного украинского движения за человеческие и национальные права в своих обращениях в ООН и к другим международно-политическим учреждениям, включая этот вопрос в свое требование «деколонизации СССР», сопровождаемое просьбой о помощи от специальной комиссии ООН по вопросам деколонизации в деле ликвидации колониального положения Украины в СССР путем ее выхода из Союза и реализации таким образом ее государственного суверенитета. Так, в конце 1979 и в начале 1980 г. с ходатайством в ООН по этому поводу обратились две группы украинских диссидентов-политзаключенных, одна из них под названием «Украинское Национальное Освободительное Движение», чье ходатайство подписали 18 известных деятелей украинского национального движения в СССР, в том числе и находящиеся в заключении члены Украинской Хельсинкской группы. При-

чем это их обращение в ООН одновременно было адресовано также заграничному центру украинской политической эмиграции — Всемирному Конгрессу Свободных Украинцев — с поручением представлять перед ООН и вообще на международных форумах их требование деколонизации СССР и осуществления государственной независимости Украины путем ее выхода из СССР. Этим самым украинское подсоветское движение за реализацию этого требования связало себя с аналогичной деятельностью украинской политической эмиграции в диаспоре.

Какое же это имеет отношение к теме и проблемам, которые мы здесь обсуждаем? Отношение прямое и непосредственное. Ведь украинское национальное движение в СССР — это тот главный реально-политический фактор, который является и должен быть в центре внимания всякого украинско-русского диалога в эмиграции, так как мы здесь, ориентирующиеся на родину украинские участники этого диалога, именно этот фактор собой представляем. И потому определяющим в этом диалоге должен быть тот факт, что украинское национальное движение на нашей родине выступает как движение *государственной нации*, которая оказалась в составе СССР как *того же уровня, что Россия, а не подчиненная ей, формально суверенная союзная республика*. Конечно же, не только мы здесь в эмиграции, но, наверно, и большинство украинцев на родине, в том числе и те, которые в борьбе за государственную независимость Украины используют аргумент формальной государственности Украинской ССР, не имеют никаких иллюзий насчет действительной сущности формального статуса Украины в фиктивной государственно-политической структуре СССР. Однако сам факт наличия именно такой *государственной формы* украинского национального движения в СССР, как стремление к превращению формальной суверенности Украины в фактическую, сам по себе

является реальным фактором в украинской борьбе за свою государственную независимость. Ибо за фиктивностью формального суверенитета Украинской ССР стоит тень реального суверенитета Украинской Народной Республики и трехлетней войны Советской России с ней как с реально самостоятельным государством, существование которого обусловило и вынужденное признание Советской Россией формального суверенитета Украины в составе СССР. Поэтому основанный на этом факте государственный характер украинского национального движения в СССР сегодня подчеркивает какие бы то ни было попытки русских противосоветских (диссидентских легалистских или подпольных) национально-политических сил или их представителей в эмиграции третировать так называемый ими «украинский вопрос» в СССР как вопрос какого-то безгосударственного народа, который только теперь должен самоопределился в вопросе о том, хочет он или не хочет иметь свое собственное государство, *право* на которое ему могут признать или не признать русские.

На этом фоне и мы здесь — участники русско-украинского диалога — должны рассматривать *не вопрос о праве* украинского народа на государственную независимость, а вопрос о том, *каким путем конкретно может быть реализовано это естественно и формально принадлежащее украинцам право*, так как именно реализация этого права является сегодня конкретной целью украинского движения в СССР. О каких же путях может идти речь?

Как это всем нам известно, реально возможными в ближайшем будущем являются два пути реализации этого права: *эволюционный* — путь демократизации, децентрализации и наконец — дезинтеграции Советского Союза; и *революционный* — путь свержения власти коммунистической партократии в ее московском центре, связанных с этим восстаний националь-

ных сил в национальных республиках и спонтанного осуществления ими своей государственной независимости в своих органически-национальных формах. Как же в перспективе этих двух вариантов возможного развития событий выглядит та украинско-русская проблематика, которая является центральной сейчас в украинско-русском диалоге?

Несомненно, первый вариант, исходный пункт которого — демократизация, был бы для наших народов идеальным, и потому именно в направлении форсирования развития событий по этому варианту действуют демократические национальные силы всех народов СССР. Именно для этого прежде всего и необходимо согласованное взаимодействие всех этих национальных сил, и в первую очередь необходимым является взаимопонимание и сотрудничество представителей этих сил двух решающе важных в СССР народов — русского и украинского. Но для такого взаимопонимания необходимо, прежде всего, осознание с обеих сторон следующих фактов.

Первым из этих фактов является то, что демократизация в СССР невозможна без децентрализации, а демократическая децентрализация невозможна без полной реализации всех формальных государственно-суверенных прав национальных республик и превращения их из формальных в фактические, что и будет означать неминуемую дезинтеграцию СССР. Для народов союзных национальных республик это будет само собой понятный, естественный и автоматический процесс, который, в общем, представляется в виде следующей схемы: Союз ССР ликвидируется, но «рас-союзенные» таким образом республики остаются все же республиками (потому что таковыми они были до своего вхождения в Союз); и эти республики становятся самостоятельными государствами в своих границах, в пределах которых их народы (в смысле их граждан без различия их национальностей) сами демокра-

тическим путем определяют свой внутренний строй, пользуясь для этого и такими формами всенародного волеизъявления, как референдум (плебисцит). С какой же стати тогда Россия, будь она демократической, посчитает национальные республики ликвидированными или попытается их ликвидировать, требуя для их народов плебисцита как формы их самоопределения в вопросе о том, в каком государственно-правовом отношении к России они желают находиться? Такой вопрос могут поставить и решать путем плебисцита только сами эти народы по своей собственной воле, так же, как и вопрос о тех или иных изменениях их государственных границ. Но, во всяком случае, все это — вопросы последующего, более позднего периода демократических изменений в СССР, а не самого первого периода.

Вот в таком духе только и может стоять в русско-украинском диалоге вопрос об украинской и русской государственной независимости. И для этого обе стороны в диалоге должны *не просто признать одинаковое для русского и украинского народов право на это, а признать Россию и Украину равноправными национально-государственными субъектами, положив в основу взаимоотношений между ними следующий принцип: Россия не имеет права претендовать на Украину, а Украина не может позволить того, чтобы Россия третировала ее как некий объект русских государственно-политических интересов.*

Что же касается второго, революционного варианта, то здесь дело более сложное, так как в революционном процессе действует не столько сила права, как право силы. Но всё же организованные и ответственные национально-политические силы народов СССР, а в частности — народов с такими потенциально-конфликтными противоречиями, как те, которые исторически накопились в отношениях между Украиной и Россией, должны и могут договариваться наперед

именно по тем вопросам, которые являются наиболее конфликтными. Что касается этого, то здесь можно было бы еще много чего сказать, но ограничимся самым главным. А главным является вот что: не нужно избегать сегодня решения известных спорных вопросов хотя бы теоретически, ибо откладывание их до времени практического их решения в неизвестно сколь отдаленном (а может быть, и довольно близком) «завтра» может привести к тому, что решение их потом обойдется для обоих наших народов слишком дорого и ценой окажется даже сама свобода этих народов. Принцип «не делить шкуры не убитого медведя» для охотников на медведей совершенно правилен. Но в сфере национально-политических взаимоотношений между народами именно своевременная договоренность о том, что «мое», а что «твое», — первое условие мирно-дружественного характера взаимоотношений. Совершенно отчетливое представление будущего переустройства того разнонационального комплекса, каким нынче является СССР, — это, в предвидении возможного революционного пути желанных нашим народам существенных перемен, совершенно необходимая вещь. В частности же и в особенности это относится к представлению будущего соседского сожительства России и Украины — в дружбе, но порознь.

И здесь, возвращаясь обратно к солженицынскому совету — иметь в виду в русско-украинском диалоге «не опыт раздора, а опыт единства», я должен сказать: к сожалению, украинский опыт «единства» в так называемой «единой неделимой России», а потом в «единой семье народов СССР», оказался для украинцев слишком неблагоприятным для того, чтобы стремиться к такому русско-украинскому «единству», которое неминуемо ведет к раздору. Поэтому я думаю, что, кажется, искреннее, честное и справедливое разъединение является самым лучшим предварительным условием для единения в равенстве и свободе. И имен-

но это следует иметь в виду в диалоге, о котором здесь идет речь.

ГРИШКО Василь — украинский литератор и политический деятель. Родился в 1914 г., учился на литературном факультете Киевского университета, в 1933 г. начал печататься. В 1936 г. арестован, до 1940-го был политзаключенным на Колыме. Во время войны участник национально-освободительного движения. После войны в эмиграции — редактор и публицист украинской прессы, один из лидеров Украинской революционно-демократической партии. Профессор Вашингтонского университета в Сиэттле, доктор филологических наук (дисс. «Русско-украинское двуязычие Н. В. Гоголя»). Автор многих публикаций на украинском и английском языках по национально-культурным и национально-политическим проблемам СССР: «Опыт с Россией», «Молодая Украина подсоветского сорокалетия. 1918—1958», «Украинская гекатомба. 1933» и др.

ЖГУЧАЯ ТЕМА

Быка можно дразнить по-разному: согласно традиции, ничего нет лучше красной тряпки. Марксистов-ленинцев, особенно тех, что у власти, раздражает всякая критика, но вернее всего их взбесить, указывая на определенные аналогии между их доктриной и вытекающей из нее системой, с одной стороны, и доктриной и системой немецкого национал-социализма — с другой. Если невежа обитает на территории их правомочий, они с ним и спорить не станут — посадят, и всё; когда же он живет не на землях их империи — его завалят возмущенными доказательствами всего того, чем обе доктрины и вытекающая из каждой практика различаются.

Они, и верно, отличаются друг от друга во многом, но совпадают в чем-то очень важном. А поскольку это «что-то» практически как раз и является решающим для жизни в созданных ими режимах, возник странный и, как только на него указывают, яростно опровергаемый феномен: в жизненной практике (хотя в теории — лишь отчасти) нелегко найти отличие. Это «что-то», или, точнее, кто-то — краеугольный камень как коммунистических, так и фашистских режимов: это преданный член партии, так называемое «здоровое ядро», собственным ядром которого является своего рода патология. Спор этих здоровых ядер с миром либеральной демократии — или, переводя на язык индивидуального опыта, с миром приличных людей, часто живущих в неприличных экономических условиях, — отнюдь не спор пролетариата с оными неприличными условиями. Спор этот — не коллективный, но строго индивидуальный, частный. Эти люди отмечены личной ненавистью, в основе которой лежит какой-нибудь

индивидуальный, глубоко негативный опыт: то политический (казнь Александра Ульянова; расизм), то семейный (бунт детей против богатых родителей и так называемый «салонный большевизм»), то целая плеяда причин, вызывающих комплекс неполноценности, — художественная неудача (Гитлер), неудовлетворенное тщеславие (Муссолини), неудовлетворенная сексуальность (всяческие штурмтрупперы и их культ мужской солидарности), или — гораздо чаще, чем казалось бы, — жалкий внешний вид (Ленин, Сталин и Муссолини — все были маленького роста), а то и прямо физический недостаток, классическим примером чему служит д-р Геббельс, к которому мы еще вернемся.

Сейчас, в розовой атмосфере западного левого либерализма, непопулярно заниматься работами Альфреда Адлера, ученика Фрейда, потому что именно он клинически доказал существование этого скрытого корня «идеологического мировосприятия». Кто бы это наедине с самим собой, а тем более публично, признался, что стал коммунистом (нацистом), потому что в детстве страдал недержанием мочи? Розовые либералы предпочитают изучать Фрейда, заботой которого — по крайней мере, в их упрощении — было лечить половые извращения; уже меньше их интересует его ученик Вильгельм Рейх, который, например, в работе «*Die Massenpsychologie des Faschismus*» доказывал, что склонность присоединяться к радикально-авторитарным движениям можно вывести из неудовлетворенной, искаженной либо подавленной сексуальности. Это легко применить и к коммунизму, что в конце концов и сделал сам Рейх на склоне лет (он, например, выдвинул термин «красные фашисты»), а это нынче в нью-йоркских салонах дурной тон. Альфред Адлер? Вне кругов специалистов он практически неизвестен. А ведь именно он научно объяснил явление, известное всякому, кто имел дело с советским, чехословацким, восточногерманским или любым дру-

гим комсомолом: непропорциональное число активистов с физическими или психическими недостатками. Адлер анализирует это явление в труде «Die Theorie der Organenminderwertigkeit und ihre Bedeutung für Psychologie und Philosophie» и в других работах. Его аргументацию можно свести к тому, что всякая такая «неполноценность» (физический недостаток, даже скрытый) как-то компенсируется, особенно в области психологической надстройки. «Компенсация мозгом» объясняет и *рождение философских систем и мировоззрений*. В ряде клинических анамнезов Адлер набрасывает портрет «идеологического человека»: он отличается сильной тенденцией скрыть свою неполноценность или представить ее как результат некоего героизма (хромота от рождения — как последствие ранения на войне, и т. п.), и его преследует чувство неуверенности, словно он живет в постоянной вражеской осаде.

Очень часто от неуверенности он защищается грубостью или шутовством, от чувства неполноценности плавно переходит к ощущению сверхценности, исключительности, даже не всегда сознавая этот переход; из вымышленного его больным умом образа мира он порождает гипотезы, преобразующиеся в догмы, в которых затем пациент утверждает и приписывает им реальность, а действительную реальность видеть уже не способен. Очень скоро он начинает предъявлять чрезмерные требования фанатической веры, дисциплины и т. п. себе и другим, прибегает к злоупотреблению в отношении достойных идей и движений, чтобы достичь ощущения собственной ценности, а наконец — и сверхценности, и чтобы другие люди, а с ними их идеи и движения, обесценились. В результате он живет как пленник собственной идеологии, взошедшей из этих патологических корней, которые, как известно, Фридрих Энгельс называл «ложным сознанием». Просто не верится, до чего совпадает энгельсовское определение с выводами Альфреда Адлера. Цити-

рую Энгельса: «Идеология — это процесс, которым так называемый мыслитель проходит хотя и сознательно, но на основе ложного сознания. Реальные мотивы, конкретные силы, которые его ведут, остаются от него скрыты, а он внушает себе мотивы ложные или мнимые».

Энгельс полагал, что в последней инстанции этими конкретными силами являются экономические факторы, — Адлер считает, что речь идет скорее об индивидуальных факторах несложившейся судьбы отдельного человека, отмеченного разочарованием в себе и чувством неполноценности. Однако разница между суждениями Энгельса и Адлера, на мой взгляд, всего лишь мнимая, ибо экономические факторы не всегда являются источником ложного сознания. Это подтверждается тем общеизвестным фактом, что в коммунистических (фашистских) партиях всегда существовали — рядом со всяческими «редисками» (красные снаружи, белые внутри) и «товарищами» из нужды — две категории: те, о ком в народе говорят: «Он, конечно, коммунист (фашист), но человек порядочный», и те, о ком: «Сволочь коммунистическая (фашистская)». Только эти последние — исключив просто бандитов — являются подлинными носителями ложного сознания, т. е. людьми в настоящем смысле слова идеологическими, и корень их отнюдь не в существующем социальном или национальном несчастье, но в личном ночном недержании мочи. Первые присоединились к радикальному движению из подлинных социальных или национальных чувств, очень скоро окажутся в конфликте с идеологами и кончат ликвидированными, исключенными из партии, предателями, ревизионистами, ремовцами, титовцами, космополитами, пособниками «банды четырех» — репертуар выражений бесконечен, и все они означают, что эти несчастные не страдают неполноценностью, а что это нормальные люди, которых на сомнительные дорожки идеологии временно завели их

искренние чувства и критическое положение общества. Если мы, наконец, осознаём, что определенную форму неполноценности (болезненный разрыв между недостатком жизненного опыта и даваемой им мудрости, с одной стороны, и интенсивным желанием улучшить мир, всегда несовершенный, а зачастую дурной, — с другой) представляет сама по себе молодость, то нас не удивит массовый радикализм девушек, у которых только начинают наливаться груди, и юношей, тайно натирающих мазями против угрей, — достаточно бюсту дорасти до положенных размеров, а угрям исчезнуть с началом половой жизни, как и эти девушки и юноши сами удивляются, до чего они тогда поглупели.

Впрочем, на последней стадии идеологии идеологические люди почти вымирают, а освободившиеся места занимают бандиты.

Теперь возвратимся к д-ру Геббельсу — самой блистательной иллюстрации Адлеровой теории. Каждый, вероятно, помнит, что это был человек необычайно маленького роста, к тому же хромым — очевидно, от рождения, но он позднее приписывал это увечью, полученному в детстве, из соображений несомненно адлеровских, однако еще и потому, что, калека от рождения, он не укладывался бы в шкатулку расистского идеала (куда и так черноволосый докторишка с прекрасными цыганскими глазами вошел с большими трудностями — вплоть до того, что для его расового типа *die alten Mitkämpfer*, кажется, не без насмешки придумали термин *nachgedunkelter Schrumpfergmane*, который я перевожу как «потомственно потемневший сморщенногерманец»). Кроме того, он обладал огромной головой, неприятно контрастировавшей с почти детским тельцем. Всю ущербность в области красоты Геббельс классически компенсировал мозгом, притом на двух полях деятельности: более невинным из них была бурная половая жизнь, которая шла успешно не только потому, что он стал минист-

ром, но и потому, что вместо недостающих сантиметров роста он настолько взрастил в себе дар речи, уговора, дар вышеупомянутых очей Черного Охотника и прекрасных, холеных рук, что эти дополнительные прелести заслоняли молодым девицам хромую ногу и тот факт, что для поцелуя стоя ему приходилось тянуться на цыпочках.

Другое поле компенсации было опаснее и имело трагические последствия не только для него. Политика, идеология.

Решающими здесь оказались несколько факторов. Прежде всего, то, что Геббельс, когда вспыхнула первая мировая война, хотел пойти в армию добровольцем, а врачебная комиссия его, естественно, не пропустила. На несколько дней он заперся в комнате и грозился покончить с собой. Это разочарование в себе, соединявшееся с отвратительной для него, типичного интеллигента, мелкобуржуазной средой законопослушной и набожной семьи, сразу после войны привело его к страстному изучению Маркса и Энгельса, а затем и Ленина. Лениным он никогда не перестал восхищаться, и, если провести детальный анализ его риторики, стало бы явным, думаю, нечто большее, чем мимолетное влияние. Об этих обстоятельствах ученые из Института марксизма-ленинизма, разумеется, ничего не пишут, но это, увы, исторический факт, легко доказуемый на материале сохранившихся речей Геббельса.

Вступив в НСДАП, разочарованный Геббельс в поисках ложного сознания, соответствующего его отчаянию, присоединился к ультралевому крылу партии, возглавлявшемуся братьями Штрассерами, и стал главным редактором их органа «Национал-социалистише Брифе» — вероятно, единственного нацистского журнала, имевшего некоторый интеллектуальный уровень, а к тому же, в высшей степени интересного для изучения главы, вычеркнутой из офи-

циальной истории нацизма сначала Гитлером, а потом марксистами-ленинцами. Для этого журнала Геббельс писал передовые статьи, отличавшиеся неустанной пропагандой идеи, согласно которой судьбы революционной России и революционной Германии родственны. Иногда там можно найти прогнозы прямо пророческие: «Устремим наш взгляд на Россию, ибо она будет идти с нами по пути к социализму, ибо она — природой нам данный союзник против дьявола искушения и коррупции Запада». Или в другом месте: «С западным капитализмом нас объединяет куда меньше, чем с восточным большевизмом». И дальше: «Если придет наихудшее, лучше погибнуть вместе с большевизмом, чем вечно жить рабами капитализма». В Гитлере, который с самого начала стремился не к социализму, а к власти, Геббельс некоторое время видел, в согласии со Штрассером, прямого предателя национал-социалистической революции и на бурной сходке штрассеровских партийных групп и профсоюзов в 1926 г. он в пылу дебатов по-большевистски крикнул: «Предлагаю исключить из партии мелкобуржуазного Адольфа Гитлера!»

Будучи весьма чувствителен к сублимированным гомозеротическим отношениям, он, однако, скоро почувствовал, что будущее принадлежит не благоразумному и действительно мелкобуржуазному Штрассеру, но харизматическому и живому, как ртуть, демагогу Гитлеру, и стал личным другом Гитлера. Вскоре после того, как он предлагал исключить фюрера из партии, он произнес одну из самых блистательных своих речей, которая, помимо всего, является еще и любопытным свидетельством того, как близки были нацистские идеологи (не просто бандиты типа Геринга, которые всегда в конце концов побеждают идеологов) к коммунизму в начале своего движения. Заглавие речи — «Ленин или Гитлер» — могло бы привести к упрощенному выводу о том, что Геббельс ставит коммунизм и нацизм в непримиримое противостояние. Это

не так. Вся речь прямо дышит восхищением перед Лениным и его делом, Ленину в ней посвящено не меньше места, чем Гитлеру, а деятельность его разобрана намного подробнее. Историческое дело Ленина, говорит Геббельс, — коммунистическая *Россия*, а немецкие коммунисты вроде Тельмана или Люксембург — всего лишь жалкие русские представители в Германии. Против революционного создания русского Ленина равно или более ценное может создать лишь человек, такой же великий, как Ленин, но при этом насквозь *немец*. Такой человек существует — его зовут Гитлер. Как Ленин произвел насильственную коммунистическую революцию и тем изменил ход истории, так и Гитлер произведет насильственную национал-социалистическую революцию и тоже изменит направление истории. В отличие от либеральных и многих социал-демократических политиков, Геббельс понял исторические последствия 1917 года, и его текст полон нескрываемой симпатии к большевистской революции — он прямо называет ее решительным шагом человечества вперед. Уже братья Штрассеры предупреждали немецких политиков не смотреть на развитие событий в России глазами белых эмигрантов, но Геббельс стал куда более страстным сторонником сотрудничества с революционной Россией. В союзе с Советами он видит единственную гарантию немецкого национального будущего: социальная революция в Германии, по его мнению, возможна лишь при условии, что Россия будет союзником Германии. Пакт Гитлера со Сталиным, столь поразивший несведущий в нацизме мир, отнюдь не был нелогичным последствием каких-то непонятных интриг министра Риббентропа.

В самой Германии Геббельс обнаруживает три главных политических течения. Первое — центр, «блок статус кво, реакция; консервативный блок, укорененный в (демократической. — Й. Ш.) системе». Он включает все партии от социал-демократов вплоть до не-

мецких националистов, «ибо все они стоят под охранительным зонтиком демократии, либерализма, капитализма — ценностей, которые они почитают святыми и неприкосновенными». По обе стороны «реакционного» блока стоят два революционных движения: коммунисты и национал-социалисты, «которые одну вещь распознали ясно и поняли правильно: если мы хотим стать будущим, мы достигнем его не реформами, но радикальной революцией. Система либерально-капиталистической демократии внутренне так разъединена, так гнила, что ее уже невозможно ни латать, ни реформировать. Она должна быть уничтожена до основания...»

Так почему тогда не стать коммунистом? Тут в игру вступает специфически нацистское ложное сознание: потому что глашатай марксизма в Германии — «еврейская интеллигенция». Немецкий марксизм — очевидно, в отличие от русского, — союзник «еврейского биржевого гангстера». Общая цель коммунистов и нацистов — уничтожение буржуазно-демократического государства. После этого между союзниками неизбежно возникает конфликт, но — слушайте внимательно: «...этот спор должен вестись по-деловому, без демагогии и независимо от временных выгод. Мы должны встретиться, — патетически взывает Геббельс, — вы, левые, и мы. Мы же, в принципе, хотим одного и того же: наша цель — свобода!.. Для нас центральная проблема наших дней — решение социального вопроса. Социального вопроса не в смысле повышения зарплаты и уменьшения изнурительного труда... Германия станет свободной в тот момент, когда достигнут взаимопонимания 30 миллионов левых и 30 миллионов правых... Социальный вопрос — вопрос не буржуазного сострадания, но государственной социалистической необходимости. Мы знаем, что наш путь ведет не через избирательные урны, но через последовательное разрушение системы, через революцию».

Для наших целей неважно, что штрассеровское направление, влиянию которого Геббельс в этой речи еще явно подвержен, проиграло и что спор между нацизмом и коммунизмом в конечном счете был не только демагогическим, но и вылился в величайшее военное кровопролитие современной истории. Жажда неограниченной монополии власти приглушила риторику социальной справедливости не в одной Германии (в чем, собственно, если посмотреть поглубже, коренится нынешний советско-китайский спор?), и только подтвердилось старое правило английского лорда о том, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Я цитирую все это, чтобы показать, что и в некоторых аспектах доктрины (я уж не говорю об организации партии, структур ячеек, партуполномоченных, доносчиках и т.п.) у нацизма есть нечто общее с коммунизмом: в истоках своих это тоже была радикальная идеалистическая реакция на плохую конкретную реальность во имя утопического идеала. Фашизм видит этот идеал в прошлом, в идеализированной средневековой организации общества; коммунизм — в идеализированном утопическом будущем. Есть ли в этом, с точки зрения теории, принципиальная разница, не знаю.

Если мы осознаём эти не слишком известные обстоятельства, мы поймем и много других, на первый взгляд, нелогичных вещей. Например, речь Геббельса на собрании немецких кинематографистов в 1933 году, где он, уже министр пропаганды, привел знаменитый эйзенштейновский «Броненосец Потемкин» в пример нацистским режиссерам и объявил еврея Эйзенштейна образцом настоящего художника. Бедняга Эйзенштейн так расстроился, что напечатал «Открытое письмо Йозефу Геббельсу», некоторые формулировки которого сегодня, когда мы знаем и судьбу советского кино, и горькую участь самого Эйзенштейна, звучат довольно иронически: «Как вы смеете требовать от ваших

кинематографистов, чтоб они правдиво отображали жизнь, не требуя от них взывать к совести мира о тысячах тех, кого мучат насмерть в ваших тюрьмах? Где взяли вы дерзость вообще говорить о правде, вы, воздвигший Вавилонскую башню обмана и лжи?» Эти слова Эйзенштейн написал в 1934 году, когда разгонялась первая волна сталинского террора и когда, провозгласив соцреализм, окончательно добились художественную свободу. Однако он был, кажется, расстроен искренне, так искренне, что снова вернулся к Геббельсу в 1938 году, по случаю выхода «Александра Невского», в статье «Мой сюжет — патриотизм». Там он разделался с докторишкой еще пламенней, чтобы вскоре пережить неприятности, связанные с пактом Сталина и Гитлера, в рамках которого шовинистски-антинемецкая драма о мудром князе, массово уничтожающем придурковатых тевтонских рыцарей, на 18 месяцев оказалась запрещенной.

Нас не поразит и такой курьезный факт, что сценаристом знаменитого фильма «Das blaue Licht», где в главной роли блеснула гитлеровская любимая актриса (позднее режиссер) Лени Рифеншталь, фильма, который Сюзен Зонтаг убежденно толкует как откровенно антинацистский, был не кто иной, как венгерский коммунист Бела Балаш. Мы не будем считать непонятным и то, что немецкий режиссер-коммунист Курт Юнгханс, снявший в 1929 году в Праге лебединую песнь социально-критического немого кино «Такова жизнь», а потом несколько лет в СССР готовившийся к съемкам американской киноэпопеи (этот замысел сошел на нет лишь после того, как негритянский поэт Лэнгстон Хьюз, приглашенный сотрудничать, заявил, что сценарий — полная чушь и абсолютно не соответствует американской действительности), после 1933 года вернулся в Германию, где в 1939 году снял официальный документальный фильм об истории партии (не коммунистической) «Die Jahre des Entschei-

ding», пока, наконец, не плюнул на обе идеологии, сбежал в Голливуд и открыл там лавку с фотопринадлежностями. И уж, тем более, не будем удивляться, узнав, что ядро пресловутой фландрской дивизии СС «Валлония» Леона Дегрелля, почти целиком погибшей на Восточном фронте, составляло несколько сот бывших коммунистов и членов молодежной социалистической организации «Jeunes gardes socialistes» и что перед лицом апокалипсического поражения Дегрелль провозгласил: «Если Европе суждено снова стать Европой банкиров, толстых и продажных буржуев... то пусть уж лучше выиграет коммунизм и все уничтожит. Пусть уж лучше все взлетит в воздух, чем видеть эту торжествующую гниль». Нам не покажется чересчур абсурдным и замечание официального идеолога Муссолини эпохи так называемой Итальянской социальной республики Ардженто Соффичи, по словам которого, «если державам Оси суждено будет проиграть войну, большинство настоящих фашистов — тех, кто выживет, — перейдет к коммунистам. Потом им придется навести мосты через ров, разделяющий обе революции».

Нам не будет странно читать и речи самого Гитлера, обнаруживая в них иногда простой перевод ленинских принципов на язык национал-социалистических понятий. Яркий пример — необычно краткая речь фюрера на Нюрнбергском партайтаге 1934 года, откуда я беру эти цитаты: «Еще в ту эпоху, когда в партии было только семь членов, она провозгласила два принципа: во-первых, быть действительно идеологическим движением, во-вторых, движением, не знающим компромиссов, взять всю власть в Германии и ни с кем ее не делить. Как партия, мы должны были остаться меньшинством, поскольку мы мобилизовали в нации только самые ценные элементы, способные к борьбе и самопожертвованию, а такие не могут быть большинством. Но поскольку эти мужи, лучшие мужи немецкой расы, гордо, сознательно, отважно и мужественно

повели Рейх и нацию, народ все больше присоединялся к этому движению и поддерживал его... Партия... всегда будет лишь частью народа, будет состоять лишь из действительно активных бойцов, к которым будут предъявляться требования выше, чем к миллионам их сограждан. ...Партия всегда будет представлять собой элиту политического руководства. Она будет непреклонна в идеологии, как сталь тверда в организации дисциплины, гибка и приспособляема в тактике... Нашей целью должно быть, чтобы все немцы стали национал-социалистами. Но лучшими национал-социалистами все равно будут члены партии».

Что же это по существу, если не иная — чисто словесно — формулировка таких ленинских изобретений, как понятие партии — не массового движения, но элитарного авангарда пролетариата, как строгое разделение идеологии и тактики, как большевизация социал-демократии — ее превращение в партию, где царит дисциплина, и т. д.?

Теперь, однако, оставим эти сферы высокой политической «теории» и знаменитых имен. Обратим взгляд, как говорят сталинцы, к «низам» и обнаружим, что там картина весьма схожа. Возьмем хотя бы политическую песню, о которой Владимир Карбу-сицкий написал весьма любопытную книгу «*Ideologie im Lied — Lied in der Ideologie*» (Musikverlag Hans Geric, Köln, 1973). Там мы найдем множество иллюстраций к познаниям, добытым нами при изучении идеологических высот. И здесь воплощаются основные закономерности ложного сознания: в конкретном случае песен корни музыкального развития и структуры текста остаются скрыты от автора, а реальность проникает в его сознание в искаженной форме, которую, однако, он и его слушатели воспринимают как отражение действительности. Поскольку же на самом деле это только отражение подсознательных реакций, возника-

ет реальность, измененная до неузнаваемости, — ложная реальность.

Карбусицкий интересно разбирает детали, тождественные в музыкально-драматической структуре песен нацистских и коммунистических композиторов — вплоть до композиторов уровня Ганса Эйслера. Но это анализ слишком профессиональный — для наших целей достаточно ограничиться текстами песен. Автор приводит два роскошных примера, где ложное сознание переработало реальность в фантазию. Первый — песня известного и в Праге восточногерманского диссидента Вольфа Бирмана о западногерманском левом радикале Руди Дучке «Три пули для Руди Дучке». Цитирую первый куплет (перевод дословный):

Три пули для Руди Дучке
Кровавое покушение
Мы ясно видели
Кто здесь стрелял

В следующих куплетах выясняется, кто же эти трое, стрелявшие в Руди. Первый — печатный концерт Шпрингера, второй — представитель крупных монополий, а третий — канцлер, бывший нацист, который

Выпустил пулю номер три
И одновременно послал вдове
Письмо с соболезнованиями

Слушатель, который ничего не знает ни о Руди, ни о покушении (совершенном в 1968 году не кем-нибудь из трех названных, но Йозефом Бахманом), проникнется уверенностью, что Руди погиб, — поется-то о вдове. Кроме того, у него создается туманное представление о группе убийц — вероятно, наемных, — от которых нити ведут к крупным монополиям. На са-

мом же деле Дучке был только ранен, а умер много лет спустя после того, как восточногерманский бард до слез трогал его судьбой идеологически родственные души. Никакой вдовы в природе не было, а единственный, кто погиб в связи с покушением, был совершивший его Йозеф Бахман, в приступе депрессии повесившийся в тюрьме. Приказы подсознательной музыкальной структуры и ложное сознание, побуждавшее заменить действительность маниакальным вымыслом, были для идеологического сочинителя *сильнее действительности, сильнее правды*.

Для авторов идеологических песен важна не правда и не действительность, а эмоциональный эффект. Для этого эффекта мертвый Руди полезней живого — и в песне действует тот, кто полезней.

Еще ярче «Песня для Анджелы Дэвис» из репертуара западногерманской «Боннер Зоннгрuppe». Во вступлении поется:

Они тебя ненавидят, потому что
ты — будущее народа.
Они тебя преследуют, потому что
ты негритянка и коммунистка.

В следующих куплетах судьба Анджелы отождествляется — будьте внимательны — с судьбой Джо Хилла, Сакко и Ванцетти, жертв Ку-Клукс-Клана и «массовых убийств империалистической банды». То есть Анджела включена в ряд *мертвых* героев. Как и Руди, она полезнее мертвая, чем живая, а поскольку американские присяжные не послали ее в газовую камеру (ничего подобного и быть не могло: за сообщничество казнят только в странах научного социализма), ее убила «Боннер Зоннгрuppe» ради своих богоугодных целей.

Достаточно об идеологической хирургии реальности и о ее ложном представлении. Не менее забавны

примеры Карбусицкого, которые показывают, что песни, возникшие в лагерях, на первый взгляд, *совершенно* противоположных, с небольшими поправками поются в *обоих* лагерях и похожи друг на друга, как пресловутые продукты куриного инстинкта размножения. Примеры относятся к Германии 20-30-х годов, где постоянно происходил обмен песнями между отрядами СА и штурмовиками компартии. Эту мнимую неожиданность Карбусицкий объясняет в соответствии с тем, что можно вычитать из ранних речей Геббельса: между двумя лагерями существовала не столько вражда, сколько конкуренция — шел спор за души, но общим врагом была либеральная демократия, «террор» которой так тождественно фигурирует в песнях обоих лагерей. Вот песня штурмовиков из СА:

Мы живем в свободном государстве,
но свободы ни следа.
Вместо нее царит в нашей стране
террор красной диктатуры.

А вот песня коммунистов:

Мы живем в свободном государстве,
но свободы ни следа.
Вместо нее царит в нашей стране
белый ужас, ужас — террор!

Оба текста различаются только цветом в последней строфе да попыткой коммунистов представить либерально-демократическую немецкую республику еще горшим пеклом, чем это делают СА. Притом следа-то не было скорее террора, чем свободы, и оба варианта служат также хорошим примером обработки действительности ложным сознанием; иронический довесок к ним составляет факт действительного террора и ужаса, развязанного после победы обоими

идеалистическими движениями. Вот еще несколько мелких примеров — ради страшной забавы и печальной шутки:

- Коммунисты:* Левой, левой,
свастику разбей вдребезги.
- Гитлерюгенд:* Красный фронт разбей вдребезги!
Гитлерюгенд марширует, освободите
улицы!
- СА:* Когда родине угрожают враги,
мы никогда перед врагом не отступим,
гитлеровская пятая колонна...
Мы преданы свастике.
Слава нашему вождю, — слава тебе,
Гитлер!
- Коммунисты:* В суровой классовой борьбе
никто не увидит нас отступающими!
В единстве следуйте учению Ленина.
Уничтожим буржуазное государство...
Товарищи, красные флаги должны
победить,
Ленин будет нашим вождем!
- СА:* Выходите на баррикады, только смерть
победит нас, да, только смерть!
Мы ударные колонны
диктатуры Гитлера!
- Коммунисты:* Выходите на баррикады, поднимайтесь
на гражданскую войну, да, войну!
Воздымайте советские флаги
к кроваво-красной победе!

Тождественность подобных песен Карбусицкий объясняет отчасти расплывчатостью выразительных средств, отчасти реальной миграцией не только песен, но и их исполнителей. В текстах зонгов все либо туманно, либо очень общо: ненависть, радость, враг, кровь, бой, жертва, террор, флаг, надежда, слава,

победа и т. п. — словесная щебенка, которую по желанию можно использовать за того или другого и против того или другого, налево и направо. Основное свойство метода идеологического стихоплетства — это как раз приемлемость результата «творческого» процесса для *всех* идеологий!

До 1933 года обе стороны, сражаясь, обменивались не только песнями, но и личным составом. В книге нацистского композитора массовых песен Ганса Байера, члена СА, «Песни делают историю», об этом говорится следующее: «Стычка в пивной или драка на улице между СА и марксистами, на стороне которых часто был численный перевес, нередко кончалась тем, что на следующий день к штурмфюреру являлось множество избитых марксистов с просьбой о вступлении в его отряд. Сначала их притягивало уважение к людям, которые были храбрее и лучше умели драться. Однако вскоре идеи национал-социализма вдохновляли их так же, как остальных товарищей из Штурма. Хорст Вессель умел мастерски перетягивать лучших парней из марксистских формаций в свой отряд, назло их прежним товарищам по партии. Ясно, что эти люди принесли с собой песни, возникшие в лагере красных. Но после нескольких поправок в тексте их пели и в СА». Байер приводит примеры того, как обходились без *каких бы то ни было* изменений текста, — в том числе целую песню. Это «Песня русских красногвардейцев» (вероятно, «Молодая гвардия». — Прим. пер.), которая в своей чистой, оскопленной от всякой конкретности форме приобрела сначала к берлинским коммунистам, а потом к штурмовикам.

Иронической вершиной право-левого симбиоза стал «Интернационал». Байер об этом пишет: "Раз в неделю наш Штурм устраивал пропагандную демонстрацию по северному Берлину. В репертуар наших песен входила также революционная песня, которую называли «Гитлернационал». Едва доносились с

улицы ее звуки, как начинали отворяться окна, и из них высовывались люди, чтобы с ликованием приветствовать свои, т. е. красные, колонны. Невозможно описать, как у них вытягивались лица, когда вместо своих они видели твердо сомкнутые колонны в коричневых рубашках. Из окон немедленно отзывался текст «Интернационала»: «Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! Die Internationale erkämpft das Menschenrecht!» Но мы перекрикивали их всей силой своих голосов и словами «Гитлернационала»: «Schon jubeln Sieges-signale! Schon bricht der Morgen Herein! Der nationale Sozialismus wird Deutschlands Zukunft sein!» Потом штурмовики заканчивали свой пропагандный марш новой версией песни красногвардейцев, которую, как я сказал, первоначально пели без изменений. Новый текст выразителен: «Раньше мы были марксисты, красный фронт и социал-демократы, сегодня мы национал-социалисты, бойцы НСДАП!»

Легкость этого перехода справа налево и наоборот, как в песне, так и в жизни, легче объяснима при помощи Адлера, чем теориями об обращении. Идеологический человек не «обращается», он просто присоединяется к другому, опять-таки идеологическому течению. Карбусицкий говорит о потребности многих жить в ясно организованном, эмоционально волнующем, примитивно ритуализированном мире. Эта древняя потребность существовала уже на заре человеческой истории, и человечество трудолюбиво преодолевало ее мыслью великих мыслителей от древних греков через Декарта, Канта, Спинозу и до просветителей — философов либерализма и демократии. Ныне, в нашем XX веке, парадоксально, «не отсутствует, вероятно, ни один из феноменов доисторической стадии рода человеческого. Усилиями идеологов возрождены и вновь действуют все умственные ископаемые. Ритуалы, магические переодевания в виде военных и полувоенных форм, фетишизм, табу, культ вождей

и харизматическая деятельность знахарей, заклинания в виде лозунгов и застывших словосочетаний, тотемическое чтение символов и т. д. Наступает культурный регресс, характеризующийся тем, какую огромную роль во влиянии на людей играет гипнотическая, внушающая коннотация, проникающая в подсознание объекта индоктринации так, что он этого и не чувствует. И при этом рафинированное вторжение идеологов в подсознание массового человека само управляется подсознательными силами. Мы переживаем, — заканчивает Карбусицкий, — последнюю стадию полного распада просветительства».

Можно ли этому как-то противостоять? Вероятно, говорит Карбусицкий, но для этого следует проводить различие между *идеей* и *идеологией*. Каков критерий этого различения? Решающим здесь является правда социально-критической мысли. Текст, возникший из сильного переживания социальной несправедливости, обладает моральной силой правды, пока его мысль волнует сознание ближних как идея, реагирующая на конкретную действительность. Идея обладает силой правды и не нуждается ни в какой диктатуре и ее магических ритуалах, она готова принимать дискуссию и меняться. Напротив, *идеология* дискуссий не допускает, поскольку должна хранить свою ортодоксальность. Ее идеи — это не идеи в полном смысле слова, поскольку соответствуют уже не конкретной действительности, а догмам, формулировка которых окончательна и эмпирией пренебрегает. Песни, сочиненные по идеологическому приказу, даже если словесно не отличаются от песен, возникших из реального переживания, теряют пафос правды, который есть в первоначальных песнях. Поэтому старый блюз об анонимном суде Линча и сегодня трогает человека — в нем правда конкретной реальности. Песня же об Анджеле Дэвис в лучшем случае воспламенит несколько «здоровых ядер» — остальную публику она

оставит холодной. В ней не правда, а идеологически переработанная действительность. Или, как говорит Энгельс, ложное сознание. Или, проще говоря, ложь.

Ложь — пристань прибытия всех идеологий, даже если их породили подлинные чувства. Точнее, из подлинных чувств никогда ни одна идеология не родилась — идеологию порождает злоупотребление чувствами и достойными идеями ради решения жгучих личных проблем определенных людей, пулями или хотя бы кулаками пробивших себе место во главе идеологических структур власти или, в районном масштабе, чиновничьей иерархии. Поскольку основная психологическая закономерность для всех идеологий одна и та же, из их тождественных яиц рождаются поразительно похожие курицы.

Постскриптум автора: Современный пример сочетаемости элементов фашистской и коммунистической идеологии приводит Томас Шиэн (Thomas Sheehan) в статье «Италия — правые террористы» («Нью-Йорк Букс Ревью», 22 янв. 1981): итальянская террористическая организация НАР определяет свою идеологию как наци-маоизм, основывает ее на теориях Гитлера, Мао Цзе-дуна, Перона и Кадафи, а лозунг ее: «Да здравствует фашистская диктатура пролетариата!»

ШКВОРЕЦКИЙ Йосеф — родился в 1924 г. Детство и юность, в т. ч. времена немецкой оккупации, прожил в маленьком провинциальном чешском городке Наход, который затем под именем Костельца стал фоном целой серии полуавтобиографических романов. Первый из них — «Трусы» — написан в 1949 г., напечатан в 1958-м и подвергся разгромной критике за дегероизацию т. н. «революции» мая 1945-го. Писатель был уволен из редакции журнала «Световая литература», где начал работать «на волне 56-го года», и вновь, как

до того, был надолго обречен на труд литературного поденщика: переводчика, автора либретто опер и т. п. Регулярно стал печататься вновь с 1963 г., выпустил несколько сборников рассказов, романы. Роман «Танковый батальон», готовившийся к изданию в 1968 г. и весьма иронически рисовавший чехословацкую армию, вышел лишь позднее за границей. Эмигрировал в 1969 г., преподавал в американских университетах, затем поселился в Торонто, где стал профессором американской литературы, а также вместе со своей женой, прозаиком Зденой Саливаровой, основал крупнейшее чехословацкое эмигрантское издательство «68», где выходят и его новые книги. Широко переводится на иностранные языки, в особенности на английский. Входит в редколлегия издающегося в Канаде чехословацкого журнала «Запад», где была напечатана публикуемая нами статья.

Ж у р н а л « Б Ъ Д Е Щ Е »

(«Будущее»)

на болгарском языке, ежемесячник,
издающийся в Париже

Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.

Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,
75017 Paris, Tel. 380-57-64

Годовая подписка: 120 Fr. (70 DM, 30 \$
Par avion: 50 \$)

Запад — Восток

Фридрих Горенштейн

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕРЛИНСКИХ ГОРОДСКИХ ТУАЛЕТОВ

*(Реальные факты из области политической
фантастики)*

Когда в 1939 году между гитлеровской Германией и сталинской Россией был заключен мирный договор, перед пропагандистским аппаратом обеих стран стал вопрос о взаимоотношениях столь враждебных друг другу идеологий, как коммунистическая и нацистская. Общеизвестно, что пропаганда и террор являлись двумя главными опорами сталинского и гитлеровского режимов, без которых они были бы бессильны. Причем вся гитлеровская пропагандистская фразеология была основана на антикоммунизме, а сталинская на антифашизме. Именно с помощью этих ярлыков проводились расправы над политическими противниками, и именно с помощью этих лозунгов проводилась мобилизация масс. И вдруг на время «медового месяца» красной звезды и свастики потребовалось менять основополагающие идеологические установки, потребовалось если не примирение, то перемирие между нацистской и коммунистической пропагандой.

Илья Эренбург, который выполнял деликатную роль интеллектуала-эmissара сталинской пропаганды в Европе, вспоминает в своих мемуарах «Люди, годы, жизнь» о тех временах, когда со страниц советской печати исчезло слово «нацист» и «фашист», а Молотов даже обрушился на «близоруких антифашистов».

Из Министерства иностранных дел убирали евреев. Оркестр Большого театра разучивал Вагнера. Выдавали гестапо немецких эмигрантов, проживавших в Советском Союзе.

Сталин, конечно, более искренне стремился к дружбе с гитлеровской Германией, чем Гитлер со сталинской Россией. В каждом политическом браке есть сильная и слабая сторона. Сталин в своем браке с Гитлером был слабой стороной. Тому были свои причины, которые требуют отдельного анализа и которые вне затронутой нами темы. Однако и нацистская пропаганда в тот период безусловно должна была учитывать государственные интересы Рейха, ставшего союзником еще недавно проклинаемых коммунистов.

«Но при чем тут, — спросит нетерпеливый читатель, — берлинские городские туалеты? Какое отношение имеют идеологические проблемы «Фелькишер Беобахтер» и «Правды» начала сороковых годов к берлинским городским туалетам начала восьмидесятых?» Дело в том, что, в отличие от сталинской «Правды», гитлеровскую «Фелькишер Беобахтер» пришлось прикрыть. Закрыта и «Империя» Геббельса, вместе со Штрейхером подох «Штюрмер». Выходит в Мюнхене «Националцайтунг», но свастика — гакенкройц — в нем заменена просто крестом, антисемитизм — более популярной среди нынешнего обывателя неприязнью к ауслендерам — иностранцам, а заголовком любимой темы: «Войска СС — герои или убийцы» — приходится сопровождать знаком вопроса.

Старые камрады как-то приспособились к новым условиям, ушли в мемуарный нацизм. Ну, а что делать молодым камрадам революционно-эсэсовского возраста? Люмпен-пролетариям и люмпен-буржуа, тем, кому не по душе кабинетная пропаганда, тем, для кого она слишком консервативна. Шкодливым школьникам старших классов, недоучкам-студентам, молодым без-

работным бездельникам, ощутившим в себе игру коричневой крови?

Мы не будем столь наивны, чтоб задавать вопросы, почему в Западной Германии 80-х годов, стране безусловно демократической, существуют нацистские проблемы. Как изволил выразиться один из публицистов дореволюционной России, «вопросы эти скользки и неуловимы, как налим, хоть и не так соблазнительны, как налимья уха». Ясно одно, Германия пережила в течение двенадцати лет самый тяжелый недуг за всю историю существования своей нации, недуг, от которого ее избавила кровавая внешняя хирургия. А у смертельно больного меняется не только физиология, но и психология, причем болезни тела лечить легче, чем болезни ума. Говоря о болезнях, мы вовсе не имеем в виду нацистскую паранойю. Для лечения нацизма в разных его вариантах существует только один рецепт — насилие. Для разговора с нацистами существует только один язык — насилие. Другого языка они не понимают, над другим языком они потешаются. Говоря о лечении болезней, мы имеем в виду болезни немецкой демократии, как в ее либеральном, так и в ее консервативном проявлении. Конечно, болезни немецкой демократии возникли не сегодня и не вчера. Они связаны с общими болезнями, общим кризисом европейской демократии. Болезни же европейской демократии связаны с кризисом европейского гуманизма, адресованного личности и механически переадресованного просветителями массам, вышедшим к тому времени на историческую арену. Такой переход невозможно было совершить без декаданса, без упадка моральных и интеллектуальных ценностей, а упадок всегда находит свое воплощение в крайностях. Крайностью же демократа-гуманиста является его представление о преступнике и обществе. Беда не в том, что современная демократия относится к преступнику с чрезмерной жалостью. Это, кстати, скорее миф, чем реальность.

Беда в том, что современная демократия относится к преступнику с пренебрежением и высокомерием, считая его, главным образом, продуктом социальной среды, отказывая преступнику в праве быть личностью. Подобная спесивая недооценка противника связана часто с восторгом перед собственным моральным превосходством, самолюбованием собственными передовыми взглядами, на которых построено здание демократической государственности. Но строить государственное управление на взглядах, пусть самых передовых, еще более опасно, чем на песке.

(Стремлением любой ценой быть обладателем «передовых взглядов» объясняется в какой-то степени увлечение современных интеллигентов-«гуманистов» христианской Нагорной проповедью. Разочаровавшись в «передовых учениях» материалистов, они увлеклись идеализмом: «На зло ответь добром». Ведь это так прогрессивно. Правда, на практике свою щеку под руку преступника они стараются не подставлять. А вот щеку общества — бесперерывно.)

В 1925 году число членов нацистской партии составляло 27 тысяч голов. И, конечно же, из министерских кабинетов Веймара, с университетских кафедр и парламентской трибуны они выглядели смешно. Несмотря на то, что за год до этого Гитлер пытался совершить со своей бандой государственный переворот, в тюрьме ему были созданы условия, позволяющие сочинять библию нацизма «Майн Кампф», а вскоре он и вовсе был выпущен, ибо, по мнению веймарских демократов, принадлежал к «ничтожному меньшинству неисправимых». Восемь лет спустя это «ничтожное меньшинство» захватило власть в стране и ликвидировало безработицу. Рабочих мест было создано столько, что из других стран пришлось гнать эшелоны труженников-рабов. Многие же из бывших безработных усиленно трудились в зондеркомандах СС, уминая сапогами окровавленные трупы, пока труд их не был

механизирован и на смену Бабьему Яру пришел Освенцим.

Факты эти общеизвестны, но сам по себе факт ничему не учит. Факт нуждается в анализе, как пища в переваривании. Когда Гитлер захватил власть, одна из американских радиостанций заявила о нем: «Это рабочий, которому предстоят трудные задачи построения миролюбивой Германии». К чему все это говорится? К тому, чтоб в который раз показать: Гитлер прошел путь от предводителя партии-банды в 27 тысяч до вожака трехсот боевых дивизий не сам по себе, а при пособничестве разнообразных внешних сил. К этим силам, к сожалению, приходится отнести и самонадеянную веймарскую демократию.

Вернемся, однако, из небольшого экскурса в веймарское прошлое в нынешнее боннское настоящее. В мире произошли кардинальные, общеизвестные перемены. Все, что живо, должно меняться, должно приспособливаться к новым внешним условиям. А нацизм в Западной Германии, к сожалению, жив. Увы, он не плод советской пропаганды, как это казалось нам в Советском Союзе при чтении советских пропагандистских материалов. Существует и иное мнение, бытующее в определенных диссидентских кругах: западногерманский нацизм и неонацизм (эти два явления следует различать) инспирирован с провокационной целью советской агентурой. Конечно, аморализм имперско-сталинских интересов не подлежит обсуждению, но подобная постановка вопроса напоминает заявление советской пропаганды о том, что Гитлер — агент международного монополистического капитала.

Нацизм, или национальный социализм есть в Германии явление естественное. И этот факт тоже следует признать, даже если он противоречит желаемому. Нацизм представляет интересы отсталых социальных низов, настроенных реваншистски по отношению к иным сословиям, занимавшим в прошлом или занима-

яющим ныне лучшее положение в обществе. Их идейным оружием является низкосортный однозначный национализм, стремящийся к величию за счет унижения. То есть нацизм — это расизм социальных низов. Внешние силы могут использовать его в своих целях, но создать его они не могут. Точно так же, как и нацизм в зависимости от обстоятельств может использовать в своих целях совершенно разные силы. Ибо нацизм — это не направление, а состояние. Он гораздо более целен и менее утопичен, чем марксизм. Идеи его, конечно, бредовые. Но бред и утопия — вещи все-таки противоположные. Бред — все-таки дело земное, тогда как утопия — дело воздушное. И недаром гитлеризм остался таким, каким был создан, тогда как марксизм, для придания ему земной реальности, пришлось исправлять ленинизмом, а ленинизм — сталинизмом, весьма близким уже к славянской форме фашизма. Во всяком случае, больших идейных затруднений при кратком, но бурном бракосочетании гитлеризма и сталинизма не было. По крайней мере, сталинизму пришлось менять не принципы, а установки.

То, что нацизм — политическая реальность сегодняшней Западной Германии, подтверждают и сами западногерманские официальные лица. Но, несмотря на боннский период немецкой демократии, подтверждают это явно по-веймарски, точно между этими двумя периодами не было ни Освенцима, ни Бухенвальда. Еще 1 марта 1966 года Министерство внутренних дел в Бонне составило по нацистам бухгалтерский отчет с очень удачным, как оно считает, сальдо. В 1966 году в Западной Германии существовало 113 крайне правых организаций с 28 тысячами членов. На тысячу больше, чем было у Гитлера в 25-м году. Каков же из этого вывод тогдашнего министра внутренних дел ФРГ господина Любке? «Через двадцать лет после падения режима насилия лагерь крайне правых не

представляет актуальной опасности для нашего демократического государства».

Все эти данные взяты нами из статьи советского публициста Эрнста Генри. Он, конечно, над этими выводами господина Любке потешается и их опровергает. Приводя данные тогдашних выборов в Баварии и Гессене, он заявляет, что крайне правая партия НДП получила там в двадцать раз больше голосов, чем числится по правительственным данным неофашистов в Западной Германии. Вывод советского публициста: правая опасность, а с ней опасность нового фашизма в Западной Германии возрастает. Вывод, разумеется, достойный матерого волка советской пропаганды. Вместе с тем, просто так отмахиваться от публицистической работы Эрнста Генри под названием «Тень Освенцима», написанной им еще в 1966 году, тоже не следует. В этой связи хочется сказать несколько слов о самом Эрнсте Генри, вернее, напомнить о нем, ибо в свое время он был достаточно известен благодаря вышедшей в 1934 году своеобразной книге «Гитлер над Европой». С вполне допустимым в 34-м году вопросом в конце. Эрнст Генри (настоящая фамилия его, кажется, Ростовский, не в этом суть) был послан в начале 20-х годов в Германию и попал в берлинскую тюрьму Моабит, как сказано в предисловии к его книге, «за участие в революционной борьбе германских рабочих». Не будем распространяться, кем он был послан и с какой целью, но отметим, что с проблемами немецкой политической жизни он знаком не понаслышке. Хочется также отметить, что таких, как Эрнст Генри, в советском пропагандистском аппарате становится все меньше. Умелая, эрудированная марксистская публицистика давно уже вытесняется кабацкой примитивной политической матерщиной современных политических обозревателей типа Ю. Жукова или В. Большакова. Поэтому стоит все-таки попытаться рассмотреть, в чем прав и неправ бывший министр внутренних

дел ФРГ господин Любке, а в чем прав и неправ советский публицист товарищ Эрнст Генри. Впрочем, чтоб сделать проблему более злободневной, сошлемся на недавнее заявление сенатора по внутренним делам Западного Берлина господина Люммера, сделанное им в связи с обысками на квартирах и арестами молодой неонацистской поросли. Несмотря на то, что полиция обнаружила большое количество оружия, боеприпасов, пропагандистского гитлеровского материала и гитлеровских униформ, господин Люммер заявил, что правый экстремизм, тем не менее, не так опасен, как левый.

Нам кажется, что здесь мы приблизились к самой основе этой спорной и важной проблемы, ради которой, собственно, и начали весь разговор. А именно, к дверям берлинских городских туалетов, которые, к слову сказать, в отличие от московских, не говоря уже о рязанских, всегда функционируют исправно и содержатся в образцовой чистоте. Однако нас, как видно из заголовка, интересуют не сангигиенические, а идеологические функции этих туалетов. Стены многих из них густо исписаны определенного сорта пропагандистским материалом, по-тифозному переползшим на чистые туалетные стены со зловонных страниц «Фелькишер Беобахтер» и «Штюрмера».

Гebbельс в свое время сформулировал ряд принципов нацистской пропаганды. Один из них: «Пропаганда должна рисовать черным или белым цветом, так как иначе она не может быть убедительна для людей». Другой: «Необходимо выделять объекты для ненависти». Оба эти принципа нацистского идеолога полностью соблюдены в туалетной пропаганде гитлеровцев 80-х годов. Есть, однако, и нечто новое, и об этом новом следует поговорить особо. Основой существования нацистского унтерменша был зоологический антисемитизм. Без антисемитизма нацистский кишечник перестал бы работать, его бы заперло. Нам ка-

жется, что, если бы осуществился замысел гитлеровских оккультуренных дикарей и евреи были бы уничтожены, антисемитизм все равно был бы сохранен в качестве краеугольного камня нацистского Олимпа. Так исторически сложилось, что евреи олицетворяли вечного врага для средневекового, язычески чувственного клерикально-идеалистического сознания, уцененным вариантом которого является нацистское мировоззрение. Без этого врага нацисту не обойтись. Если его нет, его находят, объявляют, назначают. Возможно, в фантазмагорическом мире «нового» гитлеровского «порядка» евреи были бы назначены из среды славян. Во всяком случае, в своих мечтах о будущем Гитлер заявляет: «Что касается смехотворной сотни миллионов славян, то лучших из них мы превратим в то, что нам хочется, а остальных изолируем в их свинарнях. И любого из немцев, который станет говорить, чтоб о местных жителях заботились и их цивилизовали, мы немедленно отправим в концентрационный лагерь».

Славянским антисемитам, которых радовал гитлеровский геноцид против евреев, а особенно тем изуверам, которые приняли в нем участие, следовало бы знать, что готовил камрад по международному антисемитизму их собственным нациям.

Впрочем, нынешние русские бесноватые, славянские неофашисты, которые под хитрой маской антисионистов по сути легализованы на страницах советской печати, тоже ищут еврея-врага там, где здравый смысл этого себе даже представить не может. Так, битву русского князя Дмитрия Донского с монголами хана Мамаю на Куликовом поле некий В. Кожин объявил битвой русских с «всемирнокосмополитической агрессией». Эзопов язык советской пропаганды — давно уже секрет полишинеля. Еще с конца 40-х годов, когда велась ждановская борьба с «всемирным космополитизмом», мы знаем, что это значит. Даже газета

«Правда» от 1 февраля 1982 года вынуждена была одернуть полуинтеллигента-антисемита В. Кожинова, размышляющего об истории в духе эпилептического сознания героев боготворимого им Достоевского и сделавшего эти размышления публичными на страницах московского журнала «Наш современник». (Когда-то беллетрист Боборыкин в одном из своих романов ввел в русскую словесность ставшее ныне привычным слово — интеллигенция. Боборыкин ныне забыт, а слово осталось. Мы не беремся судить, будет ли забыт публицист Эрнст Генри. На это ответ даст время. Но хотелось бы, чтобы его определение — полуинтеллигент, простое и ясное, также осталось, характеризуя то, что пришло на смену русской интеллигенции, в большинстве уничтоженной, а частью разложившейся, поступившей в услужение к новым хозяевам и воспитавшей таких Кожиновых.) Так вот, даже «Правда» вынуждена была одернуть полуинтеллигента-антисемита Кожинова. Нам, однако, кажется, что подобный окрик хозяина слишком ретивому «антисионисту», «антикосмополиту» — эпизод хоть и положительный, но мелкий. Пока в России жив сталинизм, потребность во всякого рода «антисионистах», «антикосмополитах» и прочих русских неонацистах не исчезнет. А природа нацизма едина, вне зависимости от его национальных особенностей. Возможно, если б современным русским антисемитам-неонацистам удалось овладеть атомной советской империей, превратившись из подручных в хозяев, они попытались бы создать свой мировой порядок, в котором евреи так же подверглись бы геноциду, а немцы заняли бы то место, которое готовил Гитлер славянам. «На восточных территориях я заменяю славянские названия немецкими», — заявлял Гитлер. Мы знаем, что теперь Гофман и Кант являются уроженцами не Кенигсберга, а Калининграда. Вместо города короля это теперь город тверского слесаря с козлиной бородкой. Неизвестно, кому гото-

вил Гитлер худшую участь — евреям, которые должны были исчезнуть из нацистского мира, или славянам, для которых, цитируем: «слово «свобода» означает право мыться по праздникам». Или: «лучше всего, чтоб их обучали одной лишь мимике». Нам кажется, что из такого коричневого мира все-таки хорошо бы исчезнуть вовсе. Но, как мы уже говорили, исчезновение евреев вовсе не означает исчезновения антисемитизма. Для его существования евреи будут назначены из других наций. Несмотря на свою национальную риторику, нацист — явление по сути антинациональное. В определенных обстоятельствах он всегда скорей договорится со своим международным камрадом. И если Гитлеру в его борьбе с Россией помогали русские антисемитствующие Иванушки-дурачки, то сталинской империи в ее борьбе с Германией будут помогать и отчасти уже помогают немецкие антисемитствующие Михели-идиоты, готовые любого не нравящегося им немца объявить евреем. (И уже объявляют, мы в этом убедимся.) Этим и интересна пропагандистская риторика берлинских городских туалетов.

Принято считать, что нацизм — движение правое и антикоммунистическое. Да, в силу исторических и социально-психологических обстоятельств, нацизм начинал именно так. Надо, однако, понимать, что непреходящей сутью нацизма является его зоологический антисемитизм как политическая идеология, его предельный антидемократизм и его жадное плебейское властолюбие. С какой же стороны рваться к власти, справа или слева, зависит исключительно от причин внешних, которые могут меняться. Как во всяком искусстве, а нацизм — это искусство, хоть и низкосортное, графоманское, существуют те, кто при любых условиях придерживается прошлого, не может оторваться от своей правой антикоммунистической традиции. Но есть и нацисты-авангардисты — главным образом, молодежь, — которые ищут новых

путей и пишут о том свои манифесты на стенах туалетов. Впрочем, ведь и традиционный гитлеровский нацизм сумел вступить в пусть недолгий, но все-таки союз со сталинским коммунизмом. Да и в современной России русские монархо-клерикальные нацисты типа Кожинова, Бегуна, Пикуля и им подобных сотрудничают с коммунистами сталинского типа, а сталинизм своей бешеной антизападной и антиссионистской (читай антисемитской) пропагандой предоставляет им богатые возможности. Так много ли невероятного в том, что для своего сотрудничества современные немецкие неонацисты-авангардисты, в отличие от своих нацистских традиционных собратьев, избрали крайне левые силы, весьма пестро усеявшие политическую сцену Западной Германии? Конечно, ожесточение Второй мировой войны сделало легализацию такого сотрудничества более затруднительной, чем во время сталинско-гитлеровского пакта. Но для тайного брачного союза никаких препятствий по сути нет. Выражаясь языком Геббельса, важнейший пропагандистский принцип соблюден. «Объект для ненависти» — общий. Палестинские платочки крайне левых легко сотрудничают с нацистской униформой, а антизападных (в немецком варианте — антиамериканских) настроений хоть отбавляй.

Безусловно, уроки прошлого не проходят даром. Уже упомянутый советский публицист Эрнст Генри так описывает крайне правую партию 1966 года НДП, которая, по его мнению, представляет большую угрозу для демократической Германии и мира в Европе: «Свастики члены НДП на рукавах не носят, на собраниях голосуют, поднимая левую руку, чтоб не было похоже на гитлеровский салют. Коричневый цвет в партии под запретом. Эндеки торжественно заявляют, что они не фашисты, не заговорщики и даже не антисемиты. В нынешней Германии еврейской проблемы нет». С последним заявлением можно согласиться.

В Германии нет еврейской проблемы, потому что нет евреев. Ведь нельзя всерьез принимать микроскопическую кучку эмигрантов, в большинстве своем достаточно низкого интеллектуального уровня и без всякого серьезного положения в обществе. Смешно даже сравнивать эту кучку с сильным и влиятельным еврейским национальным меньшинством Германии догитлеровского периода, поставлявшим в немецкую культуру, в немецкую науку, в немецкую промышленность и экономику и даже в немецкую политическую жизнь выдающихся деятелей, имена которых столь общеизвестны, что их не стоит даже перечислять. Недаром черносотенцы, эти начинающие фашисты царской России, называли Берлин мировым еврейским центром. Это было, но этого никогда больше не будет. Историю, как и жизнь, переиграть нельзя. Но нацистские и неонацистские шулера пытаются это сделать на свой манер. Причем, если раньше их антисемитизм можно было объяснить завистью плебеев, то чему и кому завидовать теперь? Дело, очевидно, не только в зависти и не столько в зависти, сколько в невозможности общаться друг с другом на ином языке, кроме антисемитского. Поэтому, как мы уже говорили, если нет евреев, их выдумывают. (К слову сказать, то же происходит и в Польше. Польша, которая несколько веков служила как бы академией славянского антисемитизма, изгнав остатки евреев, уцелевших после гитлеровского геноцида, сама обрубила сук, на котором держался польский шовинизм, необходимый для национального единения в кризисных ситуациях. Поэтому в Польше сейчас евреев выдумывают и вынуждены назначать их из собственной среды. Слава Богу, наконец-то знаменитый польский антисемитизм стал внутренним делом самих поляков.)

Эрнст Генри называет действия НДП маскировкой, так как НДП попыталась сохранить правый национализм, но обойтись без антисемитизма. А почему,

собственно, маскировка? Не вникая в проблемы национально-демократической партии, хочется сказать: что плохого, если даже крайне правая партия учла уроки прошлого и отказывается от одного из важнейших нацистских принципов — антисемитизма или от паучьей свастики, символа ненависти и дикости? Ведь в современных берлинских туалетах, где маскироваться не надо и где неогитлеровец-авангардист снимает не только штаны, но и маску, стены густо испоганены свастикой, исписаны антисемитскими лозунгами, но антикоммунистических лозунгов не найдешь. Тоже маскировка? Мы, кстати, об отсутствии антикоммунизма в левом неонацизме не сожалеем. В конце концов, можно не разделять коммунистических взглядов, но вряд ли здравомыслящего человека мог радовать пещерный гитлеровский антикоммунизм. Он может быть по душе разве что личностям типа казачьего атамана Краснова, который, ослепленный своей ненавистью, пошел вместе с Гитлером уничтожать «евреев-большевиков», в действительности же превращать русских в безграмотное вымирающее стадо. Гитлер прямо заявил: «Современная Россия держится на евреях. Уничтожим евреев, и Россия перестанет существовать». Оставим на совести маньяка его рассуждения, на чем именно держится Россия. Но свою конечную цель он указал ясно. Нет, мы против пещерного антикоммунизма, антикоммунизма любой ценой. И дело не в том, что левые неонацисты, оставаясь антисемитами, порвали с антикоммунизмом гитлеровского образца. Дело в том, что при этом они ищут контактов с коммунизмом сталинского образца, ищут нового перемирия нацистской и коммунистической пропаганды, наподобие сталинско-гитлеровского альянса, для борьбы с «объектом общей ненависти», каким являются для обеих западный демократический строй, причем на данном этапе именно в его консервативной форме.

Вот образцы пропагандистских туалетных надпи-

сей: «Juden lügen immer — евреи врут всегда. ХДС — тоже. Свободные демократы — тоже. ХДС — вон. Lummer — polnischer Jude. Люммер — польский еврей. Польский еврей — убийца. Убийство 22.9.81». (Об этой дате, общей для неонацистов и левых радикалов, мы поговорим ниже.) Все это густо приправлено свастикой разных размеров и новым символом: круг перечеркнут зигзагом — молнией со стрелой на конце (эсэс плюс электрификация, что ли?).

Какие бы ни были коммунисты 20-х годов, но именно они, наряду с евреями, служили главным объектом нацистской ненависти. Да и социал-демократам доставалось. Ну, с современными коммунистами более или менее все ясно. Но почему социал-демократы утратили право на зоологическую ненависть туалетного нацистского подполья? Почему они уступили эту честь более консервативным правым партиям? Почему, требуя отправить в концлагерь турок и других иностранцев, нацисты сопровождают это ненавистью к крайне правому деятелю Штраусу, а не к крайне левому Эпплеру. Это и есть как раз основа тех самых скользких рыбьих вопросов, о которых мы уже упоминали. Впрочем, если коричневые готовы к тайному браку с красными, то тем более они способны к сотрудничеству с «зелеными». С теми самыми «зелеными», с которыми в телеинтервью выразил готовность сотрудничать левый социал-демократ Эпплер. Сотрудничать для того, чтоб любой ценой «остановить Штрауса». Идеологические основы «зеленых» расплывчаты — борьба за чистоту окружающей среды. Правда, они собираются защищать окружающую среду от Штрауса и НАТО. Но это как раз та платформа, к которой можно примкнуть с разных сторон — как к любой окружности, с чистым пространством посередине. Можно туда вписать любой символ, от свастики до красной звезды. (Начинающие эсэсовцы

окружность электрифицировали, может быть, намекая на высоковольтную ограду концлагерей?)

Насколько мы поняли, в западноберлинском варианте «зеленые» именуются «альтернативными». Они имеют даже несколько своих представителей в берлинском Сенате. Рядом с буржуазными или социал-демократическими депутатами в пиджаках и галстуках «альтернативные» выглядят такими разnochинцами, если воспользоваться русским термином. То есть людьми отрицательного направления. Галстуков они не носят, одеваются на заседания Сената по-домашнему или как для загородной прогулки. Ковбойки, потертые свитера, спортивные пиджаки. Примерно так, но по моде своего времени, одевались в России сто лет назад «народники», то есть выходцы из буржуазной или мелкобуржуазной среды, стремящиеся опуститься в социальные низы для того, разумеется, чтоб эти социальные низы возглавить. Мы, конечно, далеки от мыслей приписывать «альтернативным», особенно их верхам, антисемитские настроения. Но зато они предоставляют в распоряжение неонацистов-авангардистов другие богатые возможности, которых крайне правые, даже крайне правые с традиционным нацистским уклоном, не в состоянии им предоставить. Они дают им улицу, эту основу жизнедеятельности молодого нацизма, где штурмовик-хулиган проходит школу на пути к зрелому эсэсовскому убийце. Они дают в их распоряжение массу определенного сорта, и если неонацисты не могут еще ею овладеть, то, по крайней мере, они могут в ней существовать и с ней общаться. После одного из террористических актов в Западном Берлине, взрыва бомбы в еврейском ресторане, «альтернативные» выступили с заявлением, что это произошло в атмосфере, созданной реакционным Сенатом ХДС. Нам не хочется идеализировать ни Сенат, ни правящую партию ХДС. Наверно, есть немало поводов для критики их деятельности. Но проблема состо-

ит в том, кто критикует, как критикует и для чего критикует. Неонацисты в своей туалетной пропаганде, например, пишут: «ХДС — полицейское государство». Это звучит даже смешно: последыши Гитлера — против полицейского государства. Вообще, в туалетной нацистской пропаганде немецкая полиция подвергается всяческим оскорблениям. В принципе, полиция — конечно, тоже не та организация, которую следует идеализировать. Но почему она нравится нацистам гораздо меньше гестапо, понятно. Настораживает другое. Совпадение «объектов ненависти» у левых в их легальной и у нацистов в их туалетной пропаганде. Недавно на берлинской Курфюрстендамм были выставлены столики социал-демократов и собирались подписи у прохожих против «Белого креста», организации помощи полицейским, раненым в схватках с «мирными демонстрантами», «борцами за мир». И туалетные надписи также борются против «Белого креста», дополняя эту борьбу заявлением, что «Белый крест» — еврейская организация и все евреи — полицейские осведомители. Никто не собирается ставить под сомнения достоинства одной из старейших политических партий Германии, ее заслуги в построении послегитлеровской демократии. Мы вообще не намерены становиться на какую-либо партийную точку зрения. Для нас в равной степени приемлемы все демократические партии Западной Германии. Мы хотим лишь сказать, что определенного сорта личности, которые при прошлой конъюнктуре могли примкнуть к христианским демократам справа, ныне примыкают к социал-демократам слева.

Для того, чтобы в этом убедиться, побываем на одной из многочисленных демонстраций борцов за мир, против американских ракет в Европе, либо под другими лозунгами. Проблем, разумеется, в нынешнем мире и в нынешней Западной Германии хватает, как хватало их в Веймарской республике. Безработица,

случаи коррупции, нехватка дешевого жилья, бюрократия и прочее. Гитлеровцы в свое время ловко манипулировали этими проблемами, чтоб пробраться к власти. Но главной немецкой национальной проблемой тогда была борьба против Версальского договора. Именно антиверсальская демагогия дала нацистам массу. Похоже, что ныне разношерстная масса так же охотно стекается под знамена «борцов за мир». Атомная война для расположенной в центре Европы Германии сегодня есть главная национальная беда. Впрочем, для кого она не беда? При этом следует, однако, знать, что всякий агрессор, особенно пока он еще незрел и слаб, использует «борьбу за мир», вернее — страх перед войной, для своего созревания и укрепления. Достаточно вспомнить, как использовал в 30-х годах Гитлер страх перед войной. Помнится также грандиозная по масштабам сталинская «борьба за мир» в конце 40-х — начале 50-х годов. Впрочем, «борьба за мир» неосталинистов не уступает ни размахом, ни энтузиазмом масс. Откуда же этот энтузиазм? Ответ дает английский писатель Голсуорси, автор знаменитой «Саги о Форсайтах», точно изобразивший психологию уличного агитатора. Наставляя своего коллегу, отправляющегося на митинг, он говорит: никаких мыслей, народу нужен только пафос.

И действительно, пафоса у пацифистов хоть отбавляй, мыслей же и на спичечный коробок не наскребешь. А анализ, даже элементарный, отсутствует вовсе. По крайней мере, тем, кто собирается бороться против будущей войны, следует знать, как начинались войны прошлые. Гитлер начал войну, потому что он не сомневался в победе. Без этого агрессивного идеализма невозможно понять дикий реализм гитлеровских преступлений. Поэтому у будущих агрессоров такую уверенность надо отнять. Вот единственно реальный способ борьбы за мир, который, конечно же, для западных пацифистов не приемлем, ибо превращает их

в безработных. А в Советском Союзе пацифисты действительно безработные. Нам довелось слышать на политзанятиях в армии, как политрук это сформулировал: «Мы голубя мира из армии демобилизовали».

Но на Западе «голубь мира» весьма когтист. Масса выходит на улицу под мирными лозунгами, но почему-то множество подобных демонстраций оканчивается драками, битьем стекол, поджогами и прочими атрибутами уличной анархии. Именно во время такой берлинской демонстрации 22. 9. 81 попал под автобус Ратенау, молодой безработный, возведенный после смерти в ранг святого — как левыми, так и неонацистами. Конечно, всякая смерть, особенно молодая, прискорбна. Восемнадцатилетний Ратенау, судя по сообщениям газет, не берлинец. Он приехал, якобы в поисках работы, наподобие многих молодых людей определенного сорта, которые со всех концов ФРГ съезжаются в Западный Берлин. Впрочем, может быть, некоторые из них, в том числе Ратенау, действительно ищут работу, хотя непонятно, почему они съезжаются для этого в город-остров? Мы много слышали в Союзе о безработице на Западе. Безработица действительно существует, но даже с первого взгляда становится ясно, что состав безработных весьма пестр. Наряду с людьми, стремящимися получить работу, существуют и те, кого в Союзе именуют тунеядцами. Речь идет не о людях, которым это звание присваивают по политическим соображениям, а о действительных тунеядцах, то есть о деклассированном элементе, не умеющем и не желающем работать. Этот-то деклассированный элемент и составляет ударный отряд «борцов» то ли за мир, то ли за нечто иное. Например, за жилье. О проблемах жилья никто не спорит. Цены на квартиры высокие, и, хоть люди с низким заработком получают социальную помощь на оплату квартиры, это не оптимальное решение. Да и злоупотребления существуют. Мы, однако, будем

говорить не о самой жилищной проблеме, с которой недостаточно знакомы, а, придерживаясь нашей темы, о тех, кто использует ее в своих демагогических целях. Не о семейных нуждающихся людях, а о молодых повесах, которые самовольно захватывают предназначенные для ремонта дома и создают в них «коммуны». (При социал-демократическом Сенате в Западном Берлине было более сотни таких захваченных, «коммунистических» домов. На фасадах этих домов красуются лозунги и пятиконечные звезды.) Какого рода это «коммуны», легко себе представить. Недавно по западноберлинскому телевидению передавали репортаж из одной, вполне обеспеченной, живущей в хорошей квартире семьи, где пятнадцатилетняя дочь объявила родителям, что не желает жить с ними и уходит в такую «коммуну». И мать не стала ей противоречить. Свобода. Какое воспитание получают маменькины сынки и дочки от совместного «коммунистического» проживания с отпетыми уголовниками, хулиганами и наркоманами, наглядно демонстрирует уже упомянутая «борьба». Недаром в обсуждении жилищной проблемы принимает участие и неонацистская пропаганда, объявившая на стенах берлинского туалета по Вильмерсдорфштрассе: «Полтора миллиона без крыши над головой». И вместо подписи свастика. Судя по всему, свою обличительную статистику по жилищному вопросу неонацисты тоже получили из левых источников. Подобными сведениями о жилищном кризисе и безработице на Западе пестрит советская печать. И это пишется в стране, которая совершенно ныне разорена, ибо на сталинское колхозное уродство в последнее десятилетие наложилась космических масштабов гонка вооружений. Для понимания масштабов этой гонки не надо обладать никакими секретными сведениями. Достаточно человеку, знавшему московские магазины не то что десять, а даже пять лет назад, войти туда ныне и посмотреть на прилавки. Только пра-

вительство безнравственное и антипатриотичное может так поступать со своим народом. Это то самое правительство, о благополучии которого заботится левый социал-демократ господин Эпплер, с тревогой заявляющий, что из Западной Германии до Кремля ракета летит всего пять минут и для предотвращения подобного положения нужны переговоры о мире. И демонстрации «за мир».

Мы присутствовали на нескольких демонстрациях из творческих соображений, хоть занятие это весьма не безопасное. Летят камни, летят бутылки, да и полиция бьет. Но начинаются такие демонстрации эпически: с речей и знамен. На одном из знамен красного цвета изображен Карл Либкнехт, на другом — красно-черного цвета — уже упомянутый нами Ратенау, на третьем — беленьком штандарте — просто написано: теннисный клуб «Боруссия». Но у нас есть предположение, что эти «теннисисты» как раз и пописывают в туалетах в свободное от иных проделок время.

До начала демонстрации долговязые юнцы пьют пиво из бутылок, горланят какие-то песни и, как бы проверяя — на месте ли, — демонстрируют кастеты и ножи. Среди них есть и некто постарше. Он не пьет пива, не поет песен, ведет себя тихо. Что-то скажет одному, что-то скажет другому. Еще бы, ситуация легальная. Демонстрация за мир, совместно с коммунистами, «альтернативными» и прочими левыми. Так, наверно, Риббентроп во время сталинско-гитлеровского пакта шептал на ухо какому-нибудь разбушевавшемуся Штрейхеру, порывавшемуся в пивном угаре петь на приеме в советском посольстве «Хорст Вессель» — песенку в честь коричневого «мученика» 20-х годов, который, подобно современному Ратенау, погиб в драке с полицией. Повторяем, мы не знаем, как погиб Ратенау. Одни говорят, что он погиб, пытаясь выбить стекла в том самом автобусе, под колеса которого попал. Другие, более левые и либеральные, гово-

рят, что он мирно демонстрировал и стал невинной жертвой. (Мирно демонстрировал во время не мирной демонстрации.) Как погиб Ратенау, мы не знаем, но то, что он объявлен неонацистами святым, наподобие Хорста Весселя, это факт. И «альтернативные» тоже надели в его честь траур и выступили по этому поводу с речами в Сенате.

Советский публицист Эрнст Генри пишет: «Если в тридцатых годах обедневшая мелкая буржуазия двигалась большей частью вправо, то теперь значительные контингенты среднего класса на Западе поворачивают влево». В другом месте он пишет: «Партия Гитлера выросла в двадцатых годах на дрожжах немецкой мелкой буржуазии, обедневших и озлобившихся в период экономической разрухи обывателей-мещан». И с первым, и со вторым определением можно было бы согласиться, если б под обывателями-мещанами Эрнст Генри понимал не только «лавочников, торговцев, служащих, со стоячими воротниками, антисемитских полуинтеллигентов, зажиточных крестьян», которые, конечно, примыкали к движению, но, главным образом, националистически настроенную массу рабочих, особенно молодых, которые и составляли костяк СА — штурмовиков, «рабочую охрану». Можно согласиться с определениями, но не с выводами Эрнста Генри, а именно: «ныне с перемещением этих слоев влево нацизм потерял контроль над массой». Бывшие правые, традиционно фашиствующие массы действительно, учитывая новые исторические обстоятельства, переместились влево. Но сути своей от этого они не изменили. (Насколько нам известно, ныне крайне правая партия НДП вообще исчезла с политической сцены Западной Германии. Зато расплодилось большое число левых группировок. Их поддерживает не более 8—10% населения. Для победы или даже для серьезной оппозиции этого явно недостаточно, но для создания всякого рода шумных оппозиционных фракций в местных

правительствах и, тем более, для шумных уличных шествий этого вполне хватает.) Мы убеждаемся, к сожалению, что леворадикальный бульон современности может служить такой же средой для возрождения нацистской чумы, как и праворадикальный бульон 20-х годов. Конечно, прямая историческая аналогия сегодня невозможна, да и сил пока не достаточно. Все-таки нацизм потерпел сокрушительное поражение и публично обличен. Откровенно нацистские партии в Западной Германии запрещены. Ну, а как быть с теми, кто сочетает нацистские действия с ненацистской (иногда даже антинацистской) фразеологией? Которые устраивают «хрустальные ночи» под «прогрессивными» лозунгами? В одну такую «хрустальную ночь», вернее «хрустальный поздний вечер», были выбиты витринные стекла почти на протяжении всего Курфюрстендамма. Для того чтоб пройти это расстояние нормальным шагом, нужно не менее сорока минут. Для того чтобы выполнить погромную работу на широкой улице — не менее часа. Спала берлинская полиция или не могла справиться с левыми штурмовиками? Одно не лучше другого. Следует сказать, что с приходом к власти «реакционного» Сената уличный разбой в значительной степени пошел на убыль. Это факт, а не какая-нибудь партийная пристрастность. Этого не сможет отрицать и бывший бургомистр Западного Берлина социал-демократ господин Фогель. Стекла опять вставлены. Что поделаешь, у буржуазии оказалось больше стекол, чем у люмпен-пролетариата камней. Но это не помогло люмпен-пролетариату осознать ошибочность своих методов. Тем более не признал ошибок передовой отряд люмпен-пролетариата — неонацисты.

Нацистская чума сейчас проходит свой инкубационный период в туалетах, лишь изредка выползая на открытое пространство. Нам доводилось видеть на главной улице Западного Берлина Курфюрстендам-

ме кучку юнцов примерно того облика, как и те, что участвовали в демонстрации «за мир» под штандартом теннисного клуба. На Курфюрстендамме, без левого прикрытия, в чистом своем виде они шли, поволчьи озираясь, с нарукавными повязками DAF — Deutsche Arbeit Fraktion — немецкая рабочая фракция, в переключку с гитлеровской «немецкой национал-социалистической рабочей партией». Впрочем, некоторое левое прикрытие у них было: лица свои они прикрывали палестинскими клетчатыми платочками, любимым предметом немецкой левой молодежи.

Вот такие по-рыбьи скользкие вопросы, и такая из них получается неароматная «рыбья уха».

Конечно, нам могут возразить, что мы люди со стороны, из другого мира и поэтому не можем судить о внутренних немецких проблемах. На это можно ответить: во-первых, проблема нацизма во всех его проявлениях не является внутренним, семейным делом Германии, а во-вторых, мы не собираемся исчерпывать весь этот материал, мы не занимаемся глубоким анализом всего комплекса внутренней немецкой политической жизни. Для подобной деятельности, надеемся, найдутся в Германии свои специалисты. Мы высказываем только свое впечатление. А свежее, не затуманенное привычкой впечатление, как и серьезный анализ, всегда плодотворней серой середины, монотонного наукообразного переваривания действительности. Однако, наряду с впечатлением о современной немецкой политической действительности, мы надеемся опереться также на общие законы политической жизни. В частности, психологические законы всякого массового движения, о которых писал еще известный русский социал-демократ Плеханов.

Кстати, о русской социал-демократии. Россия слишком долго находится под властью левого радикализма, и резкий крен вправо может быть катастрофичен, как это случилось в семнадцатом году при пере-

ходе от абсолютной монархии далеко влево. Подобное политическое землетрясение ведет к разрушению не только общественно-государственной структуры, но и национального сознания. Поэтому, по нашему мнению, для России социал-демократы могли бы сыграть особенно важную роль. Но при этом не хотелось бы, чтоб новые русские социал-демократы повторяли как ошибки своих предшественников, так и ошибки своих немецких товарищей.

Однако вернемся к мыслям Плеханова о массовом движении. В данном случае речь идет о массовом движении не в том смысле, что оно представляет большинство населения, а в том, что оно может проявлять себя лишь скопищем, толпой. Толпой, в которой каждый в отдельности ничто, а все вместе — всё. Так вот, массовое движение всегда состоит из разнородных элементов. И поэтому весьма важен принцип объединения. Объединение за что-то или объединение против чего-то. К сожалению, левый социал-демократ господин Эпплер, не говоря уже о деятелях «альтернативы», объединяются именно по принципу — против. Против Штрауса, против Люммера, против американских ракет. (Некоторые из них для равновесия, правда, пытаются говорить и против советских ракет. Но против советских ракет они используют слова, а против американских — дела.) Вот такой принцип — против. Этот принцип и есть та основная причина, по которой левые деятели попали в дурную компанию с нацистами. Конечно, они не желают подобного признавать и в случае чего постараются найти множество аргументов, чтобы это опровергнуть. Но факты туалетной неонацистской пропаганды не дадут им это сделать. «Объекты общей ненависти» видны невооруженным глазом. Однако главная беда не в этом. В конце концов, каждый сам бережет свою честь и каждый сам выбирает себе партнеров. Главная беда в том, что их деятельность, будем надеяться — вопреки их желанию,

способствует успешной перегруппировке неонацистских сил на политической сцене. В чем с бывшим министром внутренних дел ФРГ господином Любке и с нынешним сенатором по внутренним делам Западного Берлина господином Люммером действительно можно согласиться, так это в том, что правая опасность для Западной Германии ныне не актуальна. Сколько бы не возникало правых группировок, массы у них нет. Гитлер сумел пройти путь от предводителя небольшой банды к вождю фашиствующих масс в короткий срок потому, что масса, как это верно заметил Эрнст Генри, в 20-е годы двигалась вправо. Теперь эту массу традиционный нацизм потерял, ибо она переместилась налево. Правые могут подложить бомбу, выстрелить из-за угла, но они не способны ныне организовать уличное погромное шествие. Неонацизм теперь движется слева, из глубин левого экстремизма, и объединение по принципу «против» его вполне устраивает. Пожертвовав антикоммунистической риторикой, он сохранил свастику и антисемитизм. Конечно, нельзя сказать, что среди нацистов нет антикоммунистов. Но на данном этапе коричневым выгодно выступать в двух ипостасях. Традиционной, правой, перекликающейся с тенью Бормана в латиноамериканских джунглях, и левой, авангардистской, ведущей незримый диалог с совершенно иной средой. Противоречия между этими двумя ипостасями современного нацизма нет, но у каждого свой путь к Четвертому Рейху. Мы сосредоточились на левом нацизме, ввиду его больших возможностей и меньшей изученности.

Итак, налицо преступники и налицо преступление. Ну, а каково наказание? Оно вполне в духе традиционного веймарского правосудия, выпустившего из тюрьмы людоеда Гитлера, как при кайзере Вильгельме выпускали подравшегося в пивной за девку солдата. В качестве одной из мер некий депутат западноберлинского Сената, кстати, от ХДС, предложил проде-

монстрировать юным нацистским прохвостам кадры нацистских концлагерей с тем, чтобы, увидав содеянное своими предшественниками-камрадами, эти юнцы опомнились и образумились. Ну, не наивно ли? Тем, кто пишет в туалетах: «евреев в концлагеря», — показывать, как в этих концлагерях сжигают еврейских детей. Единственное чувство, помимо чувства удовлетворения, которое могут юные головорезы испытать, это чувство досады, что родились они слишком поздно, во времена «реакционного» берлинского Сената и отвратительной, подкупленной евреями берлинской полиции, а не во времена рейхсканцелярии и СД, особенно отдела Б-4 гестапо во главе с Эйхманом.

Разумеется, путь к исправлению никому не заказан. Может быть, кое-кто из этих юнцов, повзрослев, осознает свою дикость и раскается. Вот тогда ему можно будет показать документы гитлеровских злодеяний. Но, по нашему мнению, первоначально все-таки лучше показать туалетным пачкунам нюрнбергские виселицы и обгорелый труп Гитлера. Показать, не с чего камрады начинали, а чем они кончили.

Живя в Союзе, мы слышали, что у западных немцев существует комплекс вины за совершенные Гитлером от их имени преступления. Да, это действительно так, но с одной оговоркой. Чувство вины испытывают как раз те немцы, которые менее всего повинны в злодеяниях. Те же, кто прямо или косвенно сопричастен к злодеяниям, в большинстве своем никакого чувства вины не испытывают. Эту окаменевшую эсэсовщину в результате изложенных нами социально-общественных причин орошают теперь слева. И вот первые результаты: безупречно чистые стены берлинских городских туалетов воспалены болезненной нацистской сыпью.

Конечно, нацистские зародыши еще слабы. Для того, чтоб их уничтожить, надо не столько проявить смелость, сколько подавить в себе чувство брезгли-

ности. Однако время не ждет. Прискорбно, но национально-исторические особенности таковы, что если бы нацизм возник вновь, то это случилось бы не в Дании, не в Англии, не в Турции и даже не в Китае, а в обладающей гитлеровскими традициями Германии или в обладающей сталинскими традициями России. Преувеличение? Фантазия? Оглянитесь назад и подумайте, как бы выглядел тот, кто в 1913 году предположил бы события семнадцатого или тридцать третьего года? Имеется в виду не психологическая игра ума. Такой игры, таких пророчеств было более, чем достаточно. Сейчас говорят: пророков не слушали, вот и поплатились. А о чем пророчили пророки? Бесовщина? Подпольные пятерки? Романтические убийства в темных каменных гrotах? Всё знали, всё предполагали, а оказались захваченными врасплох. Почему? Да потому, что великие книги прочли, а малыми побрезговали. Например, «Эскизы без теней», очерки ныне забытого Наумова о сибирском крестьянстве. Особенно эскиз о том, как крестьяне жгут на кострах воров, пока мясо не отвалится от костей. Это уже не сладострастный садизм достоевщины, в котором общество искало дно мирового зла. Это даже не убийство, а поварская работа, возврат к каннибализму, который никогда не исчезал из народного чрева и у цивилизованных наций, не говоря о нациях азиатских.

Думаем, и в немецкой литературе было немало скромных книг, которые следовало бы прочесть тем, кто решил заниматься политической деятельностью в народный XX век. Ибо политические фантазии XX века брали свой старт в дворницких, на постоянных дворах, в ночлежках и прочих местах обитания низшего сословия. Когда развеялся дым, оказалось, что вожди-интеллектуалы таскали каштаны из огня для дворников. Эта тенденция, к сожалению, не изменилась и ныне. В конце концов, дворницкая не там, где стоит метла и воняет кислой капустой, а там, где си-

дит дворник, даже если он занимает самый высокий правительственный кабинет.

Подобная политическая фантазия, вернее, политическая фантастика не имеет предела, и своим апокалипсическим реализмом подчас превосходит самые кошмарные сны. Вплоть до Четвертого Рейха, возникающего в критический момент на эксплуатации страха перед атомной войной и поддержанного сталинской империей в общей борьбе с западной демократией. Тем более, что ключи к объединению Германии в руках сталинистов и они тоже могут служить приманкой. Впрочем, может, к тому времени сталинизм уже будет заменен классическим славянским фашизмом, которому сталинизм проложил дорогу. Такая неофашистская ось Москва — Берлин выглядела бы в будущем для московского империализма гораздо предпочтительней худосочных связей с вечно бунтующей Польшей или с балканскими провинциальными странами. Геополитически такой союз вполне мог бы противостоять незрелому Китаю на Востоке и перезрелой Америке на Западе.

Такова фантазия и таковы ее фантастические даты — например, 1 сентября 1999 года. Но вернемся к нашему календарю. Что мы видим сегодня? Своеобразное отражение прошлого пакта между сталинизмом и гитлеризмом, оппозиционный демократическому строю союз красной звезды и свастики — неоспоримая реальность сегодняшнего дня Западной Германии, хоть подписан он пока всего лишь на стенах берлинских городских туалетов. Идейным оружием партнеров является обличение несовершенств западной демократии, и на этом принципе «против» формируется весьма пестрая, хоть и не всегда зримая коалиция. Но нам, обладающим опытом «потусторонней жизни», нам, выбравшимся из «братской могилы» неправового государства, хочется сказать: рая на земле не бывает,

но ад на земле вполне реален. В условиях нарастающего экономического кризиса и военной напряженности, туалетные черви при леворадикальной подкормке могут вырасти в опасных рептилий, питающихся человеческой кровью.

А Берлин, по крайней мере Западный Берлин, вопреки нашим представлениям, навеянными кошмарным прошлым, оказался зеленым прибалтийским городом, в котором столичность удивительно сочетается с провинциальным уютом. Это тоже наша родина, потому что мы родились повсюду, где только плодоносила европейская, библейско-христианская культура. Трудно поверить, что нацистские дикари-огнепоклонники плясали здесь вокруг подоженного ими рейхстага и так увлеклись игрой с огнем, что на глазах у оторопевшего человечества по-каннибальски сожгли тонны человеческого мяса: старого, молодого, детского...

Последними словами Гёте перед смертью были: «Больше света». Какими были последние слова Гитлера, мы не знаем, но ясно, что, сам сгорая в разожженном им пламени, он завещал пепел, он завещал ненависть, он завещал чуму.

История глупа, она ничему не учит. Однако Библия объясняет, как сохранить мир в чистоте и здравье.

Западный Берлин.
Апрель 1982 года.

НОСОРОГИ ЗА РАБОТОЙ

Кирилл Хенкин

РУССКИЕ ПРИШЛИ!

В этом фрагменте автор еще раз, после своих «Заметок о радиостанции 'Свобода'», опубликованных в тридцатом номере нашего журнала, касается затронутых в них проблем. Пользуясь случаем, мы с сожалением констатируем, что за прошедшие месяцы положение на упомянутой выше станции катастрофически ухудшилось. Неопределенное положение, в котором она оказалась (вещание на Советский Союз до сих пор остается без квалифицированного руководства), позволило службе дезинформации КГБ развернуть здесь абсолютно безнаказанную деятельность. Только в условиях полной политической деморализации могло случиться, что бывшая учительница музыки в начальной школе занимается на станции проблемами самиздата (это в то время, когда добрый десяток известнейших правозащитников не могут найти работы), заштатный дипломат, представляющий собой нечто безымянно серое даже для собственных соседей, цензурирует лауреатов Нобелевских премий, а отставной то ли курьер, то ли вышибала американского посольства в Тегеране ведает интеллектуальными вопросами. «Тамиздатом» здесь также заведует человек, насколько нам известно, никогда не имевший никакого отношения к литературе: в результате русские писатели, по тем или иным причинам покинувшие родину, попадают от одних неквалифицированных «вершителей» своих творческих судеб к другим, еще более неквалифицированным.

Таким образом, на «Свободе» образовалась (по худшим советским образцам) несменяемая номенклатура, со всеми вытекающими из ее психологии последствиями. Неудивительно поэтому, что в сложившейся здесь ситуации оказалось возможным появление у микрофона обозревателей вроде господина Д. Симеса.

Р. С. Номер «Континента» был уже набран и готов к печати, когда, наконец, радио «Свобода» получило нового директора — Джорджа Бейли, американского писателя и журналиста, прекрасно владеющего русским и несколькими восточно- и западноевропейскими языками, знающего специалиста по проблемам СССР и Восточной Европы и — до своего назначения — члена редколлегии нашего журнала. Мы желаем ему успеха, сознавая всю историческую важность стоящих перед ним задач.

Редакция

Глава из одноименной книги. См. «Континент» №№ 22, 25.

Так уж повелось думать, что только рука Москвы не дает нам объединиться на единой среднеполитической платформе монархо-марксизма и православно-го иудаизма, чтобы сообща, вдохновясь принципами однопартийного плюрализма и авторитарной демократии, разрабатывать альтернативные варианты политико-общественных структур постсоветского общества.

Главным аргументом в пользу единства является мысль, что Москва его страшится. Да что может быть выгодней для Москвы, чем собрать нас всех в кучу и контролировать из одного центра!

*
*
*

Так для чего же был нужен наш выезд?

Не для того ли, чтобы дезинформировать и дезориентировать Запад, укрепить позиции СССР во внешнем мире, влиять на него?

Пустое, скажут мне, наш выезд кругом невыгоден Советам!

(Один из возможных доводов против моей концепции сразу вынесу за скобку, ибо он не подлежит ни опровержению, ни обсуждению: «лишая страну светлых еврейских голов, *они* снижают ее интеллектуальный потенциал».)

Есть концепция «выпускания пара». Внутри страны мы создавали опасное давление. От одного неглупого человека приходилось слышать, что, даже отпуская пачками деятелей, скажем, подпольной тбилисской или харьковской легкой промышленности и сферы бытового обслуживания, налетчиков из Ленинграда и притонодержателей Одессы, цвет Молдаванки и Подола, советские власти избавлялись от потенциальной

оппозиции. Но не хватило бы у советской власти на такую оппозицию милиции и ОБХСС?

Один проживающий в Израиле диссидент сказал мне, что, не вдаваясь в анализ проблемы, знает точно, что лично его власти выпустили из страха перед крупными неприятностями. Постоянно убегая от КГБ, он ставил высшие чины этого учреждения в глупое положение, что грозило этим чинам увольнением с работы, ввиду неполного соответствия занимаемой должности.

Есть и другие доказательства.

— Ваша догадка о новом «Тресте» остроумна, логична и внешне убедительна, — сказал мне один сравнительно недавний эмигрант. — Но она построена на песке. Дело в том, что времена «трестов» прошли. В конце 20-х и начале 30-х годов во главе иностранного и контрразведывательного отделов ГПУ стояли культурнейшие люди, вчерашние политэмигранты, отлично знавшие Запад. Они могли и придумать хитрый план, и провести его в жизнь. Таких людей больше нет. По всем ступеням иерархической лестницы сидят тупые карьеристы, чье воображение не идет дальше мелких интриг личного порядка, люди без культуры и образования, с чрезвычайно низким интеллектуальным уровнем. Вы этих людей просто не знаете. Я их знаю.

Мне было неловко спорить с этим человеком чрезвычайно высокого культурного и интеллектуального уровня, блестяще образованного, знающего Запад, как свои пять пальцев, выдающегося специалиста по международным вопросам.

Он, конечно, знал ту среду, о которой говорил, ибо до 1976 года сам к ней принадлежал, давая советы на самом высоком уровне номенклатуры. Переселясь на Запад окончательно, мой собеседник, очевидно, удостоверился в том, что с его отъездом в СССР не осталось больше ни одного толкового и знающего человека.

Как можем мы служить орудием дезинформации, когда вся наша масса — носительница обширной, хотя и распыленной информации? Мы все где-то работали, что-то знаем, много видели и слышали. Умелый опрос приезжающих может дать богатый урожай сведений о такой закрытой стране, как СССР.

Это верно. Но советская система «допусков» ограничивает количество информации, которую мы увозим. А кроме того, видно, есть что-то важнее этих знаний, если Советы с легкостью выпускают некоторых людей с высокими степенями «допуска».

Существуют, разумеется, сведения, которыми человек располагает случайно, без ведома властей. Но, во-первых, это капля в море, а во-вторых, если прошлая ваша причастность к какой-то информации носит случайный характер и никак не отмечена в вашей биографии, то вас никто о ней и не спросит. А сами вы не побежите искать заинтересованного слушателя, у вас другие заботы.

Говорят еще: нас столько, что крупницы совершенно невинной информации могут позволить много узнать.

Тоже верно. Но после определенного предела обилие сведений становится парализующим, путает картину. Ведь множатся и противоречивые сведения.

Учтем и то, что при отправке за рубеж сотен тысяч человек ничего не стоит распылить между ними (даже без их ведома и соучастия) великое множество мельчайших, дополняющих друг друга сведений, которые, исходя из источников, между собой как будто никак не связанных, ни у кого не вызовут сомнений. А обработанные ЭВМ, они станут непререкаемой истиной.

Более того, прежде чем принять к сведению приносимую новыми эмигрантами информацию, ее проверят и перепроверят у людей, уже давно и прочно завоевавших доверие Запада. Людей, на чье устрой-

ство не пожалели ни усилий, ни денег, ни смекалки.

Так, мне кажется, обстоит дело с просачиванием во внешний мир фактических сведений об СССР, сведений, касающихся военных, экономических, политических и научных дел.

Говорят: покидая СССР потому, что не желаем там жить, мы выносим этой стране моральный приговор. Отсюда делают вывод: советские власти могли лишь под давлением согласиться на наш отъезд, разоблачающий их в глазах цивилизованного мира.

И еще: движимые неприязнью к советской модели реального социализма, мы, выехав, укрепим «анти-социалистические силы», рассказывая правду об СССР или, по крайней мере, наше видение этой правды. Мир узнает и содрогнется!

Все, что способно заставить содрогнуться западный мир, он о Советском Союзе давно знает! Вернее, мог бы знать, если бы удосужился. Вспомните Кравченко и «Я выбрал свободу».

Вспомним об «Архипелаге ГУЛаг».

Когда вышла книга, эффект был огромен. И от нее самой, и от сопровождающих ее появление обстоятельств.

А с тех пор?

С тех пор выражение «ГУЛаг» прочно вошло в словарь политических журналистов Запада. Запросто говорят сегодня о вьетнамском, камбоджийском, а то и о чилийском ГУЛаге. Так называют любую систему лагерей или даже всякое проявление полицейской власти. Когда в Западной Германии ловили леваков-террористов, убийц промышленника Мартина Шляйера, в одной французской газете мелькнуло выражение: «В Федеративной Германии воцарилась атмосфера ГУЛага».

Это нас, а не людей Запада, ошеломила раз и навсегда правда о советской действительности (или,

скорее, крушение табу, запрещавшего о ней говорить). Как зачарованные, мы повторяем эту правду, а наши новые друзья слушают, позевывая. Все эти истории они слышали столько раз! Это уже не новость!

Для того чтобы передать Западу наш опыт на материале новой, западной действительности, у нас нет ни умения, ни языка, ни возможностей. Попробуйте, например, объяснить, что люди, борющиеся против строительства атомных электростанций, защищают, сами о том не подозревая, арабских нефтяных шантажистов. Голос Сахарова, сказавшего об этом, услышан не был.

Наши апокалипсические пророчества относительно будущего Запада лишь наводят наших собеседников на мысль, что в советские психушки сажают не зря.

Но всё же эти ушедшие из России из отвращения к существующему там строю сотни тысяч человек укрепят общий фронт антитоталитаризма?

Они не укрепят ничего. Только в Израиле, куда большинство никогда не поедет, могли бы они включиться в политическую жизнь страны, влиять на нее и, следовательно, а какой-то микроскопической степени на расстановку сил в мире. В других странах, странах рассеяния, мы, за редчайшими исключениями, в политическую жизнь не включимся. Хорошо изученный опыт прошлых эмиграций показывает, что скорее всего нашу жажду политической деятельности — если такая жажда вообще есть — мы обратим на решение судеб России.

А на этом пути ловушки расставлены давно и надежно.

В сумбуре наших выкриков и взаимных обвинений находят благодарного слушателя спокойные и уверенные голоса тех приехавших с нами людей, которые говорят Западу то, что он *хочет услышать*. Именно эти и только эти люди с необычайной гладкостью и быстротой получают на Западе возможность работать

на таких высотах, которые максимально приближают их к инстанциям, где готовятся политические решения.

Что же эти люди говорят Западу? Они на разный манер повторяют, что руководство это — уже не то, что на место старых тупых догматиков идут молодые, умные прагматики, с которыми можно и нужно договориться, что, делая уступки Москве в военных и экономических вопросах, Запад выигрывает, укрепляя позиции армии и технократов в ущерб КПСС, что диссидентов и эмигрантов не надо слушать.

Только на фоне нашего нестройного хора, конфликтов и столь противной Западу нетерпимости могут эти слова звучать убедительно. И уже хотя бы в этом — наша дезориентирующая роль.

Нам надо подтвердить своим поведением, что в России не может быть иного собеседника, кроме власти.

Когда в Советском Союзе пишут о диссидентах, то в первую очередь «бросают общую тень». Исключили, к примеру, человека из университета за дерзкие слова, ему советская пресса присвоит навечно эпитет «недоучившийся студент» и будет эту тему обыгрывать: «утомясь грызть гранит науки, юный бездельник уже со второго курса...», «как известно, наш герой прекратил свое высшее образование по обстоятельствам, от него не зависевшим...», и т. п.

Но все эти приемы меркнут и вянут, когда есть возможность процитировать какого-нибудь западного автора. Тогда советскому журналисту остается только писать: «даже Имярек, которого вряд ли можно заподозрить в симпатиях к марксизму, признаёт, что...»

Имяреки, которые «признают», «здравомыслящие политики, которые вынуждены согласиться», позволяя московскому публицисту развести руками: если уж на Западе так пишут! — всегда были в цене и чести.

Сегодня в особый случай вошли «здравомыслящие люди Запада», которые готовы говорить, что в Советском Союзе права человека уважаются железно, а

диссиденты получают поделом. Их, кстати, не так уж много, этих любителей повторять основные положения советской пропаганды, с тем чтобы в СССР их слова были тут же подхвачены.

Но уж если такой Имярек найдется...

В документированном труде Н. Яковлева «ЦРУ против СССР» читаем: «Директор отдела исследований СССР центра по изучению стратегических и международных вопросов Джорджтаунского университета Д. Симс в основном в служебных целях указал на громадный разрыв между деяниями выступающих против советского строя и представлением, создаваемым о них на Западе. В качестве примера он привел работу Орлова и его сообщников».

Д. Симс явно потрафил Яковлеву. Тот цитирует его на протяжении почти полутора страниц. «В основном в служебных целях», Д. Симс, объясняя американской публике, почему Орлов и другие члены московской группы Хельсинки арестованы поделом, правильно и справедливо, пишет: «...в действительности группу... привлекли к ответственности отнюдь не за эту деятельность... На деле группа стремилась подорвать позиции СССР на международной арене... Диссиденты бросили вызов коренным устоям советского строя».

В заключение длинной цитаты из статьи, написанной доктором Симсом для сборника «Советская угроза: мифы и реальность»*, Яковлев пишет: «Вот это правильно и сказано по делу. Сказано, однако, в своем кругу, а не для массовой аудитории».

Но это не беда. Массовую аудиторию Д. Симсу обеспечил Яковлев. Тираж второго издания его книги («Молодая Гвардия») — сто тысяч экземпляров.

Но цитаты из доктора Симса можно видеть и в «Известиях» и в «Крокодиле». А там тиражи много-

* «Soviet Threat. Myths and realities». N. Y., 1978, pp. 140-141.

миллионные. Всякий раз, когда надо привести пример здравомыслия в Вашингтоне, показать, что даже в логове врага есть реально мыслящие политики, понимающие, что если в мире что и не так, то вина за это лежит целиком на США, которые мало и плохо помогают Москве (так писал Симс в журнале «Ньюсуик»). Советское же руководство выдвигает справедливые требования и претензии. А уж когда нужно уличить диссидентов, то Симс всегда тут. Не подведет.

И почему-то не с руки советским публицистам, цитирующим Симса, указать, что речь идет о недавнем эмигранте из СССР, москвиче Дмитрие Константиновиче Симесе, окончившем заочное отделение исторического факультета, затем работавшем младшим научным сотрудником в Институте мировой экономики и международных отношений, о бывшем активисте Комитета молодежных организаций.

Но в СССР у Симеса на пути к настоящей карьере было два серьезных препятствия. Еврейское происхождение и порядочные родители. Оба юристы. Его мать, Дина Каминская, известна как защитница диссидентов.

Когда круто пошла волна еврейского Исхода, Дмитрия Симеса словно подменили. Он включился в борьбу с бешеной энергией. За считанные месяцы он успел и сесть на пятнадцать суток, и столкнуться несколько раз с милицией, и подпись свою поставить под разными петициями. Мне привелось однажды вместе с ним ходить в Министерство внутренних дел, где Симес очень гладко выступил, требуя свободы выезда в Израиль. Что ни день, то новая черта к портрету неукротимого диссидента. Было ясно, что власти не устоят перед напором столь энергичного противника и поспешат от него избавиться.

Согласитесь, однако, что слишком быстрый и слишком легкий отъезд — удел серых посредственностей. Натуры выдающиеся уезжают иначе. В день

отъезда Симесу позвонили из ОВИРа и пригласили явиться туда, имея на руках визу. Она была аннулирована.

Не в пример баранам, вроде меня, вернувшим визу, Дмитрий Симес снова бросил властям вызов, проявив при этом находчивость, смелость, смекалку. Не беря трубку, он велел ответить, что его нет дома, но что он позвонит сразу, как только вернется. После чего, в окружении друзей и знакомых, Дмитрий Симес отбыл на аэродром Шереметьево.

Сдав багаж, уже перед самым паспортным контролем он позвонил из автомата в ОВИР и при затихших от восторга свидетелях сказал вызывавшей его инспекторше, что вскоре к ней приедет с визой на руках. Пусть она его дождется, он немного задержится.

После чего Симес прошествовал к самолету и улетел, посрамив советские власти на глазах у всех.

Посрамленные власти, стало быть, не знали, ни на какой рейс у Симеса билет, ни когда он сдал багаж, ни когда прошел таможенный досмотр и паспортный контроль.

После выезда из СССР Симес среди многих дал интервью для сборника Ирины Кирк «Портреты людей русского сопротивления»*. Новый эмигрант, порвав с СССР, объяснял причины неприятия существующего там строя, пройденный им путь внутренней эволюции.

Вскоре Дмитрий Симес уже работал в Институте стратегических исследований Джорджтаунского университета. Его специальность — американо-советские отношения. Он сделал неплохую для эмигранта карьеру.

Когда, заехав в Мюнхен, Симес выступил с докладом перед сотрудниками Радио Свобода, в служебной

* Irina Kirk. Profiles in Russian Resistance. Quadrangle. The New York Times Book Company. N. Y., 1975, p. 178.

записке, приглашавшей на встречу с ним, докладчик был назван «специальным советником государственного секретаря».

Вас удивляет, как мог забрести на Радио Свобода человек, пишущий, что диссидентов в СССР сажают поделом, что за такие преступления их посадили бы в любой цивилизованной стране?

Не надо удивляться. Дмитрий Константинович Симес регулярно сотрудничает со станцией, являясь ее внештатным корреспондентом в Вашингтоне. Под псевдонимом, разумеется.

Утверждают, что если третья волна эмиграции и не оказывает благотворного влияния на общественность Запада в целом, то умонастроения либеральной интеллигенции она изменила, отдалив ее от систематически просоветской позиции.

Это верно лишь отчасти. Западная интеллигенция, особенно американская и особенно еврейская, стала более восприимчива к воздействию реальности уже после доклада Хрущева на XX съезде, а главным образом после того, как стало невозможным скрывать существующий в СССР антисемитизм.

Но сегодня оказывается, что братья-евреи из СССР — неважные евреи. Их выписывали затем, чтобы они ехали в Израиль, а они норовят приехать в США и сесть на шею. Их вызволяли как евреев, стремящихся жить еврейской культурной жизнью, а среди них почти не найдешь человека, знающего даже идиш. Их вызволяли как людей, хотевших и при социализме оставаться евреями, а они и при капитализме не хотят ими быть.

Выходцы из закрытой страны, мы вольно или невольно представляем ее перед внешним миром либо в качестве эмиссаров (если сами себя таковыми считаем), либо в качестве объекта изучения. Иными словами, мы формируем у людей Запада представление об

СССР и отношение к нему — как на уровне бытового восприятия нас лично, так и на уровне научного изучения нас, как особей.

Отсюда мы можем заключить, что место, которое может быть определено нашим невольным усилием, находится в тесно переплетающихся и фактически взаимосвязанных областях: пропаганда, дезинформация, влияние на умы.

Итак, пропаганда. Советская, разумеется.

Прежде всего, договоримся: речь идет не о распространении бессмертных идей марксизма-ленинизма, а о систематическом воздействии на человеческое сознание с выгодой для советского государства. И еще. Говоря о советской пропаганде, люди чаще всего забывают, что она ведется, как правило, по крайней мере, двумя основными методами. Один используется внутри страны и для официальных высказываний советского правительства на международной арене, второй дополняет первый и используется почти исключительно для внешнего мира.

Внутренняя и официальная пропаганда — декларативно-заклинательная. Заключается она в том, что нужное советской власти словосочетание — лозунг или заявление — провозглашается и затем повторяется до механического его усвоения объектом пропаганды.

Точно так же, как бесконечные безрадостные юбилеи, памятные даты, всякие дни железнодорожника, милиционера или шахтера должны создавать иллюзию движения застывшего времени, хода остановившейся истории, — готовые формулировки на все случаи жизни, на все внутренние и внешние события должны служить заменителем мысли.

Действие официальной, декларативно-заклинательной пропаганды двояко. В области дел международных, там, где советский гражданин подчас ничего не знает, эта пропаганда автоматически заполняет пробелы информации. В области дел внутренних, где

ложь официальных заявлений очевидна почти каждому, пропаганда воспитывает, заставляя людей постоянно публично повторять то, во что они не верят. При этом не так уж важно, что эти люди ворчат у себя дома.

Воспитательную роль эта заклинательно-декларативная пропаганда играет и за пределами СССР. Пример: кампания борьбы за мир.

Но есть и другая советская пропаганда, почти целиком построенная на толковании первой.

Не вдаваясь в разбор различных методов этой пропаганды, скажу, что сводится она примерно к следующему. Если с московского Олимпа раздался угрожающий рык, то специально на то поставленные люди должны объяснить, что на самом деле Генсек настроен миролюбиво, что на него наседають доктринеры, они же ястребы. Чтобы нейтрализовать ястребов, надо подкормить голубей, сделав соответствующие уступки. Если Советский Союз делает какие-то ничего не значащие, чисто формальные уступки (например, обещает вывести какие-то части из ГДР), те же «толкователи» убеждают Запад, что нужно использовать шанс и щедро ответить.

Кто эти толкователи?

Это известная категория советских журналистов, специалисты по контактам с внешним миром, это их западные друзья и коллеги, а также множество политических деятелей и их советников. (Или вчерашние советские граждане вроде «доктора Симса».)

Неправильно, кстати, считать, что заклинательно-утвердительная пропаганда — исключительно удел внутренней жизни СССР, а толковательная — его внешней политики. Внутри СССР вдалбливание лозунгов в мозги дополняется системой закрытых докладов и лекций, где избранным объясняют, что и как они должны думать о событиях, где им сообщают ка-

кие-то факты, якобы скрывающиеся от простых смертных.

Слова — великая вещь. Заставив противника принять вашу фразеологию, ваш словарь, вы уже сделали более чем полдела. Когда путем систематического террора и шантажа ООП заставила мировые средства информации называть палестинских террористов «партизанами», о дальнейшем она могла уже почти не беспокоиться.

Разве не был националистский Китай обречен на разгром и потерян для Запада как союзник и друг, когда в поступавших из Китая сообщениях американские дипломаты стали именовать Мао Цзе-дуна и его соратников «аграрными реформаторами» или «так называемыми» коммунистами.

На Западе совершенно напрасно склонны рассматривать декларативно-заклинательную пропаганду как ничуть не воздействующую на внешний мир и отделять ее какой-то непроницаемой стеной от пропаганды внешней, которую, к тому же, понимают несколько узко.

Правда, существование разветвленного аппарата советской политической пропаганды во всем мире не ускользнуло от западных наблюдателей.

6 февраля 1980 года заместитель директора ЦРУ по оперативной работе представил в подкомиссию палаты представителей Конгресса США по наблюдению за разведкой отчет о деятельности советской пропаганды. По прикидке американских специалистов, отпущенные на это советским руководством народные деньги в твердой валюте распределялись следующим образом:

Международный отдел ЦК КПСС	100 миллионов
Отдел международной информации ЦК КПСС	50 миллионов
ТАСС	550 миллионов
АПН	500 миллионов

«Правда»	250 миллионов
«Известия»	200 миллионов
«Новое время» и др. газеты и журн.	200 миллионов
Иновещание Московского радио	700 миллионов
Пресс-службы посольств СССР	50 миллионов
«Подпольные радиостанции»	100 миллионов
Контролируемые Москвой международные организации	63 миллиона
Помощь иностранным компартиям	50 миллионов
Служба «А» Главного Первого Управления КГБ	50 миллионов
Операции резидентов КГБ	100 миллионов
Помощь национальным фронтам освобождения	200 миллионов
Спецкампания против модернизации вооруженных сил НАТО в 1979 году	200 миллионов

Так насчитали в США общую сумму в 3 миллиарда 363 миллиона долларов. Сумма, на первый взгляд, внушительная, но, тем не менее, явно заниженная.

Неловко, разумеется, спорить с ЦРУ. Но если в списке указаны Международный отдел ЦК и отдел международной информации, то почему не назван отдел агитации и пропаганды? Почему не названо Политуправление Советской Армии, входящее в ЦК на правах отдела? Разве систематическую антизападную накачку советского населения и вооруженных сил можно отделить от методичной работы по разложению Запада, подрыву его нравственной сопротивляемости?

Почему не указана радиостанция «Мир и прогресс», которая хотя и находится в здании Комитета радиовещания и телевидения на Пятницкой, 25, но официально в состав Комитета не входит? Проходят ли ее расходы по графе иновещания, то есть входят в скромную сумму в 700 миллионов долларов, или это одна из «подпольных» станций? А радиостанция «Голос Родины» — для соотечественников за рубежом? Или это бюджет КГБ? Внутреннее вещание вообще не

упомянуто, а ведь и оно выполняет пропагандные функции. А периферийные станции, вещающие на лимитрофные страны?

Служба «А» Главного Первого Управления КГБ внесена в список, полагаю, по праву. Ну, а как с Пятым Управлением КГБ, которое занимается «борьбой с идеологической диверсией» и, в частности, нами грешными, выезжающими в Израиль и не в Израиль бывшими советскими гражданами? Если это не относится к советской пропаганде в смысле влияния на умы, то что тогда относится?

А Вторая служба Второго Главного Управления КГБ, которой поручено следить за советскими гражданами, находящимися за границей, в частности, за тем, хорошо ли они проводят там советскую пропаганду?

А куда отнести пропаганду, ведущуюся по линии Министерства культуры СССР, Комитета по делам физкультуры и спорта и вообще всех ведомств, поддерживающих какие-то связи с внешним миром?

Ну, хорошо, писатели, скажем, ездят по Европам за счет ЦК и КГБ, а академики? А деятели отдельных специальных институтов, таких, как Институт мирового рабочего движения или США и Канады, — куда их отнести?

Почему среди важных органов пропаганды не назван издающийся в Праге журнал «Проблемы мира и социализма» или функционирующий в Лаксенбурге под Веной Институт систем управления, где замдиректора — товарищ Гвишиани, зять покойного Косыгина и, как говорят, генерал КГБ?

Помощь иностранным компартиям — вопрос тонкий. Есть, разумеется, такие, что полностью зависят от Москвы. Но иные так разбогатели на взимании мзды с торговли между Востоком и Западом, на выкачивании в партийную кассу бюджетов муниципалитетов, где коммунисты в большинстве, что могут легко

принять на себя часть расходов Москвы по внешней пропаганде.

И вообще подсчитывать в долларах эффективность советской пропаганды дело пустое.

Вот вам небольшой пример (частично приведенный в моей статье о Радио Свобода). Сотрудникам русской службы американской радиостанции «Свобода» в Мюнхене был однажды разослан очередной меморандум, напоминающий о необходимости остерегаться в передачах «антисоветского тона» и быть прежде всего «объективными». Поводом для напоминания послужил опрос, проведенный специальной службой изучения аудитории, в котором говорилось, что 77% оных упрекают станцию в том, что она «антисоветская» и «необъективная».

Опрошены были в данном случае 42 советских гражданина, приехавшие на Запад на очень короткое время, чаще всего на несколько дней. Среди них были: стюардесса Аэрофлота, партийный босс, редактор, механик и т. п. Все — члены партии.

Ответы были двоякого рода: либо — «я ваши передачи не слушаю и слушать не намерен, потому что они антисоветские и необъективные», либо «ваши передачи антисоветские и необъективные, я иногда их слушаю, чтобы знать врага».

Если знать, что в Советском Союзе любая работа, связанная с систематическими выездами в капиталистические страны, дается только людям, заслужившим такую честь годами безупречного поведения и, как правило, доноительства, что почти в такой же мере это можно сказать о командировочных, каждый из которых проходит проверку и находится (зная об этом) под постоянным наблюдением советской контрразведки и своих товарищей, что одного неосторожного слова достаточно для того, чтобы сломать ему карьеру, то опрос таких «слушателей» нелеп. Делать же из их слов выводы, парализующие работу

такого учреждения, как Радио Свобода, чистое безумие.

Во что же обошлись советской казне эти ответы? Ни во что! А результат? Результат — меморандум руководства единственной радиостанции, круглосуточно вещающей на народы Советского Союза, единственной станции, специально предназначенной, как сказано в ее программном руководстве, восполнять пробелы подцензурных средств информации.

Напомню, иновещание Московского радио располагает годовым бюджетом в 700 миллионов долларов. Годовой бюджет Радио Свобода — Радио Свободная Европа не достигает ста миллионов!

А визы?

Всякому понятно, что специалист по Советскому Союзу, который не ездит в страну, котируется на своем научном рынке ниже коллеги, который туда ездит.

Для получения въездной визы в СССР такой специалист должен быть отнесен советскими властями к разряду «объективных ученых». Для этого он должен свои размышления строить на советских источниках и делать выгодные для СССР выводы. В противном случае такой специалист визу не получит и станет советологом второго сорта.

Мне возразят, что не обязательно все свои наблюдения от поездок в Советский Союз публиковать в открытой печати. Не спорю, но мы ведь говорим о *пропагандном* эффекте. И тут получается, что западная советология в большой степени в плену советской пропаганды. Самой что ни на есть официальной. Люди жизнь проводят за изучением выступлений советских руководителей. Изучают их «стиль» (!), продолжительность аплодисментов после той или иной фразы, порядок, в котором вожди стоят на трибуне Мавзолея, у кого на роже улыбка, а кто соорудил мрачную хрю.

Нет, подсчитывать бюджет советской пропаганды — занятие пустое. Нет такого бюджета. Все ресурсы страны идут на вооружение и на пропаганду.

ОТДАТЬ ЛИ КЕСАРЮ ДУШУ?

Арестована Зоя Крахмальникова. Даже в волне репрессий, захлестнувшей сейчас страну, этот арест выглядит крайне угрожающим, ибо он не был спровоцирован с ее стороны какой-либо общественной или политической деятельностью.

Вся вина ее (если это вообще можно назвать виной) состоит в том, что она взяла на себя труд сделаться составителем и редактором сугубо религиозного журнала «Надежда», который, появляясь в «Сам-издате», выходил затем на Западе в издательстве «Посев». Журнал этот как таковой вообще и его редактор в частности подчеркнuto сторонились оппозиционных тем, оставаясь даже в богословском плане в строгих рамках легальной церковной догматики. Его задачи всегда ограничивались одним лишь христианским просветительством, не более того.

Но, видимо, давно канули в Лету те времена, когда кесари удовлетворялись только кесаревым. Нынешние властители, попирая все Божеские и человеческие законы, претендуют не только на плоть и достояние подданных, но и на их душу. Все, что в прежние времена оставалось интимной привилегией Человека — Вера, Надежда, Любовь, — сделалось монопольной собственностью Государства. Только одно оно и никто более определяет теперь в тоталитарных странах, как нужно и чему нужно верить, что слушать и читать и каким способом бороться за мир. Святая инквизиция стремилась уничтожить тело, чтобы освободить душу, нынешние палачи поставили себе целью убить душу, чтобы закабалить тело.

В своей бесовской глухоте им недосуг понять или догадаться, что именно такие религиозные просветители, как Зоя Крахмальникова, способны ввести слепое социальное недовольство, грозно назревающее в нашем обществе, в нравственно смягчающее русло и спасти их и их близких от стихийного гнева народа, уже готового при первом же толчке разорваться под ними наподобие пороховой бочки.

Что ж, пусть, как сказано, мертвые хоронят своих мертвецов. Еще одним арестом ни в чем не повинного человека тоталитарная власть только приближает день своего собственного крушения. Господи, спаси их души!

Владимир Максимов

О НАШИХ НОВЫХ ЧЛЕНАХ РЕДКОЛЛЕГИИ

Ирина Алексеевна ИЛОВАЙСКАЯ-АЛЬБЕРТИ родилась в Белграде в семье русских эмигрантов. Окончив русскую гимназию в Белграде, получила высшее образование по русской филологии в Римском и Кембриджском университетах. Вместе с мужем, итальянским дипломатом, жила во многих странах мира. Занималась переводами с русского на итальянский, преподавала русский язык и литературу, русскую историю. Журналист итальянской и зарубежной русской прессы, многолетний внештатный сотрудник Радио Свобода, с осени 1979 г. — главный редактор выходящей в Париже еженедельной газеты «Русская Мысль». В «Континенте» напечатала статью «Нетерпимость с обратным знаком» (№ 25).

Василий Павлович АКСЕНОВ родился в Казани в семье партрубочников. После ареста родителей воспитывался у родственников. Мать Василия Аксенова, Евгения Семеновна Гинзбург, многолетняя узница ГУЛага и автор одного из самых потрясающих свидетельств о лагерях, с которой будущий писатель встретился уже подростком в Магадане, в промежутке между ее освобождением и новым арестом, — оказала большое влияние на его формирование. Врач по образованию, Аксенов начинает печататься в период «оттепели» и вскоре становится одним из самых популярных в СССР авторов. До самого его отъезда из СССР, когда он уже печатался в зарубежной русской прессе и издательствах, его ранняя повесть «Коллеги» оставалась в школьных программах. Новые же его произведения — одно за другим — оказывались перед лицом редакторско-цензурного запрета. В 1980 г. В. П. Аксенов покидает Советский Союз — с советским паспортом, но через несколько месяцев его лишают советского гражданства. В «Континенте» напечатал пьесу «Цапля» и повесть «Свяжск».

Факты и свидетельства

Виктор Каган

МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ

Прямая речь передана всегда точно по смыслу, но часто не дословно, и ее можно рассматривать просто как форму изложения. Такой прием был узаконен еще в макьявеллиевой «Истории Флоренции».

ШАХМАТНАЯ ИСТОРИЯ

Арон Нимцович — теоретик и аналитик, чьи идеи и разработки прочно вошли в шахматную практику, гроссмейстер, считавшийся претендентом на титул чемпиона мира, — не участвовал в Московском турнире 1935 г., на который были приглашены почти все выдающиеся шахматисты того времени. Неучастие Алехина и Боголюбова было понятно, причин и не скрывали: их не пригласили по политическим мотивам как эмигрантов. Но почему не участвовал Нимцович?

Дошел слух, будто он отверг приглашение, сказав, что прожил жизнь в демократической стране и не поедет в страну диктатуры. Тетка Нимцовича, старинная приятельница моей матери, утверждала, что это клевета, что он еще мальчишкой увлекался революционной литературой. Я не смог проверить слух, но все больше склоняюсь к мысли, что так оно и было.

Довод тетки не опровержение, а, напротив, косвенное подтверждение слуха.

Другое такое подтверждение — замечание М. Талля, будто «в ситуации на шахматной доске Нимцович

ориентировался куда лучше, чем в великих социальных потрясениях, свидетелем которых был». Политической деятельностью Нимцович не занимался, и в предисловии к «Моей системе», не затрагивающей никаких нешахматных проблем и переизданной через треть века после смерти автора, это замечание выглядит неуместным. Но оно понятно, если предположить, что Таль адресовался к шахматистам, которые могут судить об отношении Нимцовича к советскому режиму, зная об инциденте в 1935 году.

Еще косвенное подтверждение — выпад Капабланки в дни турнира. Большой спорт — это часто еще и большие дразги. Но, видимо, не только личная неприязнь, но и еще более желание сделать приятное гостеприимным хозяевам руководили профессиональным дипломатом Капабланкой, когда он в интервью и затем в лекции заявил, будто Алехин не имеет морального права считаться чемпионом мира, поскольку отказывается играть с ним реванш. Такое предположение подкрепляет заявление одного из гостей, более угодливого, будто Алехин уподобился Маршаллу, номинальному чемпиону Америки, которого уже давно перестали считать серьезным шахматным бойцом. И в той же лекции Капабланка сказал, будто Нимцовича можно не считать претендентом на шахматную корону после проигрыша матча Штальбергу.

Хорошо помню, как возмущалась этим заявлением тетка Нимцовича. Запомнился и ее рассказ (правда, по другому поводу) об одном маленьком матче племянника.

Ему было не то пять, не то семь лет — я точно не запомнил. Отец привел его к своему знакомому, чемпиону Риги. Сели за шахматы. Арон выиграл первую партию и проиграл вторую. Тогда он сказал:

— Маэстро, эти две партии еще ни о чем не говорят. Первую вы играли плохо: думали, что играете с мальчишкой. Вторую я играл небрежно: решил, что

вы слабый игрок, после того, как вы проиграли первую. Теперь мы знаем друг друга, и третья партия уже действительно покажет, кто из нас сильнее.

Третью партию Арон выиграл.

По-моему, этот рассказ говорит об интеллекте даже больше, чем о шахматном даровании. И он, пожалуй, сильнейшее косвенное доказательство, что слух в 1935 г. был верен.

МУДРЫЙ

Покойный Д. М. Стонов, рассказавший мне эту историю, кажется, знал его лично. Он был скромным коммивояжером фирмы «Ундервуд» и был очень далек от политики. В начале революции бедствовал, но потом сумел снова связаться с фирмой и стал предлагать пишущие машинки советским учреждениям. Торговля пошла бойко, комиссионные были хорошие, и он скоро разбогател. И тогда он сказал домочадцам:

— Чтобы вот так, из ничего, на ровном месте, человек вдруг стал богатым — это ненормально. Это не может кончиться добром. Из этой страны надо бежать немедленно.

И уехал в Палестину. Один из сыновей застрял из-за женщины и попал-таки в тюрьму, но через несколько лет, во второй половине двадцатых, ему удалось вытащить и этого сына с семьей.

ПЯТЬ ИСТОРИЙ

Первые четыре я слышал «в кругу первом». Три — от Б. Н. Телеснина, бывшего артиллерийского офицера, одну — от С. С. Рузова.

Барон и ротмистр

В Михайловском артиллерийском училище юнкера были разбиты на подразделения, как в армии. Т* (Телеснин назвал известную аристократическую фамилию, но я ее не запомнил) был из остзейских баронов и, конечно, заядлый монархист. В его отделении был поляк, участник подпольной эсеровской организации. Про организацию он, понятно, не говорил, но своих политических взглядов не скрывал, и его отношения с Т* были резко враждебными.

Организация провалилась. Поляка арестовали, тумбочку его обыскали, и юнкеров, его соседей, стали вызывать в кабинет начальника училища, где сидел жандармский ротмистр. Моя очередь оказалась вслед за Т*. Мы подошли к кабинету почти одновременно, и я услышал весь разговор через неплотно прикрытую дверь.

— Господин Т*, вы ведь из рода баронов Т*? Не сомневаюсь, мы с вами найдем общий язык.

— Господин ротмистр, в нашем роду все служили верой-правдой царю и отечеству, но шпионов и доносчиков не было никогда. Разрешите идти.

Принципы принципами, но ведь еще и то: юнкера в училище жили «не по уставу, а по традиции», и, поведи барон себя иначе, ему бы житья не стало.

Санитарный обоз

Командиром нашего артиллерийского полка был Николай Николаевич Бенуа — из того же рода, что и знаменитый художник. Однажды в офицерском собрании он произнес такую речь:

— Господа, мы получили заявление офицера Иванова, который просит перевода в наш полк, так как в этом городе живут его родители и жена. Имеется

письмо от офицерского собрания полка, где служит Иванов. Его рекомендуют как хорошего товарища и хорошего офицера. Но есть деликатное обстоятельство, которое мы должны иметь в виду при баллотировке. Отец Иванова — жандармский полковник. По традиции, мы дважды в год устраиваем балы, на которые приглашаем офицеров со всеми членами их семей. По традиции же, присутствие жандармских чинов в нашем собрании категорически не допускается. И мы должны подумать заранее, как будем выходить из ложного положения. Мы не сможем не пригласить полковника Иванова: это было бы оскорблением нашего товарища по полку. В таком случае не исключено, что он сочтет возможным прийти. А в то же время мы не можем допустить, чтобы в нашем собрании присутствовал жандарм.

Сына жандармского полковника, конечно, забаллотировали.

Через несколько дней я был приглашен к Бенуа на квартиру на чашку чая. Такие приглашения получали время от времени все офицеры полка. Во время разговора я высказал недоумение, что он, монархист, так неприязненно относится к жандармерии, как-никак важной опоре существующего строя.

Бенуа рассмеялся:

— Вас удивляет, что я, не революционер и даже не либерал, занял такую позицию в случае с Ивановым? Все очень просто: понимаю, что санитарный обоз вещь полезная, даже необходимая, но обедать за одним столом с говночистом — не хочу.

Два жениха

В *** полку (Телеснин точно назвал полк, но я не запомнил) офицерам по традиции не полагалось жениться на еврейках. Случилось, что двое офицеров

увлеклись девушками-подругами, которые обе были еврейками.

Один сказал в офицерском собрании, что делает предложение еврейке, и попросил рекомендацию для перевода в другой полк. Ему дали хорошую рекомендацию.

Другой спросил, оставят ли его в полку, если он женится на еврейке. Нет. Тогда он не будет делать предложения.

— Будете ли вы делать предложение — дело ваше, но из полка уходите немедленно. Не хотим иметь в своем кругу подлеца.

Траур

Когда Курлов был генерал-губернатором, на него сделали покушение. Гимназист бросил бомбу, но Курлов успел ее отшвырнуть. Гимназистка стреляла из пистолета, но Курлов успел схватить ее за руку.

Отец девушки, генерал, ходатайствовал о помиловании, и смертную казнь ей заменили каторгой. Гимназист отказался просить помилования и был повешен. Он был из нашего класса, и мы решили в день казни не отвечать уроков.

Первым был урок физики. Учитель никого не стал вызывать. Вторым был урок истории, которую вел директор. Первые несколько вызванных как-то отговорились. Дошла очередь до меня.

— Почему ты не можешь отвечать урок?

— Вы сами знаете, почему.

— Забирай ранец и уходи. Ты исключен из гимназии.

Не успел я открыть дверь — весь класс, как один человек, вскочил из-за парт и вышел за мной в коридор. Директору пришлось отменить распоряжение. И вот ведь что: в классе было несколько сыновей мо-

нархистов, членов «Союза русского народа». Они никак не сочувствовали казненному. Но и они вышли со всеми.

Дурак

В конце второй мировой войны, в начале демобилизации, А. С. Шайкевич, бывший мой сослуживец, слышал, как генерал говорил лейтенанту, на которого поступила жалоба от солдата:

— Так вот, выгоняю тебя из армии. А знаешь, почему? Потому что ты дурак. Дураков мне в армии не надо. Уж если захотел пожить из ротного котла, так умей делать, чтобы солдат на тебя не жаловался.

Май 1981 — февраль 1982, Иерусалим

Единственная ежедневная русская газета
за рубежом

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

выходит в Нью-Йорке, США

Главный редактор **Андрей Седых**
71-й год издания

«Новое русское слово» регулярно печатает документы самиздата, протесты из СССР, произведения лучших эмигрантских писателей, публицистику и прочее.

Подписная цена 70 долларов в год,

35 дол. — 6 месяцев

Воскресное издание — только 35 дол. в год

Годовая подписка воздушной почтой

(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в год

Подписку с платой направлять по адресу:

243 West 56 St., New York, N. Y., 10019 USA.
NOVOE RUSSKOYE SLOVO

БРИЛЛИАНТОВАЯ... РУКА

(Из серии «Избранные»)

«Бытие определяет сознание» — эту непоколебимую, как скала, догму в числе прочих, таких же неоспоримых истин советский человек должен принять и впитать в себя с первых лет школьной жизни, когда он намеренно лукаво путает слова «бытие» и «битье», что, впрочем, в условиях тоталитарного режима не такая уж большая ошибка.

Но знатоки марксистской казуистики никогда не говорят о том, что схема: «Бытие-сознание» — это замкнутое кольцо. Бытие определяет сознание, а сознание творит бытие по своему разумению.

«Коммунизм не за горами»... Правда, сейчас, после легкомысленного хрущевского обещания, партия предпочитает умалчивать о сроках.

И более растяжимое: «Коммунизм неизбежен»... Здесь на помощь догматикам приходит извечная мечта народа о чуде, потребность верить.

Покорно бредет советское общество к обещанным сияющим вершинам. Перевал за перевалом... Еще перевал... А за ним — все та же серая, унылая равнина. Временами ее устилают трупы инакомыслящих, неверующих или подозреваемых в неверии.

А между тем, коммунизм уже наступил, наступил незаметно, как рассвет. Но не для всех. Для всех пока в нем места нет, пока только для избранных.

Если исключить взаимоотношения между «избранными»: атмосферу зависти, вражды, подсиживания, так не вяжущиеся с идиллической картиной взаимоотношений людских в сказочном коммунизме, то

можно утверждать, что избранные уже живут в условиях «светлого будущего». Эта группа беззастенчиво переступила рубеж между проклятым прошлым и идеальным будущим, бесстрашно ставя коммунистический эксперимент на себе.

Жители Ташкента с вялым интересом наблюдали, как на тихой, тенистой улице Мукуми, в районе Черемушек, растет великолепный особняк. Ни для кого не было секретом, что это строится жилье для начальника следственного отдела прокуратуры Узбекской ССР Буриходжаева. Но едва ли кто-нибудь догадывался, что красивое, просторное здание — это всего лишь «скромный» подарок, полученный Буриходжаевым от некоего джентльмена удачи — Н. А. Так же, как никто не знал о том, что и Буриходжаев, и первый заместитель прокурора Республики Зотов уже много лет находятся на ежемесячном содержании у Н. А.

Кем же был Н. А.?

Прежде всего, он был порождением порочной системы. Человек, безусловно, талантливый, бесстрашный, ловкий и хитрый. В условиях советского строя он сумел стать тем, чем является сейчас в капиталистической Америке, — крупным бизнесменом и миллионером.

Это был островок капитализма в советском океане общественной собственности. Но на этом островке усиленно паслись те, кто призван был охранять закон и карать за его нарушение.

Могуществу Н. А. не было предела. Золотые щупальца простерлись до Москвы. И дрогнули перед золотым кумиром строгие стражи советских законов, вершители судеб людских — руководящие работники Генеральной прокуратуры СССР: начальник отдела по надзору за следствием в органах КГБ прокуратуры СССР Терехов, прокурор этого отдела Васильев, заместитель начальника главного следственного управления прокуратуры СССР Жуков и прокурор этого

управления Власова. Едва у Н. А. возникали неприятные противоречия с законом, высокие покровители спешили протянуть ему руку помощи.

Большой резонанс получило ташкентское дело о хищении в особо крупных размерах в местной промышленности. Ввиду особой важности дела, подпадавшего под определение «экономическая диверсия», им занялись органы КГБ. Н. А. был арестован и осужден как один из главарей на 10 лет. Однако через короткое время он был освобожден как необоснованно осужденный, восстановлен в КПСС и назначен... заместителем директора Ташкентского ювелирторга. Сообщники его, менее виновные в хищениях, продолжали отбывать свои сроки.

Многие недоумевали тогда: как осужденный на такой срок Н. А. вдруг оказался невинно пострадавшим?

А дело было просто. Сразу после ареста Н. А. его родственники передали Буриходжаеву для Зотова, тогда ведавшего надзором за следствием в органах КГБ Узбекистана, 50 тысяч рублей. И машина заработала... Советская Фемида потуже затянула повязку на глазах и протянула весы... На одну чашу щедро посыпались блага земные: дорогие мебельные гарнитуры, дефицитные подписные издания, путевки на лучшие курорты страны, ювелирные изделия. На другой — находилась всего лишь легковесная истина.

Все нити сошлись к Зотову. Он действовал ловко и хитро. Прежде всего, он дал понять ретивым родственникам, что надо подождать с хлопотами о досрочном освобождении и оправдании, пока «улягутся страсти»: дело было слишком на виду.

Однако подготовка к досрочному освобождению Н. А. велась. Но велась осторожно, исподволь.

По совету Зотова, родственники Н. А. подали ему же жалобу на несправедливое ведение дела и необоснованное осуждение. Поскольку следствие по делу Н. А.

вели органы КГБ Союза ССР, Зотов направил эту жалобу в высшие инстанции — в Прокуратуру СССР, к начальнику Отдела по надзору за следствием в органах КГБ Терехову. Терехов же, по договоренности с Зотовым, переправил эту жалобу обратно для проверки и принятия необходимых мер «на месте».

Это обычная практика советских государственных органов: жалоба возвращается из высших инстанций к тому, на кого она была написана: — Разберись-де беспристрастно на месте и доложи.

Но по той же договоренности жалоба была направлена не к самому Зотову, а к его заместителю Рыжкину, непосредственно ведавшему надзором за следствием в КГБ, т. е. к лицу, подчиненному Зотову. Таким образом, оставаясь в тени, Зотов получил от своего подчиненного нужное ему заключение, по которому можно было добиться изменения судебного решения в пользу Н. А.

Но фарс правосудия продолжался. Зотов и Терехов составили четкую программу. Терехов прислал в Ташкент своего помощника Васильева для ознакомления с материалами «проверки».

Формально требовалось мнение Генеральной Прокуратуры СССР, т. к. следствие велось органами КГБ СССР. К этому времени, перестраховки ради, Зотов заручился письмом Терехова и лишь после этого принес прокурорский протест в порядке надзора по делу Н. А.

Московское начальство любит наезжать в республики Закавказья и Средней Азии: столы ломятся от изобильных экзотических яств, фрукты, лучшие вина, коньяк рекой и ящик коньяка с собой. Такова традиция, таково прославленное гостеприимство этих мест.

Зотов не скупился на прием московского гостя, щедро тратил из доставшихся ему 50-ти тысяч, он знал: траты окупятся. Через Васильева был передан

Терехову ценный подарок — золотые часы с браслетом. Остальные деньги Зотов положил к себе в карман.

В результате Н. А. в ореоле пострадавшей невинности вышел из тюрьмы. Родственник Зотова Геннадий Архангельский, зав. отделом административных органов ЦК КП Узбекистана, помог ему восстановиться в партии и сделаться одним из руководителей Ташкентского ювелирторга.

Но вскоре Буриходжаеву и Зотову вновь пришлось выручать своего кормильца. На этот раз при содействии зам. начальника Следственного Управления Генеральной Прокуратуры Жукова и прокурора этого Управления Власовой. Ось Ташкент — Москва продолжала действовать.

Неприятности начались в связи с возникшим в Ташкенте уголовным «делом зубных врачей».

Следствие вел следователь по особо важным делам Прокуратуры Узбекистана Егошин. Большинство арестованных врачей дали показания, что покупали золото для своих работ у Н. А. частным образом. Произвели обыск на дому Н. А. (ташкентская милиция обожает проводить обыски у проворовавшихся своих граждан). При обыске были обнаружены и изъяты многочисленные, большой ценности, ювелирные изделия, 100 золотых монет царской чеканки.

На очных ставках с врачами Н. А. упорно отрицал, что снабжал их золотом. И вдруг следствие зашло в тупик: один из врачей — Пинхасов — на очной ставке с Н. А. привел такие неоспоримые и трудноопровержимые доказательства, в его показаниях фигурировали такие правдоподобные детали, что Н. А. растерялся и отрицание им очевидных фактов стало похожим на невразумительный лепет.

Преступная деятельность Н. А. вырисовалась со всей ясностью.

И тут случилось неожиданное: в одну из ночей врач Пинхасов покончил с собой в своей камере. Как значилось в протоколе, «покончил жизнь самоубийством путем самоповешения».

Если учесть, что дело происходило в камере внутренней тюрьмы КГБ, где содержание арестантов особенно строгое и надзор за заключенными особенно бдителен, самоубийство Пинхасова было невозможным. Это было явное убийство — надо было убрать опасного свидетеля.

Так блюстители закона пришли от злоупотреблений к преступлению.

Чтобы пресечь возможные толки и отвести от себя подозрения, Прокуратура Узбекистана обратилась через Генеральную Прокуратуру СССР в Военную Прокуратуру Туркестанского военного округа с просьбой произвести судебно-психиатрическую экспертизу с тем, чтобы доказать, будто в течение всей своей жизни, и особенно в период следствия, Пинхасов был психически ненормален. Просьба коллег была удовлетворена полностью, и требуемое заключение получено. На этом основании дело против Н. А. было прекращено. Что касается ценностей, изъятых у Н. А. при обыске, то он подписал документ о том, что все ему возвращено. На самом же деле все это огромное богатство поделили между собой Буриходжаев, Зотов и Егшин. Естественно, не обошли и москвичей — Власову и Жукова. У них же заручился Зотов письменным согласием на прекращение дела.

Но не так легко было утихомирить родственников покойного Пинхасова, а также других обвиняемых, проходивших по делу Н. А. и получивших разные сроки. Пошел поток писем и жалоб в ЦК КПСС и Генеральную Прокуратуру.

Срочно нужна была искупительная жертва. Она была принесена в лице следователя Егшина, якобы недосмотревшего и т. д... Егшин был уволен с места

службы «по собственному желанию» и «переквалифицировался» в адвокаты.

Н. А. снова приступил к исполнению обязанностей в Танювелирторге.

Но вскоре возникло третье, очень крупное дело о злоупотреблениях на золотых нивах, где так усердно трудился Н. А. Арестованные работники почти всех ювелирных магазинов города показали на следствии, что все незаконные операции они совершали под руководством Н. А., причем отдавали ему половину барышей. Сам же Н. А. платил ежемесячно директору Ювелирторга Агзамову 3 тыс. рублей (сумму, более, чем в десять раз превышавшую месячный оклад Агзамова) за то, чтобы тот не вмешивался в его «деятельность».

К тому времени у Н. А. уже сложились тесные личные связи с «москвичами». Стали ненужными услуги посредников: Зотова, его заместителя Никифорова, прокурора Саркисовой — для передачи в Москву ценных подарков. Теперь Н. А. это делал лично. Он не только посылал своим высоким покровителям подарки по почте, но и сам для этой цели приезжал в Москву.

Уже не золото — бриллианты сверкали, переливались, слепили глаза суровых верховных блюстителей закона. Бриллиантовый дым плыл под величественными сводами дворца Правосудия.

На этот раз Н. А. даже не был привлечен к ответственности, но пост заместителя директора ювелирторга ему пришлось оставить.

Н. А. понял: пришла пора уходить. Безошибочное чутье подсказывало ему, что он достиг предела, что далее искушать судьбу опасно. Настало самое время эмигрировать. Главная задача этого периода — переправить за рубеж свое миллионное состояние.

И как тут не вспомнить всеми нами обожаемого обаятельного жулика Остапа Бендера. Бедняга родился слишком рано. Сейчас ему не пришлось бы при переходе границы навешивать на себя пудовое золо-

тое блюдо, драгоценности и прятать все это под дорожную шубу.

По счастливому стечению обстоятельств родственник Зотова Энвер Ахмеджанов (оба женаты на сестрах) являлся начальником железнодорожной милиции. В его ведении находились товарная станция и... таможня.

Трогательно попрощался Н. А. со своими «друзьями»: в знак вечной благодарности он оставил на память Зотову и Буриходжаеву по паре «камешков», стоимостью в 10 тысяч рублей каждый.

Герои этой истории живут и здравствуют по обе стороны железного занавеса.

Бывало, что слишком уж зарвавшийся обитатель «Светлого будущего» в порядке вынужденного покаяния должен был сделать широкий жест и отдать свой роскошный особняк под детский сад. Буриходжаев же не только по сей день живет в комфортабельном доме, построенном для него Н. А., но и сделал головокружительную карьеру — стал Главным Прокурором Узбекской ССР.

Головокружительную карьеру также сделал Энвер Ахмеджанов, сейчас он большой чиновник в МВД республики.

Когда в Московском городском суде судили Александра Гинзбурга, государственное обвинение поддерживал Терехов. Нетрудно представить себе, как гремел его обличающий глас против тех, кто подрывает незыблемые устои социалистического общества, продает Родину и «мешает нам строить, возводить, провозглашать, творить, созидать...».

Живут и благополучно трудятся «на благо» Жуков, Власова, Егосин и многие другие подобные им жрецы Фемиды. Они пребывают на страже Закона, продвигаются по службе, преуспевают: продажные, морально нечистоплотные, беспринципные, пустые сосуды, которые можно наполнить любым содержа-

нием. Спустят директиву улыбаться — будут улыбаться и вести себя предельно вежливо. Велят стрелять — будут стрелять.

Они будут смотреть сквозь пальцы на всевозможные хищения, разумеется, при условии, что обильная доля похищенной социалистической собственности потечет в их карман. Но в одном они тверды и беспощадны — когда политическое инакомыслие грозит подточить фундамент системы, которая породила и вскормила их, когда их личному благополучию грозит опасность.

Таково бытие, таково сознание, таков моральный облик «избранных».

КАМЕНЕЦКИЙ Борис — бывший помощник Главного прокурора Узбекистана, старший советник юстиции. В 1978 г. прибыл в Израиль, работает в научно-исследовательском центре Тель-Авивского университета.

Его соавтор, Александра АЛЕКСАНДРОВА (Кильштейн), — журналистка, бывший член Союза журналистов СССР.

ИСТОКИ

Наталья Михоэлс-Вовси

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ МИХОЭЛСА

Не помню, как и когда впервые заговорили дома о «Короле Лире». Вообще, сыграть роль Лира отец мечтал чуть ли не с детства. Его соученики по рижскому реальному училищу рассказывали, как он чуть ли не до слез потряс старого учителя литературы, прочитав на уроке сцену проклятья Гонерильи. Присутствовали они и при том, как учитель предсказал своему ученику будущее великого актера. Так что о роли Лира отец мечтал давно. Вот что он сам рассказывает об этом в своей статье «Моя работа над 'Королем Лиром'»:

«В тридцать втором году в моей жизни было много горя. Я потерял за очень короткий срок несколько близких мне людей. Эти утраты настолько выбили меня из колеи, что я стал подумывать вообще бросить сцену.

Выходить на сцену и играть свои старые роли стало для меня невыносимым. В этих ролях были комедийные эпизоды, смешившие весь зрительный зал. Мне же этот смех казался чужим. Мне было завидно, что люди могут смеяться. Я сам был тогда внутренне лишен этой возможности. Я твердо решил уйти из театра.

Но мои товарищи по театру, желая вернуть мне интерес к жизни и к работе, все чаще и чаще говорили: «Вот вы сыграете Лира...»

Во мне жило первое школьное впечатление о трагедии, я помнил, как плакал мой учитель, когда я читал последний акт. С тех пор я к трагедии больше не возвращался. Детские воспоминания сохранили мне только пессимистическую сторону трагедии. Я помнил, что там происходит катастрофа, гибель. Это как нельзя соответст-

* Отрывок из книги о С. М. Михоэлсе.

вовало моему настроению. Внутренне я, очевидно, понимал, что освободиться от тяжести давившего меня горя можно только с головой окунувшись в работу. И я начал серьезно подумывать о том, чтобы поставить «Короля Лира» у нас в театре.

...Помимо юношеского увлечения, за Лира говорило еще следующее: Госет — театр еврейский. Актерам этого театра легче играть в пьесах, которые имеют определенный национальный колорит. В «Короле Лире» такой колорит можно было угадать и обнаружить, ибо, на мой взгляд, эта трагедия Шекспира во многом сродни библейским легендам. Я бы сказал даже, что это притча о разделе государства в вопросах и ответах.

В первые годы моей жизни я учился в еврейской школе, там мне приходилось изучать всякие теологические науки (Библию, Новый Завет, Талмуд, комментарии к Талмуду). Кроме того, и быт в доме моих родителей был очень патриархален; он был весь пронизан религиозными представлениями, которыми жил отец. Не повлиять это на меня не могло. Своеобразная поэзия этих книг вошла в мое сознание. Трагедия о Короле Лире была по самому образному строю своему близка этой древней поэзии. И я наконец решился».

Михоэлс, действительно, с головой окунулся в работу. Наши крохотные комнаты постепенно разбухали от бесчисленных русских и немецких переводов Шекспира, которые приносили папе старички-букинисты.

Когда бы я ни проснулась, сквозь приоткрытую дверь я видела его расхаживающим по узкому коридору с книгой в руках. Только глубокой ночью он имел возможность сосредоточиться на своей работе, ибо остальное время суток его буквально рвали на части. Дома, на приемах, в театре, на художественных советах, в гостях — всюду люди. Только ночью он оставался наедине с самим собой.

Впрочем, и ночью случались неожиданности.

Однажды, темным зимним утром, я проснулась и обнаружила, что папа не вернулся домой. Я бросилась звонить «вниз». К телефону подошел Чечик и попросил меня от папиного имени немедленно спуститься. Он сидел, обложенный подушками, на диване у Зускиных и слушал радио.

Передавали сообщение об убийстве Кирова.

Я стояла в полной растерянности: папа сильно кашлял и тяжел дышал. Не рискуя прервать профессионально-траурный голос диктора, я мучительно соображала, что же могло стрястись. Уходил он из дому совершенно здоровый, вернулся больной — когда он успел простудиться? — и если он заболел, то почему не вернулся домой, а находится здесь, внизу, где ему вообще так тяжело бывать?

Выяснилось вот что: возвращаясь в эту снежную ночь домой по морозным пустынным улицам Москвы, он поймал себя на том, что громко читал монолог Лира (на идиш), чем, по-видимому, оскорбил слух трех молодчиков, сильно навеселе, которые с традиционным «Бей жидов! Спасай Россию» бросились его избивать. Никогда мы не пытались выяснить, случайно или не случайно встретила ему эта пьяная компания в столь поздний час. Однако, поскольку пьянство — явление нормальное и более чем распространенное на ночных улицах, то ничего подозрительного (во всяком случае тогда) я в этой встрече не усмотрела. В своем рассказе папа скромно умолчал о том, что, если бы не его богатырская сила, ему бы не уйти живым.

Ночные побои кончились затяжным плевритом — отцу отбили легкие. Произошло это в роковую ночь на первое декабря тридцать четвертого года — ночь убийства Кирова. Думаю, что и отец отнесся к этому «происшествию» как к случайности, домой же не поднялся, чтобы не напугать меня своим кашлем и синяками.

Тридцать четвертый год проходил под знаком подготовки к «Лиру».

Как художественный руководитель театра, отец не имел времени посвятить себя работе над одним только спектаклем. «Лир» требовал огромной подготовительной работы — «строительных лесов», по папиному выражению, — занявшей в общей слож-

ности больше двух лет. За это время папа сделал две постановки — «Мера строгости» Д. Бергельсона и «Миллионер, дантист и бедняк» (водевиль французского драматурга Лябиша), которую ставил Леон Муссиак, режиссер из Франции.

Прочя пьесу, отец с наслаждением, буквально купаясь в находках, проиграл нам дома всю роль Бедняка, но роль эта понравилась Зускину, и отец уступил. В спектакле он играл Дантиста.

Жан-Ришар Блок, побывавший на спектакле, написал: «...Замечательный артист Михозлс создает из Дантиста Гредана образ, не раз соприкасающийся в своей выразительности с лучшими образами Чаплина».

А мне как раз запомнился эпизод, где влюбленный Бедняк-Зускин хочет броситься в Сену от несчастной любви, и во всей грациозной нелепости его фигуры, в его пластике и в обаянии было действительно что-то от Чаплина.

От того периода мне запомнились бесконечные переговоры с режиссерами, художниками, репетиции, репетиции и репетиции. До определенного времени ни у нас, ни у папы жизни вне театра не было. Мы жили каждой его удачей и неудачей, каждой находкой в роли и мизансцене.

Репетиции «Лира» двигались медленно и трудно. Путь Михозлса — человека и актера — к «Королю Лиру» Шекспира был драматичен, долг и не случаен. Он пришел к Шекспиру через трагический опыт своей собственной жизни, жизни своего народа, страны, в которой он жил, родился и работал.

Его исполнение роли короля Лира называли «мудрым». Таким оно и было.

«Мне казалось, что путь Лира в трагедии идет не от старости к смерти, а от старой изношенной статичной идеологии к обновленной, бурной и гораздо более молодой», — писал отец в своей большой статье «Моя работа над 'Королем Лиром'». Статья эта дает неко-

торое представление о том гигантском труде, который проделал Михозлс в этой постановке.

«...Исходная точка моей концепции трагедии заключалась в том, что король созвал дочерей, явился к ним с уже *заранее обдуман-ным намерением*. Легкость, с которой он отказывается от своей великой власти, привела меня к выводу, что для Лира многие общепринятые ценности обесценились, что он обрел какое-то новое философское понимание жизни (...) Уже самый факт, что он решил платить за лесть, доказывает, что слова любви он ни во что не ставит.

Трагедия для меня начинается не там, где Лира выгоняет Гонерилья. Трагедия начинается там, где Лир выгоняет Корделию, то есть в первом акте...»

Я смотрела спектакль больше ста раз. Знала его наизусть. Но самое первое впечатление от выхода короля осталось на всю жизнь как одно из сильнейших потрясений.

Под звуки церемониального марша торжественно шествуют придворные. Внезапно музыка обрывается. В полной тишине, откуда-то сбоку незаметно появляется старый король. Сгорбившись, запахнувшись по домашнему в мантию, как в простой плащ, Лир направляется к трону с опущенной головой, ни на кого не глядя.

На троне уже восседает Шут. Лир ласково-небрежно стаскивает его за ухо, поднимает, наконец, глаза и обводит взглядом склоненные головы придворных. Впервые можно увидеть его лицо. Без грима. Без традиционной бороды. Лицо владыки и скептика.

Легким движением пальцев пересчитывает король собравшихся. Он не видит Корделии, которая спряталась за спинкой трона, но вот она появляется, и раздается его дробный старческий смешок. Этот смешок был одним из лейтмотивов Лира. Он повторяется неоднократно на протяжении спектакля...

«Я, правда, сперва смутился: можно ли начать огромную трагедию выдающегося произведения Шекспира с мелкого, ничего не обозначающего дряблого смеха. Но я решил, что в конечном счете

этот вопрос имеет чисто формальное внешнее значение. Мне кажется, что важно в начале ни в коем случае не дать зрителю почувствовать, что с Лиром произойдет трагедия. Надо зрителю показать совершенно безоблачное небо, чтобы тем острее он увидел потом грозовые тучи на этом небе.

Этот дряблый смех Лира также затем превратится в трагедии в лейтмотив. (...)

В самый напряженный момент внутренней жизни Лира, в час его тяжелых невзгод, вдруг раздается этот легкий смех. Отчего? Оттого, что теперь, когда все бывшие убеждения развеяны, все бывшие ценности разрушены, Лир вспоминает о единственной бесспорной ценности, добытой им за всю прожитую жизнь, — о Корделии.

В заключительной сцене Лир последний вздох свой кончает этим смехом. Но смех здесь уже не беззаботный, как в первом акте. Теперь даже трудно решить — смех это или рыдание».

Незадолго до премьеры актеры вернулись с репетиции какие-то непривычно притихшие. Вид они имели весьма потрясенный. На кухне не гремели сковородки, не несло супом, не переругивались актерские жены. Было тихо, как в церкви.

Хотя я не пропустила почти ни одного спектакля «Лира», я по сей день жалею, что не присутствовала на той репетиции. В тот день папа впервые сыграл сцену смерти Лира.

Когда он вернулся домой, по его радостному и лукавому выражению лица — «показал я им сегодня, где раки зимуют!» — я поняла, что он доволен репетицией.

Спустя несколько дней, перед началом генеральной репетиции, в театре ощущался тот не передаваемый словами радостный подъем, то общее возбуждение, которое и есть, по-видимому, предчувствие большого события. Только папа хмурился и ворчал: «рано радоваться... нечего делить шкуру неубитого медведя...» и прочие заклатья. Ибо это и в самом деле были заклатья — папа был до ужаса суеверен и боялся «сглаза». На самом деле он, как и все — от рабочих сцены до постановщика спектакля С. Радлова, — знал, что «Лир получился».

В последней сцене, которая всегда одинаково потрясала, Лир появляется с мертвой Корделией на руках и, обходя стоящих в безмолвии воинов, трижды произносит «горе, горе, горе», затем бережно опускает на землю тело мертвой дочери со словами: «Собака, лошадь, мышь — они живут, а ты, ты не живешь, не дышишь! Дитя мое!» На мгновенье отвернувшись от нее, он издает тихий протяжный стон. Потом, как бы вспоминая пройденную жизнь, отрывисто напевает песенку, которую пел обычно, возвращаясь с охоты, — два-три такта, и песенка переходит в смех, похожий на мучительный стон. Он ложится на землю рядом с Корделией, прикладывает палец к ее губам, едва слышно повторяет: «уста... уста... видите?» — и умирает. По концепции Михозлса, эти последние слова Лира означают, что вот эти уста впервые произнесли правду.

Сцена эта ошеломляла. Пока медленно опускался занавес, в зале стояла мертвая тишина, и лишь когда актеры выходили на поклон, зал разражался оглушительными аплодисментами. И так проходили все спектакли, начиная с генеральной репетиции и кончая последним спектаклем «Короля Лира» 18 января 1944 года.

Зато, как я ни пытаюсь вспомнить премьеру и вообще какие-нибудь подробности, связанные с этим днем, — в памяти полный провал. Напряжение и волнение были столь велики, что день, как был, целиком выпал из моей памяти.

1935 год был годом Шекспира. Многие московские театры подготовили такие незабываемые спектакли, как «Отелло» в Малом театре с Остужевым в главной роли или «Ромео и Джульетта» в театре Революции с ученицей Мейерхольда М. Бабановой в роли Джульетты. Но, по общему признанию, Лир в исполнении Михозлса представлял собой явление, равного которому не было.

О постановке «Лира» в Госете и об игре Михозлса написано бесчисленное количество статей и исследований. Однако нигде не упоминается такое своеобразное явление, как зрители-«болельщики», смотревшие спектакль столько раз, сколько он шел в Москве. Посмотрев его однажды, они уже не могли усидеть дома, зная, что вечером на Малой Бронной Михозлс играет Лира.

Одной из таких «болельщиц» была Лидия Туммерман. Она и ее муж — крупный ученый Лев Абрамович Туммерман — были арестованы в декабре сорок седьмого года за «участие в сионистской организации» и за содействие «главному агенту Джойнта Михозлсу». Произошло это еще при жизни отца, который и не подозревал (а может, подозревал?), что на него заводится дело, по которому будут сидеть десятки сотен людей, а его самого бандитски убьют темной ночью на улице чужого города...

Не пропустила ни одного спектакля и Вера Тарасова. Она сделала тогда множество зарисовок, которые помогают сейчас восстановить отдельные мизансцены спектакля. На одном из своих офортов художница сделала трогательную надпись: «Дорогой Соломон Михайлович! Большое спасибо Вам за ту радость, почти счастье, которое я испытываю каждый раз, когда смотрю у Вас Лира. 1. 2. 36».

Лева Шнапер, или «Лейб-хирург», как звал его папа, в самом деле хирург в одном из отделений Боткинской больницы, раз и навсегда объявил, что он — постоянный дежурный на спектаклях Госета, но «если не идет Лир, то я дежурю в больнице». «Дежурных врачей», а тем более хирургов, в театре никогда не было, но Левушка Шнапер исправно приходил «дежурить» на каждый спектакль.

Однажды его присутствие оказалось более чем необходимо. На одном из спектаклей, в сцене, где Лир под победные звуки фанфар возвращается с охоты,

слуга подает ему зайца, которому Лир отрезает ухо. Нож был настоящий, и вдруг я увидела, как папа промахнулся и вместо зайца полоснул со всей силы ножом по собственному пальцу. Кровь закапала на пол. До конца картины оставалось еще много времени, я сидела близко и, конечно, уже ничего, кроме этого окровавленного пальца, не видела, но, когда Лир со своими придворными наконец удалился, за кулисами его уже ждал Лейб-медик, который немедленно наложил повязку королю.

Так и увековечен Михоэлс-Лир с перевязанным пальцем в пятиминутном фильме, сделанном для границы по заказу Гордона Крэга.

На одном из первых спектаклей я обратила внимание на сидящего у самых дверей породистого седого господина. От прочей публики он явно отличался чем-то неуловимым, как пишет Булгаков про Воланда: «словом, иностранец». Господин этот оказался великим и прославленным Гордоном Крэгом.

В первом же антракте я встретила его в примерной отца. Крэг взволнованно говорил с папой, не без помощи переводчика, разумеется. Отец стоял явно смущенный и растроганный похвалами знаменитого англичанина. Назавтра во всех газетах появилась статья Крэга о «Лире».

«...Подлинной неожиданностью, без всякого преувеличения потрясением, оказался для меня «Король Лир»! Должен сказать, что эта пьеса является для меня самой близкой и любимой из всего шекспировского репертуара. Поэтому я шел в театр на спектакль с нескрываемым недоверием. Я даже попросил Михоэлса, чтобы мне было оставлено такое место, с которого я мог бы подняться и уйти, когда мне заблагорассудится. Но вот я в партере. Я понял сокровенный смысл жеста руки актера Михоэлса во второй сцене первого акта, и я понял также, что с такого спектакля уходить нельзя. Со времен моего учителя, великого Ирвинга, я не припомню такого актерского исполнения, которое потрясло бы меня так глубоко до основания, как Михоэлс своим исполнением Лира. Я не умею и не люблю говорить комплименты даже там, где имею на это достаточно оснований.

Но какие бы похвалы ни были сказаны в адрес актера Михоэлса, это не будет преувеличением. Теперь мне ясно, почему в Англии нет настоящего Шекспира в театре. Потому что там нет такого актера, как Михоэлс».

Гордон Крэг, в числе прочих иностранных гостей, был приглашен на шекспировский фестиваль, проходивший в Москве в апреле 1935 года. После первого посещения «Лира» он тоже стал «болельщиком» и не пропустил ни одного спектакля, а по возвращении в Англию прислал Михоэлсу приглашение исполнить на идиш роль Короля Лира в Шекспировском театре Глобус.

Однако приглашения отец так и не получил. Кто надо за него ответил, что Михоэлс, к сожалению, болен и приехать не может. Мы же узнали обо всем этом из личного письма Крэга к папе, по чистому недосмотру дошедшему до адресата, в котором Крэг сожалеет о папиной «болезни» и их несостоявшейся совместной работе.

Вместо того чтобы отпускать Михоэлса в Англию, было решено сделать маленький киномонтаж — отрывок изгнания Кента, проход пленного короля с Корделией и сцена смерти.

Сравнительно недавно был отснят документальный фильм «Шекспир на советской сцене», в который включили и фрагменты из «Лира». Режиссер фильма подарил мне коротенькую киноленту, и мне удалось провезти ее, как и письмо Гордона Крэга, с собой в Израиль. Увы, эти отрывки не могут дать даже отдаленного представления о спектакле, который стал в свое время событием в театральной жизни.

Литература и время

Жорж Н и в а

РУССКИЙ РОМАН И ЕГО ПРЕДРЕВОЛЮЦИОННЫЕ «СЫНКИ»

*«Медный Гость сказал ему: Здравствуй, сынок!»
Андрей Белый, «Петербург»*

В 1901 году появилась большая повесть Горького «Трое». Она сложно построена: первые страницы составляют как бы эпический пролог («Среди лесов Керженца рассеяно много одиноких могил, в них тлеют кости старцев, людей древнего благочестия, об одном из таких старцев — Антипе — в деревнях, на Керженце, рассказывают...»). Пролог этот способствует нашему восприятию дальнейшего развития сюжета как чего-то, испокон веков запрограммированного; эпизоды параллельных жизней трех друзей, «троих», таким образом заранее входят в злую судьбу, в мифологию несчастья. Смерть старца, молящегося под стук солдатских топоров (велено разорить скиты), предопределяет все дальнейшее. У Горького это обрамление играет большую роль. Происходящее входит в нечто большее, в цепь времен; это по-настоящему цепь, она сковывает человека. А вот главный герой повести, Илья, заходит к меняле Полуэктову, мужу и обладателю любимой им Олимпиады:

«Илья полез в карман за кошельком. Но рука его не находила кармана и дрожала так же, как дрожало сердце от ненависти к старику и страха перед ним. Шаря под поллой пальто, он упорно смотрел на маленькую лысую голову, и по спине у него пробегал холод...»

Такой же холод испытывал Раскольников перед старухой-процентщицей, и мы как будто узнаем сцену. Илья убивает менялу с таким же внезапным ожесточением. Убийство — результат такого же смешения воли и подсознательного. Шея старика сама просилась к задушению, как шея старика Карамазова. Вся сцена написана под Достоевского.

Эта сцена, удивительно садистская, как бы открывает XX век в русской литературе. Илья невиновен-виновен. Много и по-всякому убивают в русской прозе дореволюционного периода. В VII главе «Петербурга» Белого убийство провокатора Липпанченко обезумевшим террористом Дудкиным также написано под Достоевского, но неменяемость убийцы еще яснее: он весь руководим чем-то (медными лучами луны, медью орудия убийства — ножниц, медью Медного Всадника). У Горького удушаемый старик хрипит и сам протягивает шею к убийце. У Белого распластанный на двери Липпанченко «полоснут по голой спине от лопаток до зада», как безволосый поросенок... Илья у Горького, облокотясь на подоконник, думает о том, как хорошо бы выстрелить в веселых людей напротив: «Дробь долетит, он представил себе испуганные, окровавленные морды, смятение, визг и улыбнулся с дикой радостью в сердце...» Так же прислушивается Николай Аполлонович к тиканью бомбы, «сардинницы ужасного содержания». Конец Ильи, его побег от людей, его страшный удар о холодную, серую, каменную стену вполне предвещает самые жуткие самоубийства у Андреева, у Белого, у Сологуба: «Удар похожий на всплеск речной волны, раздался во тьме ночи, он прозвучал тупо, коротко и замер...» А бывшие друзья детства, Яков, ставший поклонником Екклезиаста, и Петр, зазнавшийся революционер, не могут ответить на испуганные вопросы Ильи: почему все звери, почему всюду зверская жадность? В повести «Трое» нет просветов, нет намеков на будущую «радость». Когда Илья ду-

мает о мести за все «пакости жизни», ему мерещится богатство (как и Раскольникову): «Он заставил бы их на четвереньках ходить перед собой». (Не так ли заставлял и Настасья Филипповна?..)

«Мать» — роман идеологически-тенденциозный. По примеру Толстого в «Воскресении», Горький выдвигает на первый план коллективный персонаж — рабочего. Но после «Матери» он пишет «окуровский» цикл — «Городок Окуров» и «Жизнь Матвея Кожемякина». И опять все обрамлено, запрограммировано. События доходят до нас сквозь густые слои «быта». Гоголевская застылость сковывает жизнь. Кожемякин — одинокий, одичавший мечтатель. Его дневник-хроника «остраняет» все происходящее. В зеркале его дневника мы видим отражение дикости и зверства окуровской жизни, где все красивое в человеке «слиняло, погасло, исчезло», где соседние части города ведут злую борьбу между собой, как какие-то первобытные племена. Кожемякин — правдоискатель, он ходит к старцу лечить свою скуку, дает приют Божьим людям и сосланным интеллигентам, но общий язык находит лишь с девочкой Любой. Революция, волнения доходят до Окурова в суженном, искаженном виде. «Там, в Саратовской, вокруг волнение идет, народишко усиливается понять свою жизнь, а между прочим сжигает барские дома. Конечно, у него есть своя мысль на это, ибо — скажем прямо — господа его жгли живьем в свою пору, а все-таки усадьба — не виновата!» Тиунов, один из учителей Кожемякина, говорит: «Так, мельтешит что-то иногда, а что и где — не понимаю! Исполнен жалости и по горло налит кипящей слезой — тут и все! И боюсь: Россия может погибнуть!»

Одновременно появились «Городок Окуров» Горького и «Серебряный голубь» Белого. Поражает общность тем и тональности. Сосланная Мансурова говорит у Горького: «Так странно, точно я не русская или попала в чужую страну, говорю непонятным языком

и все меня боятся». Таким же чужим чувствует себя студент Дарьяльский до своего поступления в секту «голубей». Горький возмущается «темнотой» русской жизни. Дарьяльского тянет, влечет в эту темную жизнь. «Россия есть то, о что разбивается книга, распыляется знание да и самая сжигается жизнь». Все дико и грозно в избе столяра, главы секты. И Дарьяльский все глубже уходит в эту темную Россию, в Россию грозного молчания, загадочных поговорок и «красного петуха». Он погибает, затоптанный в бане восемью ногами, по приказанию столяра. В глухое Целебеево события проникают так же искаженно и глухо, как в горьковский Окуров. «На селе же гуляла молва о пощечине, о бунтарстве одной непокорной деревни, о казаках да о багровых столбах удаленных пожарищ» («Серебряный голубь»). «Город был весь наполнен осторожным шепотом — шептались и обыватели и начальство... В общем город начинал жить, точно собираясь куда-то, и мужья на предложение жен купить то или другое в виду зимы отвечали неопределенно: — Погоди! еще неизвестно, что будет... И вдруг все остановилось: остался среди лесов и болот маленький городок, и все люди в нем почувствовали себя забытыми» («Городок Окуров»). Именно это чувство «забытости» связывает Русь Белого с Россией Горького. Эпиграф к «Городку Окурову» мог бы стать эпиграфом к «Серебряному голубю»: «...уездная звериная глушь» (цитата из Достоевского). Поэт Сима погибает у Горького так же страшно, как Дарьяльский у Белого: «Сима захрипел, царапая ногтями крепкую руку, душившую его, откидывал голову назад и странно, точно дразнясь, двигал языком, глаза его выкатывались из орбит. Вавила ударил левой рукой «под душу» Симе и сжал его шею всеми десятью пальцами; пальцы сжимались все крепче, под ними хрустели хрящи, руки Симы повисли вдоль тела и шарили по бокам, словно отыскивая карманы» («Городок Окуров»). В принципе

Горький ненавидит мещанскую, жуткую жизнь Окурова. Однако Кожемякин, типичный горьковский отщепенец, не сумел взбунтоваться, как Фома Гордеев, но «медленно проходя мимо этой мирной жизни... ощущал зависть к ее тихому течению, ему хотелось подойти к людям, сидеть за столом с ними и слушать обстоятельные речи, — речи, в которых всегда так много отмечалось подробностей, что трудно было поймать их общий смысл» («Жизнь Матвея Кожемякина», I). И, как ни странно, такую же зависть к низам русской жуткой жизни испытывает не только Дарьяльский Белого, «ушедший в русские поля», но и сенатор Аблеухов в «Петербурге»: «К обывателю Аполлон Аполлонович почувствовал интерес, и был миг, когда он хотел постучаться, чтобы найти обывателя» («Петербург», I, 4).

Я привел эти примеры соприкосновения Горького с Белым, чтобы лучше поставить вопрос, который ставил профессор Венгеров в введении к книге «Русская литература XX века». (Книга издана в 1913 г., так что «двадцатый век» — это девятисотые годы двадцатого века.) «Есть ли какая-нибудь возможность объединить эту калейдоскопичность, отыскать в ней центральный пункт, около которого все вращается? Можно, *должно*, есть тут единство, должно быть, ибо литература есть нечто органическое, и не может уйти человек, да еще писатель, т. е. человек с повышенной впечатлительностью, от условий времени своего». Для Венгерова существует некое психологическое единство: «вихревые настроения дней борьбы», «спад безумно высоко поднявшейся общественной волны», «чад головешек недавнего величественного пожара 'горящих зданий'». Однако ни Венгеров в своем введении, ни его соавторы в статьях об отдельных писателях не раскрывают эти нити, связывающие эпоху.

В советском литературоведении долгое время все было абсолютно искажено политической классифика-

цией. Венгеров различал «общественников» и «декадентов». В советском литературоведении принято отличать критических реалистов от реалистов-революционеров и от декадентов и «ренегатов». В заключительной главе двухтомника Пушкинского дома о русском романе Фридлиндер утверждает, что русский роман рос «на пафосе отрицания» и именно поэтому стал предметом изучения за рубежом. Для Фридлиндера русский роман отличается «предельной простотой сюжетного развития», «отказом от традиционных авантюрных и 'романических' условностей», «свободным, широким и всесторонним изображением правды жизни», «изображением, проникнутым высоким гуманизмом, верой в достоинство и ценность человеческой личности». «История русского романа» кончается на ранних романах Горького. В ней отсутствуют Мережковский — автор исторической трилогии, Брюсов — автор «Огненного ангела», Сологуб — автор «Мелкого беса» и «Творимой легенды», Зинаида Гippiус — автор «Чертовой куклы», Андрей Белый — автор «Серебряного голубя» и «Петербурга», Арцыбашев — автор многочисленных романов (в том числе — знаменитого «Санина»), Ропшин (Савинков) — автор романа «Конь бледный», а также русско-еврейские писатели Айзман и Юшкевич и еще много других авторов. Отсутствие этих книг нельзя оправдать, ибо нельзя назвать «Мелкий бес» Сологуба, «Петербург» Белого или «Леона Дрея» Юшкевича иначе, как романами. Но, если следовать определению Фридлиндера, эти романы — не «русские». «Мелкий бес» отличается скорее садизмом, чем гуманизмом; «Петербург» замечателен сложностью сюжетной конструкции; «Леон Дрей» — это чисто авантюрный и даже «плутовской» роман, однако явно пародийный.

Русский роман начала XX века неразрывно связан со всеми другими жанрами современной литературы; так что, если говорить о романе, придется коснуться

драмы, поэзии, жанров рассказа, повести и даже критики. Для Сологуба роман — одна из возможностей выразить то же самое, что выражают его поэзия и его рассказы. Границы не ясны. Темы переходят от одного жанра к другому. У Белого ясна связь «Серебряного голубя» со сборником «Золото в лазури», «Петербург» — со сборником «Пепел». «Красное домино» фигурирует и там и тут. К тому же такой писатель, как Леонид Андреев, никогда не писавший романов в собственном смысле слова, тесно связан всем своим творчеством с историей русского романа эпохи символизма. Впрочем, как определить жанр, скажем, «Красного смеха»? Ведь «Красный смех» — это дневник, как и «Конь бледный», как, частично, «Жизнь Матвея Кожемякина», как «Последние страницы дневника женщины» Валерия Брюсова.

«Петербург» написан ритмизованной прозой (весь анапестом); так восстанавливается традиция Марлинского, которая ощутима и в раннем Горьком. Ремизов должен быть включен в этот ряд хотя бы из-за одного произведения — «Пруд»: это безусловно роман, хотя в нем есть все элементы дробления фабулы. Ремизов считал, что жанр романа изжит, что больше нельзя начинать роман обычными словами: «Иван Иванович сел за стол» (смотри об этом в «Жили-были» Виктора Шкловского), что писатель должен быть «кочевником» по жанрам. «Посолонь» — книга совершенно новой эстетики, раздробленная на сказочные единицы, но объединенная каким-то космологическим чувством. Однако фольклорность Ремизова во многом родственна Сологубу и Белому. И это такая же ученая книга, как «Огненный ангел» Брюсова; эрудиция, изысканность словесных сочетаний — конструктивный принцип; примечания — органическая составная часть книги. Ремизов — лучший представитель «фольклорной» школы, идущей по стопам Мельникова-Печерского в Заволжье староверов, как в заповедник русского

фольклора. Горький, Белый тоже увлекаются этой старообрядческой Россией. А входит ли Мельников-Печерский в русский роман? Если принять критерии Фридлендера, то придется его исключить.

Равным образом и чисто политические хитросплетения осложнили вопрос о русском романе в начале XX века. Советский «канон» реализма долго исключал из его истории таких бывших «знаньевцев», как Куприн и Бунин, ставших эмигрантами. До сих пор не все творчество Горького переиздается. Где найти его «Исповедь» вне (не)полных собраний сочинений? Запрет касается также «знаньевца» Бориса Зайцева или раннего Замятина (а ведь «Уездное» явно соприкасается как с Белым, так и с Ремизовым). Однако в последнее десятилетие намечаются попытки восстановить общую картину. Появились статья Б. Бялика «Что такое 'русская литература XIX века'?» («Вопросы литературы», 1963, № 6), сборник избранных статей Б. В. Михайловского (Москва, 1968) и, прежде всего, большой коллективный трехтомник «Русская литература конца XIX — начала XX века» под редакцией Б. А. Бялика, Е. В. Тагер и В. Р. Щербины. Это важный и полезный труд; хроника литературной жизни дает очень много исследователю. Но сам текст все еще подчинен прежним моделям классификации. Полемика о «кризисе» творчества Горького в 1906-1907 гг. мало освещена. А ведь когда читаешь статью Философова «Конец Горького» и ответ Блока в статье о реалистах, то ясно, что оба ценят и любят именно поэта «Руси» и что для них он недалек от Белого, автора «Зеленого луга», от «нищей России» символистов. Книга Б. В. Михайловского интересна статьями о раннем Горьком, о влиянии на него скандинавских прозаиков и драматургов, Ибсена и Стриндберга. Михайловский первый, после долгого периода замалчивания, заговорил о «Петербурге» Белого. Предпоследнее издание романа Белого вышло в 1935 г. И вот в 1978, сорок

три года спустя, появилось новое переиздание с интереснейшим послесловием поэта Антокольского, где он пишет: «Должен сознаться, что тогда, «на заре туманной юности», «Петербург» Белого оказал решающее влияние на всю мою работу в поэзии, на мое увлечение русской историей, в частности эпохой Петра Великого, да и Пушкиным тоже». А прозаик Каверин, на которого ссылается Антокольский, пишет в своих мемуарах («Освещенные окна»): «Но 'Петербург'!.. Таким, каким он написан у Белого, он запомнился мне навсегда, и первое чувство, которое я испытал, закрывая роман, — увидеть Петербург, понять этот вставший из мшистых болот загадочный планиметрический город». Публикация «Петербурга» — доказательство того, что картина русского романа в предреволюционную эпоху меняется. Добавочным доказательством является книга Л. Долгополова (он же — автор примечаний к последнему изданию «Петербурга») «На рубеже веков» (Ленинград, 1977). В предисловии Долгополов вновь ставит вопрос Венгерова о единстве этого сложного литературного периода. Для Долгополова настало время обнять «совокупность» явлений этого периода. А «единство» он видит в обостренном, кризисном ощущении истории «на рубеже» двух эпох (выражение заимствовано у Андрея Белого): «Подобной остроты и наглядности связей с исторической действительностью еще не знал герой литературы XIX столетия». По Долгополову, «человек рубежа веков воспринимал и свое время, и самого себя как бы в двух планах — и как некий 'итог', и как некое 'начало'». Автор правильно подчеркивает перемены и в самой публике, и в связях между писателем и его читательской публикой. Чтения, доклады и гастроли писателей стали модным и частым явлением. Установился физический контакт между писателем и читателем. Выступления Блока и Белого в Киеве сыграли немалую роль в

творческих судьбах обоих. Личность писателя становится «меркой» его жизни и его творчества.

В лекциях о русской прозе, прочитанных в Доме Искусств в 1920 г., Евгений Замятин, говоря о «технике художественной прозы», нигде не прибегает к обычной классификации жанров: деления прозы на жанры рассказа, повести, романа для него не существует. Все для него сводится к законам «художественной экономики». Картина приблизительно такая. В начале XX века преобладали писатели-«бытовики» (а не «реалисты»): Чехов, Горький, Бунин, Куприн, а позже Арцыбашев и Чириков, печатавшиеся в «Знании» и «Земле». Лозунг их чеховский: «Моя святая святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь». На смену им пришли символисты, как результат ускорения жизни, с их мечтой о «творимой легенде» и о музыке. «У них рентгеновский прибор, их глаза устроены так, что сквозь материальное тело жизни они видят ее скелет». А на смену символистам пришли «неореалисты», оперируя смехом и юмором (по стопам Гоголя): Сологуб, Ремизов, сам Замятин, Пришвин, Белый «Петербурга». Новая классификация Замятина — такая же искусственная, как классификация Венгерова. Чистых «символистов» (по его определению) никогда и не было. «У неореалистов, в противоположность символистам, действующие лица преувеличенно выпуклы, скульптурны; краски преувеличенно режущие-яркие» (из неопубликованного текста лекций). Определение «неореалистов» скорее относится ко всему периоду: уход от большого города, где люди стали «машинными», «в глушь, в провинцию, в деревню, на окраины». Уход «на окраины» характерен как для Сологуба и Белого, так и для Алексея Толстого с его портретами степных дикарей-помещиков, для Бунина деревенских циклов. Замятин считает общей чертой новейшей прозы обогащение приемов и обеднение «фабулистической изобразительности»;

это сопровождается ритмизованностью новой прозы (у Белого, Сологуба, Ремизова, частично у Горького).

Опираясь на ограниченный материал, я попытаюсь выдвинуть несколько тезисов о русском романе начала XX века.

1. Главное новшество — это метаморфоза героя. Бунин прекрасно ощущал и показал уход со сцены главного героя классического русского романа XIX века, т. е. дворянина-помещика, героя Пушкина, Тургенева, Гончарова и, главным образом, Льва Толстого. Он исчезает вместе с запахом «антоновских яблок». Или превращается в чудаков-дикарей Алексея Толстого. На смену приходит новый и многоликий герой: отщепенец. Это так же верно в применении к Горькому, как и к Белому. Во всех значительных произведениях главным носителем ценностей, бунта, стержнем восприятия является «маргинальный» бунтарь. Фома Гордеев — образцовый пример этой «маргинализации» героя. Или же Кожемякин, мечтатель, который притягивает к себе других отщепенцев. У Белого Дарьяльский — «ренегат» русской интеллигенции, так же, как и Николай Аблеухов. Культ «босяцкой» Руси объединяет Горького, Белого, Ремизова, Замятина. Белый и символисты зачитываются Некрасовым (а любимый поэт «знаньевца» Бунина — Фет). Бегство из города — общая тема. У Горького город — это «страсть к разрушению», у Белого — «многоножка» провокации, бессмыслицы и терроризма. Толстой в «Воскресении» вводит сектанта-бегуна, и этот «бегун» мало-помалу вытесняет героя-помещика: Нехлюдов, последний вариант любимого героя русского романа, исчезает, теряет свой смысл и свою личность.

«Бегун», «человек никакой веры» — это зародыш нового героя-отщепенца, героя, который жаждет самоуничтожения (как все герои Белого, Андреева, Горького) и в самых крайних выражениях этого стремления, у Леонида Андреева, лишен имени, быта, лич-

ности... (Александр Добролюбов стал «бегуном» не в литературе, а в жизни.)

Смысл прежнего героя состоял в том, что он выражал муки совести в определенный момент истории. Новый герой лишен органических связей с почвой, семьей, историей. Тем мучительнее жаждет он окунуться в быт, в густую грязь «глуши», залезть в «петлю безысходной скуки» (Горький), что сам порвал все связи. Этот парадоксальный контраст начинается у Чехова и развивается всеми прозаиками начала века: Сашка Жигулев у Андреева, Ромашов у Куприна, Дарьяльский у Белого и даже жалкая Аграфена у Зайцева. Но мастером этого парадокса является Андреев: он взрывает границы жанров настолько, что может сменить героя своей повести незаметно, как в «Красном смехе».

2. Герой — одержимый: им движет над-человеческая или под-человеческая силы. Он дитя «солнца» или «сатаны». Дети солнца — это новые искатели счастья, новые «богоискатели» или язычники. Юлиан-Отступник Мережковского, умирая, восклицает: «Пусть Галилеяне торжествуют. Мы победим — потом, и с нами солнце!» Грезы о какой-то космической радости окрашивают эпоху; тут Горький перекликается с Бальмонтом и Белым. Но эпоха также зачитывалась Пшибышевским (он стал необыкновенно популярен в России) и в особенности его книгой «Дети сатаны». Дети сатаны — это подпольщики, террористы, «сверхчеловеки», движимые «страстью к разрушению». Аблеуховы, Дудкины — подлинники «детей сатаны», как и многие другие герои (у Брюсова, Арцыбашева, Андреева).

«Порог сознания» стирается. Быт сплетается с безумием Передонова. Действительность воспринимается как «сумбур» (лейтмотив «IV Симфонии» Белого). В своей статье о Пшибышевском Белый пишет (в «Арабесках») о преобладании «жеста тела» над «жестом души». И, действительно, снятие психологи-

ческих мотивировок приводит к своего рода «марионетчности» персонажей — у Сологуба, у Белого, у Андреева, у Гиппиус. В романах изобилуют маскарады. Самый замечательный — в «Петербурге», где и Николай Аблеухов, и Дудкин превращаются в марионеток, в «чертовых кукол».

За персонажами прячется «зверь» — зверь, сидящий в героях Горького, Бунина, Сологуба, разъяренный у Горького жутью быта и скукой, у символистов — «безвременьем».

3. Отметим один из любимых вариантов нового безличного героя: пара *террорист-provokator*. Порождаемый злобой дня, революцией 1905-го года, подавлением террора в последующие годы, этот раздвоенный герой, двуликий Янус, появляется в новой русской прозе повсюду. Террорист и provokator загнилотизировали русскую литературу. Взятые из жизни, подвергнувшиеся мифологизации, они по преимуществу иллюстрируют стирание всех психологических границ: террорист и provokator сначала умышленно, а потом совершенно бесконтрольно и слепо губят свою личность, становятся «теньями». Литература того времени буквально пестрит provokatorами и террористами. Напомним знаменитую книгу самого знаменитого террориста, Савинкова, «Конь бледный», изданную в Ницце в 1913 году. Горький посвятил целую книгу портрету provokatora, агента охраны — «Жизнь ненужного человека», где революция смотрится взором сотрудника тайной службы безопасности. Близкая к этому тема — сложная связь террориста со своей будущей жертвой, например, в рассказе Андреева «Губернатор». Вообще тема provokации, террора, предательства насыщает все творчество Андреева. «Практика предательства» находит свою самую поразительную иллюстрацию в рассказе «Иуда Искариот». Иуда влюблен в свою жертву, Христа. Он даже мужественнее остальных учеников. Поцелуй Иуды суммирует

всю амбивалентность предательства. Это поцелуй и предателя, и преданного ученика. «Можно сказать, что Андреев — на границе трагедии, которой ждем и по которой томимся все мы», — пишет Блок в своей рецензии на «Иуду Искарюта». Для Блока Андреев разрывает, или, скорее, пытается разорвать «прекрасный, но страшный сон, в котором коснеет наша литература».

Однако лучшим произведением эпохи в этом отношении является роман «Петербург». В этой барочной поэме о провокации внутренней и внешней, психологической и исторической — все варианты треугольника «террорист-provokator-жертва». Гениальность книги состоит в стирании всяких границ между компонентами поэмы. Устанавливаются сознательные и неосознательные (даже эротические) связи между террористом и намеченной жертвой, террористом и провокатором. В образе Николая Аполлоновича провокация принимает даже фантастический вид: в своих болезненных фантазиях он проглатывает «жестяницу ужасного содержания», и «гадость» становится «бомбой с тиканьем в животе», с одной стороны, назойливым ритмом самого повествования — с другой.

4. Русская проза начала XX века вся навеяна прежним русским романом, в особенности Достоевским. Писатели приступают ко второму, свежему чтению классиков, прежде всего Достоевского и Гоголя (книги Розанова и Мережковского). Но художественная литература черпает из романов Достоевского скорее «фабульные единицы», «мифологемы», т. е. эпизоды, оторванные от контекста, ставшие как бы независимыми. Например, «мифологема» абсурдного преступления (Раскольников и старуха) воспроизводится во многих вариациях у Горького, Сологуба, Белого, Брюсова. Этот эпизод окрашивается возрастающим «садизмом». У сологубовского Триродова стоит на столе «спрессованный куб» — труп убитого провока-

тора. «И стоял так бывший человеком и ставший вещью среди других вещей». Однако в кубе еще дремала «потенция жизни», и Триродов «не раз уже думал о том, не настала ли пора восстановить Дмитрия Матова и вернуть его в мир живых» («Творимая легенда»).

Написаны под Достоевского многие эпизоды и у Арцыбашева. Блок сравнивает его «Смерть Ланде» с «Идиотом». Пожар в «Пруде» Ремизова, как и сцены у старца, выглядят пародийными вариациями «Бесов».

Романы Белого — целиком вариации на темы русского романа. «Серебряный голубь» не только навеян Гоголем — это мифологизация гоголевской Руси, гоголевской глуши, которая в данном случае глушит буквально. Это гоголевская метафора, гоголевский ритм, и сама секта Голубей — как будто чудовищный вариант «гоголевства». А «Петербург» — роман итогов; по выражению Ольги Форш в «Сумасшедшем корабле», он как бы переплетает, сплетает все мифологемы русского романа от Пушкина и Гоголя до Толстого и Достоевского: прежде всего, надо говорить о мифологеме города, построенного на болотах, Петербурга «Невского проспекта», «Пиковой дамы», «Преступления и наказания». Сцены с Дудкиным — вариации речи Свидригайлова о безумии, порожденном городом. Тема мостов и островов — это Раскольников на Троицком мосту, злобно озирающий «европейский» Петербург. Сенатор Аблеухов — это вариация портрета Каренина у Толстого. Игра террористов с Аблеуховым-младшим — это вариация на тему игры кошки с мышью, Порфирия с Раскольниковым. А само убийство Липпанченки, совершаемое ножницами, напоминает и убийство Карамазова (Дудкин ненавидит его шею так же, как Иван ненавидит кадык отца), и сумасшествие Евгения у Пушкина. Ведь Дудкин весь во власти Медного Всадника, медного света луны (он лунтик), меди ножниц. Миф о городе-палаче, идущий

от Пушкина к Достоевскому, буквально течет в его жилах, смешивается с его кровью. «Петербург» — как бы фантастическая сумма центральных тем русского романа. Как пишет Блок о русской литературе всего периода, это попытка подытожить и взорвать «сон европеизма». Тема «Запад и Восток» (таково заглавие задуманной Белым трилогии) раскрывается в «Петербурге» не только как борьба двух начал, двух кошмаров, завораживающих Россию, но также как итог борьбы русской литературы за освобождение от этих противоборствующих злых чар. Тем самым «Петербург» должно воспринимать как «реинтерпретацию» русского романа: он осмысливается как заклинание, как колдовское действие против двух мощных вражеских сил. Это не только стилизация под Гоголя и Достоевского (есть и доля стилизации, и доля пародии), но, главным образом, мифологизация русского романа, его превращение в орудие спасения.

5. Параллельно с этой мифологизацией русского романа происходит совершенно другое явление. Освобожденный от своего гражданского и религиозного груза, русский роман открывает области, которые до тех пор были для него «белыми пятнами». Его связь с «русской темой», с «русскими чарами», с «русским Богом» ослабевает как результат культурного ренессанса начала века. Явление это связано с исчезновением чувства «двукультурья», на котором основан классический русский роман. Уходит чувство спаянности европейской и русской культуры (ср. «Война и мир»). С одной стороны, происходит «отуземливание» русской культуры. Она уходит вглубь, окрашивается этнографизмом. С другой стороны, освобожденная от «двукультурья» русского дворянского быта, русская проза впервые завоевывает настоящую автономность. Например, историософская трилогия Мережковского «Христос и Антихрист» при всей своей неровности все же вводит в русский роман новую, «языческую» тему.

Савонаролла и Леонардо стали говорить по-русски. Русская тематика «Петра и Алексея» связывается с античностью, с Возрождением, входит в обширную «философскую» систему.

Но гораздо ценнее и важнее для судеб русского романа опыты Валерия Брюсова. Его «Огненный ангел» заставляет русский язык звучать совершенно по-новому, говорить о совершенно чуждых ему реалиях. Его «латинские наброски» («Жизнь Вергилия», «Предсмертный бред Вергилия»), его «Последний император Трапезунда» особенно удачны и ярки.

Экзотика завоевывает области русской прозы, как и русской поэзии. Рассказы Гумилева в сборнике «Тень от пальмы» или «нерусские» рассказы Бунина («Господин из Сан-Франциско», «Сны Чанга») расширяют рамки русской прозы. Андрей Белый вводит в свои книги свои африканские впечатления и переживания.

В этом эскизе речь может идти лишь о самой общей характеристике. Говоря о русском романе начала XX века, нельзя не затронуть более общих проблем — художественной литературы того времени в целом. Единство существует, прежде всего, в психологическом плане. Роман сгущается, приближается к сказу, к легенде, к сказке. Он уходит вглубь злых чар крестьянской жизни или поднимается на какие-то символические подмостки, где исчезает само имя героя. Возможность «толстовского» романа с равновесием между психологическим портретом и гармонией русской природы исчезла. После Чехова — «Мужиков», «В овраге», «Спать хочется» — что-то изменилось бесповоротно. Нарушено «двукультурье» толстовского героя, европейца по образованности, русского по своей близости к мужику. Раскол в русской жизни стал источником мучительного процесса. Русский символизм встречается с Горьким в некоем жутком и стилизованном бытовизме. Статья Блока о реалистах начинается

Горьким, кончается Сологубом. Средняя публика отказывается понимать: «Либо балаган, либо порнография... Какое-то издевательство над публикой... Я всегда мою руки одеколоном после их книг», — говорят ханжи у Куприна (рассказ «Черная молния»). И сам русский роман становится предметом новых толкований («Толстой и Достоевский», «Черт Гоголя» Мережковского, «Испепеленный», статья Брюсова о Гоголе, «Луг зеленый» Белого). Перед новой русской прозой встает вопрос о происхождении, корнях, родстве — по отношению к классическому русскому роману. Новый Гоголь, новый Достоевский возникают вследствие переоценок установившихся ценностей. Блок слышит у них «музыку» гибели, а не фабулу, не нравственный урок, не обличительный пафос. К тому же стала преобладать литература о литературе. Настал «комментативный период», как говорил Блок. «Русский роман» — тяжелое наследство. Став, как Петербург в «Петербурге», «мозговой игрой», он давит своих «сынков»...

Литературный архив

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ СТИХИ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА

Публикация Кирилла Померанцева

Печатаемые здесь три стихотворения Георгия Иванова не вошли ни в один из сборников его стихотворений. Нет их и в полном собрании стихотворений Г. Иванова, изданном В. Сечкаревым и М. Дальтон в Вюрцбурге в 1975 г.

Два первых стихотворения я нашел в тетради, подаренной мне Георгием Ивановым, где его рукой записано около 30 его стихотворений. Насколько мне известно, эти два стихотворения не были напечатаны и в периодике — их, во всяком случае, нет в «Новом Журнале», где Г. Иванов постоянно печатал свои стихи.

Третье, «На взятие Берлина русскими», было написано в мае 1945 г. и записано мною после того, как Георгий Иванов мне его прочитал. Стихотворение отражает иллюзии относительно наступившего тождества СССР и России, которые у Г. Иванова были весьма кратковременны (как показывают другие его стихи). Вероятно, поэтому он даже не послал это стихотворение ни в один журнал.

К. Померанцев

* * *

Плавают в море различные рыбы,
То в одиночку, то целой гурьбой.
Если тех рыбок поймать мы могли бы,
Были б мы сыты с тобой.

Вялили, жарили, в прок бы солили,
Теплые шубки на рыбьем меху
К зимнему холоду сшили...

* * *

Дождя осенняя туманность,
Природы женское тепло...
А я живу — такая странность —
Живу и даже верю в зло.

Всё это было, было, было;
Всё это было, будет, бу...
Плетется рыжая кобыла,
Везет дрова, везет судьбу.

НА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА РУССКИМИ

Над облаками и веками
Бессмертной музыки хвала:
Россия русскими руками
Себя спасла и мир спасла.

Сияет солнце, вьется знамя
И те же вещие слова:
«Ребята, не Москва ль за нами?»
Нет. Много больше, чем Москва!

Искусство

Семен Черток

ЧЕЛОВЕК И ХУДОЖНИК

Характер у кинорежиссера Сергея Параджанова, действительно, задиристый. Когда большой босс, кандидат в члены ЦК КПСС и председатель Союза кинематографистов СССР Л. Кулиджанов сделал бесталанную и скучную экранизацию «Преступления и наказания» Достоевского, официальная критика превознесла фильм и его автора до небес, а молчаливое большинство, как и положено ему, старалось эту тему обходить. Не промолчал только Параджанов. Своё мнение он высказал публично и категорично, телеграфировав Кулиджанову из Киева: «Смотрел преступление как наказание. Сергей Параджанов». Да еще послал телеграмму не в Союз кинематографистов и не на студию им. Горького, где ставилась картина, а на «Мосфильм» — чтобы прочитало и посмеялось как можно больше людей.

Из уст в уста передавались дерзкие, похожие на анекдоты, сценки: Параджанов на приеме у министра кино; режиссер на беседе у секретаря ЦК КП Украины. Последний предложил ему содействие в постановке картины о достижениях колхозного строя, а Параджанов ответил, что согласится, если тот откажется от своего поста и пойдет в колхоз звеньевым... Ситуации были комичными, а суть серьезной: единственный в кино да и во всем советском искусстве художник, вслух говорящий правду.

Кого бы смутил такой человек в свободном мире? Какой власти стал бы поперек пути? А для советской

оказался опасен — остроумием, мальчишеским озорством, независимостью характера. Может ли не раздражать тоскливых кинематографических чинуш, возглавляющих Госкино и Союз кинематографистов, человек и художник, для которого сама жизнь — искусство, непрекращающаяся игра, а искусство — продолжение жизни; одинаковый во всех своих проявлениях: и когда стоит у съемочной камеры, и когда беседует с друзьями и недругами, и когда рисует, составляет эпиграммы, находит и покупает старинную бесценную вещь и с легкостью дарит ее забредшей на «огонек» едва знакомой актрисе, потому что ей эта вещь «к лицу», когда говорит серьезно и когда фантазирует, рассказывая о себе истории, в которые и поверить-то могут лишь лишенные воображения партийные аппаратчики независимо от места их службы. С душой нараспашку, безмерно одаренный, бесконечно талантливый, ни на кого не похожий, он никак не вписывается в жандармскую атмосферу реального социализма, оскорбляет его самым своим существованием.

Потому-то и расправились с Параджановым страшнее, чем с другими. У других, пытающихся делать честные фильмы, но тем более осторожных в жизни, не выпускали картины на экран, не давали ставить новые, их «перерабатывали», лишали гонораров и привилегий, которыми обычно покупают в СССР художников. (Не больно больших, впрочем, привилегий, но ведь в тюрьме убивают за место на нарах и пайку хлеба.) Параджанова тоже пытались купить. Он делал вид, что согласился и смирился, но в действительности и не думал сдаваться и неожиданно выделял дерзкий финт, от которого хохотал сначала весь Киев, затем вся Москва, а потом и вся страна.

Что оставалось обиженным партийным бонзам? Ответить тем же они не могли — не хватало ни юмора, ни ума, не говоря уже о таланте. А если даже у

кого-то и хватило бы, им это «не положено». И они пошли по единственно знакомому им пути. Все знают, что Параджанов щедрый коллекционер произведений народного искусства. Значит, надо обвинить его в спекуляции. Не вышло: на следствии все свидетели подтвердили бескорыстие обвиняемого. Тогда карательным органам приказали подобрать другую статью — обвинить Параджанова в гомосексуализме. Органы трудились долго, доказать ничего не смогли, но вторая неудача грозила им потерей званий и привилегий куда больших, чем режиссерские. В ход пустили угрозы, подкуп, лжесвидетелей, и приговор, давно согласованный с «инстанциями», гласил: шесть лет заключения.

Об этом уже много раз рассказывалось, и нового здесь ничего нет: обвинениями и преследованиями жизненный путь Параджанова не так уж отличается от биографий других художников, чьи фильмы смысли, запрещали, клали на самую дальнюю «полку», заставляли делать не то, что они хотели, в открытых постановлениях и на закрытых инструктажах обвиняли в формализме, антиисторизме, идеологических ошибках, искажении современности, отрыве от народа и других кошмарах. Только преследуют Параджанова еще безжалостнее.

* * *

Одно из свойств подлинного искусства в том, что в нем есть что-то загадочное, не сразу понятное, тайна. Потому и боится его советская власть: а не кроется ли за непонятностью подвох, за сложностью мысли вредная концепция, за необычностью формы обман начальства и своеволие? Когда М. Ромм в «Обыкновенном фашизме» показал искусство гитлеровского Рейха — гладенькое, чистенькое, простенькое, сладенькое, не вызывающее не только двусмысленностей, но

и вообще каких бы то ни было мыслей, в зале неизменно стоял хохот: экран удивительно напоминал знакомое зрителям убогое и мертвое искусство социалистического реализма. Талант советской власти всегда опасен, талант в кино вдвойне, ибо, по предостережению Ленина, кино самое массовое из искусств, и цензура в нем, по сравнению с цензурой на литературу, удесятеренная. Поэтому, как и раньше, в советском кино хорошо себя чувствуют лишь ловкачи, приспособленцы, делеги и бездары. Как и раньше, в нем преследуют талант и независимость.

Первым из нового поколения кинематографистов принял на себя партийный удар М. Хуциев. Его новаторский фильм «Застава Ильича» показал послевоенную молодежь, клянущуюся в верности «идеалам революции», но недовольную окружающей их реальностью, отказывающуюся принимать на веру «заветы отцов», бунтующую против лжи и подлости, мятущуюся, мучительно ищущую самостоятельные ответы на вопросы жизни. Первый за долгое время фильм, заставлявший зрителей думать, был публично осужден и запрещен, долго лежал на «полке», вышел с переделками и под другим названием. Удар был столь силен, что режиссер от него так и не оправился: в 1967 году он снял «Июльский дождь» и с тех пор в течение пятнадцати лет не поставил ни одной игровой картины.

Удивительную по достоверности ленту А. Михалкова-Кончаловского «История Аси Клячиной, которая не вышла замуж потому, что гордая была» заставляли без конца сокращать и переделывать, пока не стало ясно, что даже в последнем оставшемся кадре останется недозволенная правда. Тогда картину просто не выпустили на экраны, а режиссер взялся за экранизации Тургенева и Чехова.

Гордость русского искусства — «Андрей Рублев» А. Тарковского по сценарию, написанному им с Ми-

халковым-Кончаловским, по недосмотру чиновников проданный на Запад и прошедший по всему миру, пять лет ждал демонстрации на своей родине, старел, был выпущен в ничтожном числе копий и снят с экранов сразу после выхода, не дождавшись ни одного печатного слова, даже простого упоминания. Следующий шедевр Тарковского «Зеркало» шел в СССР вторым экраном и далеко не везде. Во многих городах (в Свердловске, например) его сняли с экранов после первого же сеанса.

«Пастораль» О. Иоселиани тоже пять лет ожидала разрешения на всесоюзный прокат, формально получила его, но фактически на экраны не вышла. Предыдущие его ленты «Листопад» и «Жил певчий дрозд» знакомы парижским любителям кино лучше, чем новосибирским или ростовским.

Судьбы великих художников и их отношения с властью часто схожи. Отличаются они друг от друга уникальностью произведений.

* * *

Параджанов начал с произведений вполне ординарных. Как и герой его знаменитой картины «Цвет граната» (1969) поэт Саят-Нова, Сергей Иосифович Параджанов — армянин, родившийся в Тифлисе. Это было в 1924 году. С 1942 по 1945 год учился на вокальном отделении тбилисской консерватории. В 1951 году окончил мастерскую И. Савченко во Всесоюзном институте кинематографии. На киевской студии у Савченко Параджанов проходил практику на фильме «Тарас Шевченко» и, кончив институт, остался работать в Киеве.

Первой его самостоятельной работой был фильм «Андриеш» (1955), поставленный им с Я. Базеляном по одноименной сказке молдавского писателя Е. Букова. Сюжет был перенесен на экран добросовестно,

но не удалось то, что через несколько лет заставило говорить о Параджанове весь кинематографический мир, — передать на экране поэзию: сказочная и бытовая линия не соединились в органическое целое. Следующий его фильм «Первый парень» (о сельской молодежи) оказался и совсем слабым — дидактичным, рыхлым по композиции и безвкусным по стилю. Поиск «своего» фильма был долгим, трудным и, скорее, разочаровывающим. Режиссер увлекся украинским фольклором и пытался найти для него адекватную экранную форму. Поставил «Украинскую рапсодию», «Цветок на камне», документальные ленты об украинском искусстве «Думка», «Наталия Ужвий», «Золотые руки». Мало что в этих картинах предвещало появление фильма «Тени забытых предков» (1965), собравшего подряд призы всех международных киносмотров тех лет — в Риме, Салониках, Лондоне, всего 9 золотых медалей и 16 дипломов.

В СССР картина была принята по-разному. Сначала фильм не решались выпустить, не зная, под какую бюрократическую рубрику его подвести: не производственный, не колхозный, не военно-патриотический, не исторический. Спас дело литературный первоисточник: ссылка на украинскую классику позволяла нижестоящим чиновникам, не читавшим Коцюбинского, важно объяснять вышестоящим, тоже не читавшим Коцюбинского, что дело в специфике западноукраинской литературы. Когда фильм вышел, партийные критики написали на него погромные рецензии: они требовали ясного содержания, четкой и не вызывающей кривотолков мысли и говорили, что изображение не может подменить ясность мировоззрения. Большая часть зрителей осталась в недоумении: воспитанные на строго сюжетном и «доступном» кинемаграфе социалистического реализма, на кинопримитивах, они не поняли и не приняли картину. На Западе она сразу была принята на «ура» не потому,

что широкий зритель там умнее, а потому, что он был лучше подготовлен. Фильмами Шаброля, Трюффо, Годара, Камю, Алена Рене, Ричардсона, Франкенхаймера, Кубрика, Феллини, Антониони, Висконти, Бергмана, подавляющее большинство которых советским зрителям до сих пор недоступно. Не потому подготовлен, что стилистика их фильмов совпадала с «Теньями забытых предков», а потому, что они приучили зрителей к разнообразию, к тому, что само понятие кино связано с новизной и творческим поиском.

Но и в СССР нашлось — и немало — истинных любителей и знатоков искусства, у которых «Тени забытых предков» вызвали истинный восторг. И для тех и других фильм означал «взрыв, разносящий в щепки многие каноны, будоражащий многие заскорузлые вкусы и понятия (...) Талант Параджанова обрел, наконец, свою настоящую величину, прорвался к подлинно художническому самовыражению» (И. Драч). То, что не получалось у Параджанова в предыдущих лентах, — воссоздание поэтического мира, народная форма, современный взгляд на традиционный образ жизни — все это удалось ему теперь. Сюжет именно такого фильма искал все эти годы Параджанов. Он хотел экранизировать «Тараса Бульбу», «Маленького принца», русский эпос «Слово о полку Игореве», армянский «Давид Сасунский», поставить картину о великом грузинском художнике-примитивисте Пиросмани и остановился на произведении М. Коцюбинского. В 42 года к Сергею Параджанову пришла всемирная слава.

Сказочная жизнь Карпатских гор, современное гуцульское искусство и быт соединились на экране с бешеным напором режисерской и операторской фантазии. Этнография из ругательного слова в кино приобрела высокий смысл. Древнеязыческие обряды, причитания и молитвы переплелись с аксессуарами современного горского быта, буйство праздника с правдой

будней, грешное с праведным, пропорции ритмов и красок смешались в цветовую симфонию этого необычного экранного действия.

«Тени забытых предков» открыли целое направление в советском кино, определившее в середине 60-х годов его короткий взлет, его подлинность. Картины молодых режиссеров воссоздавали не уничтоженную советским «образом жизни» стихию народной культуры — музыки, песен, танцев, легенд, через которые авторы утверждали вечную жизнь народа, побеждающую то временное и наносное, что пришло с коммунистическим строем, — из-под пепла и песка показалась вечнозеленая трава. Как огня боящиеся всего свежего и нового, идеологи и практики этого строя быстро поняли, с какой стороны идет подкоп, откуда ветер дует, и название «поэтический кинематограф» употребляется теперь в советской кинокритике только в ругательном смысле, с добавлением слов «так называемый», как будто его на самом деле не было. Они довольно быстро почувствовали, что это только начало, первый шаг, что, разреши показывать на экране неподцензурную правду хотя бы только об обрядах, преданиях и народном искусстве, это кончится правдой о современности, фильмами протеста, составившими в те же годы славу французской «новой волны», кинематографа «сердитых молодых людей» в Англии или «кинема нуово» Латинской Америки. Такой кинематограф и зрел тогда в СССР. Он был задушен в зародыше, едва появившись на свет в нескольких истинно национальных и глубоко поэтических фильмах.

Сегодня этого кинематографа, создателями которого были С. Параджанов, Ю. Ильенко и Л. Осыка на Украине, Э. Лотяну и В. Дербенев в Молдавии, А. Тарковский и А. Михалков-Кончаловский в России, О. Иоселиани, М. Кобахидзе и Г. Шенгелая в Грузии, Б. Мансуров в Туркмении, Г. Малян в Армении, В. Жалакявичюс и Р. Вабалас в Литве, Ш. Аббасов и

А. Хамраев в Узбекистане, Т. Океев в Киргизии, этого кинематографа сегодня больше нет. Одни его создатели куплены званиями, партийными и советскими должностями, загранпоездками и прославляют в фильмах счастливую жизнь народа под солнцем брежневской конституции, другие махнули рукой на прошлое и «клепают» доходные, порой небесталанные коммерческие ленты. Третьи спиваются. Четвертые надеются перехитрить, сделав один фильм «для них», чтобы заработать право сделать второй «для себя», и забывают, что продаться достаточно однажды: профессия девицы легкого поведения не меняется от того, сколько раз в сезон она выходит на панель, а фильм не книга — «в стол» его не напишешь, и кинематографист целиком зависит от государства. Осталось лишь три рыцаря без страха и упрека, лишь трое непобежденных, не предавших самих себя — Параджанов, Тарковский и Иоселиани.

Окрыленный успехом «Теней забытых предков», их автор приносил на студию замысел за замыслом, заявку за заявкой, а они одна за другой «рубились», откладывались, отвергались. Полчища редакторов писали на них доносы, официально именуемые отзывами, и тон их становился все более угрожающим. Фильм «Киевские фрески» проскочил предварительную цензуру, но его «закрыли» в подготовительном периоде. После нескольких таких «закрываний» Параджанов понял, что с Украины пора сматываться.

Он предложил «Арменфильму» картину «Цвет граната» о Саят-Нове — поэте и музыканте, сорок лет хранившем под черной рясой струны саза и до конца своих дней не прекращавшего петь. Учитель Параджанова И. Савченко говорил своим ученикам: «Каждый из вас должен сделать только один фильм. И не важно, когда — в начале, в середине, в конце творческого пути. Важно, чтобы это был фильм боль-

ших и своих мыслей». Параджанову удалось сделать два таких фильма.

Как «Тени забытых предков» не были фильмом традиционно этнографическим, так «Цвет граната» не стал картиной традиционно биографической. Да Параджанов и не восстанавливал на экране действительные события — биография Саят-Новы была лишь поводом для создания нескольких кинематографических миниатюр, соединенных образом вечно живой поэзии, воплощенной в Саят-Нове. На экране предстает не биография, а история души поэта, во многом схожая с историей души постановщика фильма: в драматическое время жестокости, насилия, завоеваний нерушимым остается поэтический мир творца. Фильм и воссоздает мир, в котором жил ашуг, истоки, питавшие его поэзию: национальную архитектуру, народное искусство, природу, музыку, быт. Об эпохе, людях, страстях и мыслях картина рассказывает с помощью условного, но необыкновенно точного языка вещей — изделий ремесленников, одежды, ковров, украшений, убранства жилищ. Того, что является страстью самого постановщика фильма и миром, в котором он живет.

«Цвет граната» не похож на «Тени забытых предков». Не только потому, что в нем другая эпоха, иное место действия, иные герои. Параджанов отказался от всего, что связывает кино с литературой и из чего состоял костяк «Теней забытых предков»: сюжетной фабулы, развития действия, характеров героев, их взаимоотношений. После буйного, все сметающего на своем пути темпа «Теней забытых предков» почти полная статика: на экране, сменяя друг друга, оживают живописные картины с живыми персонажами.

Для Параджанова кинематограф — искусство не разговорное, а изобразительное: красочные одеянья, диковинные обряды и поверья, вещественный облик эпохи, резкая смена красок составляют его содержа-

ние. Небо вдруг становится золотым и загорается ярким желтым цветом. По заросшей сочной зеленой травой крыше древнего, словно выросшего в скалы монастыря, ходят монахи в черных сутанах, они плавно косят траву и, устав от солнечного жара, снимают свои черные сутаны, оставаясь во всем белом. И снова косят сочную зеленую траву на крыше древнего храма. Красочный язык фактур оказывается красноречивее диалога. Как и в первом фильме, речь, песни, звуки жизни наложены на изображение, словно музыка. Свет и краски сливались со звонким смехом юной горянки Марички. Свет и краски сливаются с песнями Саят-Новы.

Когда смертельно раненный мечом завоевателя ашуг умирает под сводами строящегося христианского храма, всё окрашивается в трепещущий огненный цвет. Кажется, что мир виден сквозь людскую кровь. И даже кони — символ гармонии и красоты — становятся огненными.

«Тени забытых предков», шедшие по всему миру под названием «Огненные кони», появились неожиданно. К огненным коням второго фильма всеильный «аппарат» был уже готов: картину разрешили выпустить только на экраны Армении. Для Параджанова это было потрясением. Возможно, что, если бы он пережил его в Закавказье, не было бы всего последующего — следствия, суда, тюрьмы. Но наивный художник опять решил попытаться счастья в Киеве, где злоба и тупость «руководителей» не имеют себе равных даже в Советском Союзе. Через пять лет после постановки «Цвета граната» он оказался за решеткой. Компания протеста на Западе, письма в защиту Параджанова Трюффо, Годара, Висконти, Феллини, Антониони, Росселини, назвавшими его «лучшим советским кинорежиссером за последние полвека», помогли: вместо шести лет режиссер отсидел четыре.

С тех пор он живет то в Тбилиси у матери, то в Ереване у друзей и не сделал ни одного фильма. Все его предложения отвергаются. В заграничном паспорте отказали. И в то же время без фактически запрещенного «Цвета граната» не обходится ни один кинематографический семинар — режиссеров, звукооператоров, художников, сценаристов. По нему учатся пластической выразительности, умению мыслить на экране красками, учатся изображению как способу мышления студенты киноинститута. В виде особого расположения картину показывают в маленьком зале зарубежным гостям союза кинематографистов. И зарабатывают на ней валюту, продавая за рубеж. Как делали это прежде с лентами Тарковского и Иоселиани, недоступными для отечественных зрителей. Как делают это с извлеченными из запасников только для выставок в Нью-Йорке, Лондоне и Париже произведениями живописи.

P.S. Уже после того, как эта статья была написана, пришло известие о том, что в то время, как фильм о Саят-Нове демонстрируется в Париже, его автора арестовали в Тбилиси. Теперь его обвинили не в «подстрекательстве к самоубийству», как это пытались сделать в Киеве, не в краже икон, не в спекуляции иностранной валютой и не в гомосексуализме, а в том, что он «принял у себя людей, которых не должен был принимать».

«НЕВИДАННОЕ ДОСЕЛЕ ПЛЕМЯ...»

(Творчество Олега Целкова)

Олег Целков — художник одержимый. Одержимый живописью.

С того момента, как он твердо осознал, что он хочет стать художником, то есть что он почувствовал «внутреннюю необходимость» сказать *свое* слово путем живописи, он всецело отдался, без компромиссов, целеустремленно, без оглядки, поискам этого искусства, которое его манило. Ему тогда было лет 15. Он долгое время ориентировался в своем новом искомом назначении ощупью, бессистемно, руководясь лишь этой силой в себе, подталкивающей его выявить это нечто, которое сопротивляется воле человека и которое надо преодолеть, чтобы создать мир искусства. Данный Целковым пример вполне применим к его подходу к задачам и задачам искусства:

«С чем большим вниманием я вглядываюсь в картины Ван Гога, тем с большим восторженным недоумением я отмечаю, что он, Ван Гог, не умел ни писать, ни рисовать и вообще не знал всей этой премудрой грамоты, для постижения которой многие тратят десятки лет, обучаясь во всяких художественных академиях и студиях, выжимая последний ум из воспаленных своих мозгов, теряя остроту зрения и твердость руки; и в результате доживают до седых волос, так и не осилив этих премудростей» (Олег Целков. Групповой портрет с арбузом. «Третья Волна» № 5, 1979, стр. 65).

Словом, его учение было скорее самообразовательного типа, хотя он и учился в московской средней художественной школе, в минском институте и в

ленинградской Академии Художеств с 1949 по 1955-й год. В России это время (последние годы жизни Сталина и начало «оттепели») было для искусства темным временем. Малейший уклон от партийного соцреализма считался преступлением. Целкова выгоняли из учебных заведений несколько раз за его желание провести свое независимое видение мира. Режиссер Николай Акимов его принял в 1956 г. в Театральный институт, и в 1958 г. он осуществил в Театре им. В. Комиссаржевской декорации к пьесе Хемингуэя «Пятая колонна», для которой он использовал фактуру и формальные особенности своей живописи.

После XX съезда художественная жизнь в России стала более оживленной. Это не означает, что с этого момента все стало легко, так как наблюдается тот же империализм партийных реакционных органов, сопротивление всех отсталых сил, которые по своей косности и тупости преуспевали в соцреалистической «халтуре» и видели опасность для своих материальных благ в появлении творчества, свободного от каких-либо политически-эстетических догматов. Тем не менее, это свободное творчество делало невероятные усилия, чтобы пробиться через дебри всемогущей советской бюрократии. С конца 50-х до начала 70-х годов устраиваются «однодневные» и «одновечерние» выставки так называемых «нонконформистов», то есть живописцев и скульпторов, развивающих свое искусство вне рамок Союза Художников. На частных квартирах имели место страстные беседы, прения, споры о западной эстетической эволюции, об отсталости России в этой области, об апогее русского искусства 10-х и 20-х годов.

Свою жажду знания живописного творчества Целков утолял, рассматривая работы своих товарищей, неумоимо посещая музеи, улавливая при всякой возможности в книгах и в разговорах об искусстве то, что ему было нужно, чтобы преодолеть ремесленную бес-

помощность. Он изучал прежде всего технику мастеров прошлого, тщательно анализируя их картины, находящиеся в Москве или в Ленинграде. Его притягивала огульно живопись прошлого, но пять художников сыграли огромное значение в его развитии: Рубенс, постсупрематизм Малевича, неореализм Леже, Рембрандт, Ван Гог. Как известно, в России имеются прекрасные образцы искусства Рубенса и Рембрандта. Позднего Малевича (его серия «лик без лица», крестьян и т. д.) он открыл в запасниках Русского Музея в Ленинграде. А Леже его ошеломил на большой выставке французского художника в Москве в 1963 г. И нельзя не упомянуть о строках, посвященных самим Целковым Ван Гогу:

«Да, Ван Гог в страстной немоте своей только и мог хрипеть и извиваться, так как слов таких не изобрел язык человеческий за всю свою историю, которыми мог бы он выразить всю любовь свою к жизни сей в ее некрасивой животворящей плоти, в ее грязной святости. И прохрипев свою страстную песню, теряя от восторга разум, Ван Гог вдохнул жизнь в целое столетие. И капля его крови бьется и в моих жилах» (Групповой портрет с арбузом, там же, стр. 66).

Во всех фазах его творчества, вне зависимости от тематики, наблюдается исключительная мощь живописного как такового. Если от гиперболических форм его картины веет известной грубостью примитива, как это бывает в XX веке, например, у М. Ф. Ларионова (его «Кацапская Венера» или «Весна» 1912 г. очень характерны в этом разрезе) или у Леже конца 20-х — начала 30-х годов, то этот факт не должен затушевывать глубину живописного, которое пронзает все произведения Целкова. У него есть синтетическая живописная культура в том смысле, что он сумел суммировать, обобщить облюбленные им разные живописные культуры. Поражает, как он претворил и интегрировал в совершенно самостоятельную фактуру живописное на-

следие Рембрандта и позднего Малевича. Описать, анализировать это претворение невозможно: надо его видеть, ощущать, осознавать, проникнуть в ткань самого живописного. Это не означает, что Целков подражает каким-нибудь картинам Рембрандта или Малевича. Это не означает и того, что он перенял у них какие-нибудь приемы или искусно смешал свое и чужое. Нет. Он усвоил в них то живописное, которое выявляется словно из недр, из-под поверхности картины, живет таинственной бытийственной жизнью, струится искрой того света, из которого сделан мир и к которому прорывается самосознание твари всеми доступными человеческому уму, умению, ощущению способами.

Известно, что с возникновения Петербурга между северной столицей и Москвой идет и художественное соревнование. Можно даже различить две ориентации в области изобразительного искусства между созданием Петра и Белокаменной, которые со временем еще и усилились. Доминирующей тональностью петербургской живописи была изящность линии, изысканность краски, ретроспективность тематики, европеизм вдохновения и, в общем, известная графичность. Образцом этой петербургской линии можно считать течение «Мира Искусства» в начале XX века. В первопрестольной Москве, наоборот, акцент был всегда поставлен скорее на мощные формы древнего русского искусства, на силу краски, на темы, восходящие скорее к исконным славянским и восточным традициям. Конечно, такое разграничение, как все подобные попытки классификации, остается условным и требует в каждом случае известной нюансировки, так как у больших русских художников границы не проступают так четко. Но мы говорим о доминантах, а не об отдельных случаях. Итак, можно сказать, что творчество Целкова принадлежит к московской школе в своей отменной любви к щедрой, яркой, контрастной краске, в мону-

ментальности форм и даже в известном варварстве мироощущения. Но, как было выше сказано, все эти элементы проходят через призму тонкого знания традиций живописи и большой науки выявлять сущность живописного света и фактуры.

От Рембрандта и отчасти от Малевича Целков унаследовал мастерство проявлять на холсте игру света и тени (например, «Материнство», «Лицо» [1978 г.], «Пять лиц»). Все формы погружены в переливчатые цвета, в колебание между днем и ночью, жизнью и смертью, видимостью и невидимым, лицевой стороной и изнанкой. В этом разрезе художник интегрировал в свое письмо прием Малевича, состоящий из накладывания краски в разных ее оттенках от более светлого к более темному, отчего получается вибрация красочной поверхности. Это один из способов выявления живописного в его таинственном действе быть прорывом в существенность бытия. Уже русский последователь Шеллинга, Н. И. Надеждин, писал, что «великая картина природы составлена из смешения света с тенями», и советовал следовать «примеру великой первохудожницы — природы», прибавляя, что «изящество картин составляется из светотени».

В первых зрелых картинах Целкова, как, например, в его «Автопортрете с женой», или монументальной «Тайной Вечере», вся поверхность светится то в одном, то в другом месте, то одним, то другим цветом. Это не свет караваджиста, не свет импрессиониста, не мистический мозаичный свет, а переливчатая лучистая энергия, модулирующая красочное движение. Этим переливом наполнен «Групповой портрет с арбузом» или «Городской вид» (1975 г.).

Что на первый взгляд является отличительной чертой живописи Олега Целкова, это ее «*pouvoir de commotion*», как говорил теоретик сюрреализма Андре Бретон по поводу силы, подобной электрическому току, которую часто вызывает живописная

энергия. Каждое полотно Целкова производит шок. Этот шок происходит от коллизии мощной уродливости и столь же мощной красоты. В этом смысле есть что-то гоголевское в драмах форм и красок, которые пишет Олег Целков. Что можно назвать «гоголевским» в развертывании тем у Целкова, это категория искусства, в которой переплетаются причудливое, непомерное, непристойное, гротескное, возвышенное, символический пол, смерть, кошмар, греза.

Во всех его картинах присутствует драматургия и инсценировка персонажей в их монологе с мирозданием. Знаменательно, что на всех холстах изображены человеческие лица, которые в действительности суть маски, напоминающие нам эмблематическим образом, что по латыни слово *persona* обозначает комедийную или трагедийную маску, личину. Каждое лицо на полотне, слепок с лица, с изнанки, застыло в одном и том же выражении так, что получается впечатление, будто Целков пишет одно и то же лицо, то есть человека вообще. Надо ли в этом упорном единообразии, в этой повторности, где всякая индивидуальность отстранена, усматривать влияние того общества, в котором Целков провел первую половину своей жизни, в котором человек приневолен иметь одно лишь внешнее лицо — лицо сообразное — конформистское лицо? Кроме того, не случается ли в действительности, что человек не имеет другого лица, чем то, мнящееся только его маской? Иными словами: что кажущееся до такой степени повлияло на сущее, что кажущееся сливается воедино с сущим?

Лица Целкова могут быть в разных положениях, они могут быть украшены разными предметами, как шляпа или бабочка (как, например, «Четырехголовый с гвоздем»), они могут удваиваться («Двое», «Двухлицый»), учетверяться («Четырехголовый с ключами») или упятеряться («Пять лиц»), но они остаются отчаянно теми же самими.

Другая характеристика лиц Целкова: они делятся на две категории: те, рот которых герметически закрыт (например, «Четырехглазый», «Лицо с серьгами», «Казнь» и т. д.), принужденные к молчанию либо насильственным действием, либо волевым актом; и те, рот которых открыт, искривлен криком, почти непристойен («Человек с мотыльком», «Зеленая Маска»...). Руки изображены с тем же репетитивным упорством, как и лица. Они чрезмерно велики, кажутся порой изуродованными. Руки и лица выходят из старомодной одежды, похожей на мундиры русских дореволюционных чиновников.

Лучшее описание целковской иконографии сделано самим живописцем:

«Безволосые гладкие головы, сидящие на мощных шеях, с узенькими лбами и массивными подбородками. Сверлящие, запрященные в узкие щелочки немигающих век зрачки, похожие на взгляд сильного животного, которое неожиданно столкнулось нос к носу и вперилося в твои глаза так, что ты опускаешь свои и боком уходишь прочь, в сторону, боясь оглянуться. Короткие и толстые пальцы огромных рук с усилием раздвигаются, словно и не предполагая в себе сноровистых, ловких, сильных и нервных рук музыканта.

Кто они? В каких глубинах моего сознания возникли, родились они и заставили меня самого же вглядываться в них? Какие черты живших, живущих и будущих жителей земли соединили они в своем облике?» (Групповой портрет с арбузом. Там же, стр. 61).

Кира Сапгир, глядя с точки зрения поэта, верно отметила по поводу «радужных булыжников» О. Целкова, что они «не противопоставлены их творцу. Он сам из этого мира. Он и нас всех видит так. Все мы для него — на одно лицо» (Кира Сапгир. Парад. «Русская Мысль», 22 апр. 1982).

Сила творчества Целкова именно в его проникновении в единоликость человеческого отображения. Это

не символическое изображение человека. Это всечеловек в живописной транскрипции. Это выявление одной грани, через одну щель, всеобщего единоликого тела мира, единосушно и неслиянно сотканного из духа и материи, вообще из всех антиномических начал, доступных нашему сознанию. Выявляя через живопись эту основную антиномию, Целков нас озадачивает, как озадачивает всегда необычный, непривычный, необыкновенный прорыв в тайны бытия.

«Невиданное доселе племя...»

МАРКАДЭ Иван (Жан-Клод) родился в 1937 г. в Гаскони. Окончил Сорбонну по классической филологии и славистике, переводчик с русского и украинского, преподавал в Институте восточных языков, с 1972 г. — научный сотрудник Национального научно-исследовательского центра в Париже. Основная тематика его трудов — творчество Лескова, русская философская мысль и эстетика начала XX века, в частности издание полного собрания сочинений Малевича.

Наша почта

Авторам открытого письма в «Континент»

Пинхосу Подрабинеку, Игорю Промыслову, Владимиру Гершуни (ныне вновь заключенному), Татьяне Трусовой, Виктору Гриневу, Юрию Дикову

Глубокоуважаемые авторы!

К сожалению, мы ознакомились с текстом вашего письма только в «эмигрантском самиздате», а поэтому лишены возможности опубликовать этот текст в нашем журнале: означенный вами в примечании к письму в качестве единственного его распорядителя А. Д. Синявский до сих пор не дал нам на этот счет никаких указаний.

Заверяем вас, что, как только редакция получит от него *официальное* разрешение на публикацию, мы сочтем своим долгом незамедлительно поместить ваше «Открытое письмо» на страницах «Континента». И хотя вы, по вашим собственным словам, не желаете вступать с нами ни в какую полемику и практически запрещаете нам отвечать на письмо, мы, тем не менее, обязательно ответим вам: давайте привыкать к демократии, ибо «игра в одни ворота», которую вы нам предлагаете, и есть, как вы пишете, метод сугубо партийной критики.

С уважением

Редакция

Это письмо пришло нашему итальянскому представителю С. Рапетти из одной славянской страны. Письмо написано по-русски, мы печатаем его с сохранением орфографии оригинала, лишь опустив имя автора (письмо подписано).

Дорогой и уважаемый господин Сергей Рапетти, привет Вам и сотрудникам Континента. У нас просьба: передаст это письмо господину Владимиру Максиму с лучшими пожеланиями и надеждами.

У нас особая просьба — читать и получать Континент — русское издание. Получение номера передам на Восток нашим друзьям — москвичам и киевлянам в подъяремной России.

Мы нуждаемся в следующих номерах Континента: № 18, 23, 24, 25, 26, 29. № 1—17 также. Большое спасибо.

Мы — студенты университета (химия, физика, технология) и у нас большие связи с русскими студентами МГУ на Воробьевых («Ленина») горах в голодной Москве, даже посещаем довольно часто Россию и передаем (полученные нами) журналы свободного мира (Newsweek, Time) и ведём культурно-просветительную работу среди славян и инородных Востока.

У нас надежда — господин Максимов — Вашей добротой — получить ожидаемые номера (1—17 & 18, 23—26, 29) Континента и поэтом передаст на Восток. С уважением и братской любовью: ваши

N & друзья.

ПОНЕМНОГУ О РАЗНОМ

Как мне — писателю, соблазненному текущей политикой и общественной деятельностью, не позавидовать тем своим коллегам по эмиграции, которые с первых дней своего изгнания принципиально встали здесь на позиции чистой литературы. Как это прекрасно быть «просто писателем», возвышаясь «над схваткой» наподобие немого укора политиканствующим борзописцам!

Но — странное дело! — при внимательном рассмотрении повседневной деятельности большинства поборников «чистой литературы» сразу бросается в глаза, что декларации их находятся в вопиющем противоречии с их практикой.

К примеру, один из таких жрецов — «выдающийся литературовед и эссеист», как его называют поклонники, — за первые же несколько лет чисто эстетического противостояния советской власти ухитрился войти в откровенно *политический* конфликт с большинством своих, сколько-нибудь известных коллег по эмиграции и с не меньшим большинством издательских и общественных организаций. С завидной последовательностью он использует любую трибуну для нападок на А. Солженицына (монархизм, клерикализм, национализм!), В. Некрасова (оппортунизм), В. Максимова (антидемократизм, соцреализм, антисемитизм!), «Континент», «Русская мысль», «Посев», «НТС», «ИМКА-ПРЕСС» (все вышеуказанное, вместе взятое!) и прочее, как говорится, и прочее.

Казалось бы, что ему — «просто писателю», далекому, по его собственному выражению, от претензий «на освобождение России», все эти сугубо полити-

ческие «измы»? Ан нет, неймется болезному, видно, заклинания о «чистой литературе», не примиряют его мятежной души с нашей несовершенной действительностью!

Другой подобный же жрец, кстати сказать, единомышленник первого, «просто поэт» и «просто прозаик», что называется, дитя эфира, сочинив скандальную повестушку из разряда «внеполитической литературы», с несколько, правда, порнографическим уклоном, походя облаял в ней всех, кто, по его мнению мешает эстетическому прогрессу человечества: Сахарова, Солженицына, Толстовский фонд, радиостанцию «Свобода», «Новое русское слово», Максимова, Краснова-Левитина и еще нескольких, чтобы, как говорится, под ногами не мешались, за что и удостоился сочувственного, на трех полных колонках отклика «Литературной газеты». И все это на ста с небольшим страничках, в редких просветах между гомосексуальными картинками. Можно себе представить, как развернется плечо и раззудится рука у этого «аполитичного» молодца в более крупномасштабной вещи!

А вот тема из другого ряда.

В одном из номеров нашего журнала, в рецензии на исторический сборник, молодой критик допустил не совсем ловкое выражение по адресу одного из тех немногих, ныне уже, к сожалению, покойных писателей, которые, оставаясь в рамках советской литературы и даже осыпанные ее официальными щедротами, сыграли поистине спасительную роль в судьбе многих гонимых писателей, составляющих сейчас славу и совесть отечественной словесности.

Казалось бы, подобного рода неловкости и оговорки — явление, к сожалению, неизбежное в практике любого печатного органа, и исправляются таковые, как правило, в рабочем порядке. Но не тут-то было! Примерно через две недели после выхода номера (обращая внимание читателя на оперативность его до-

ставки адресату в Россию!) редакция получает разгневанное письмо дочери писателя, уважаемой всеми нами литературной деятельницы, затем, спустя время, ультиматум одного известного правозащитника с требованием извинений перед светлой памятью покойного, а еще позднее коллективное послание от группы правозащитников, где возмущение по вышеуказанному поводу чередуется с безапелляционными указаниями, кого и в какой очередности «Континент» должен печатать, кому адресоваться и в каком направлении идти. Причем авторы заранее отвергают право редакции на какой-либо ответ.

В связи с этим возникает горестный вопрос: не происходит ли в последнее время некоторое смещение нравственных и общественных критериев в определенной среде демократической оппозиции внутри страны, когда систематическое охаивание двух наших лауреатов Нобелевской премии А. Сахарова и А. Солженицына (в особенности последнего) в зарубежной русской печати, а порою и в самиздате, не находят в ее среде ровно никакого отклика, но вот две, подчеркиваю, две, пусть даже неловкие строки по адресу лауреата Ленинской премии (при всем нашем глубочайшем уважении к нему) вызывают с ее стороны такую, прямо скажем, неадекватную реакцию.

Неужели, отвергнув литературный иконостас во главе с реакционным лауреатом Ленинской премии, мы теперь согласимся на установление нового литературного иконостаса во главе с либеральным лауреатом премии того же имени? Разумеется, это дело вкуса и политической ориентации, но во избежание недоговоренностей я должен, безо всяких околичностей предупредить своих оппонентов, что «Континент» и я, как его редактор (и как писатель тоже!), заранее отвергаю эту точку отсчета. Их право соглашаться или не соглашаться со мной, но навязывать мне или журналу свои вкусы и волю, да еще в столь ультимативной

форме не рекомендую, ибо бесполезно. Как говорится, ты сер, а я уж, братец, сед!

И потом, уважаемые, мы же с вами демократы: не нравится — не читайте, свободных журналов у нас, слава Богу, теперь великое множество, есть из чего выбрать!

И в заключение немного о литературном мародерстве.

Сравнительно недавно я получил от американского объединения издателей пригласительный билет на прием в честь русских писателей в изгнании, которому предстояло случиться в славном городе Нью-Йорке, что находится в Соединенных Штатах Америки. И, хотя имени моего в этом приглашении не значилось, мне милостиво разрешалось прибыть туда, разумеется, на свой счёт. Лететь за семь с лишним тысяч верст хлебать этого замечательного киселя, да еще на свой счёт, у меня, конечно, не было ни резона, ни охоты, но, тем не менее, сам факт такого приема я расценил весьма и весьма положительно: как-никак признание нашей литературы на международном уровне.

Правда, несколько обескураживал обозначенный в билете список приглашенных. Кроме меня грешного, отсутствовал в нем и наш единственный Нобелевский лауреат в эмиграции и еще несколько весьма уважаемых в нонконформистской литературе имен, а рядом с общепризнанными писателями объявлялись в качестве таковых люди, творческий актив которых ограничивался уверенной подписью под десятком правозащитных документов. Несомненно, что в этой странной затее со списком не было злого умысла или хозяйского каприза устроителя — уважаемого в Америке и много сделавшего для русской литературы издателя, известного своей объективностью и широтой. В данном случае он явно опирался на советы и консультации специалистов в данной области. Кто же

они — эти специалисты, лукаво подсовывающие подобного рода списки своим наивным заказчикам?

О них и пойдет речь.

Много лет находясь практически в полной культурной изоляции от внешнего мира, большинство из нас — писателей, порвавших в конце концов с официальной литературой, оказались после этого в значительной зависимости от тех гостей из-за рубежа, которые брали на себя риск вывозить наши рукописи за пределы страны и труд позаботиться там об их издании. Многих из них мы до сих пор вспоминаем с почтением и благодарностью, со многими до сих пор поддерживаем самые дружеские, а порою и прежние профессиональные отношения. Без них — этих самоотверженных союзников — было бы немыслимо то, теперь уже всеобщее признание современной русской литературы, какое она получила в наши дни на Западе. Как говорится, исполать им!

Но, к сожалению, некоторые из них (к счастью, совсем немногочисленные!) восприняли свою благородную миссию, как патент на монопольное распоряжение судьбами нашей литературы.

Являя собою в культуре родных стран пустое место, но, пользуясь своими языковыми возможностями и возникающими в связи с этим необходимыми контактами, каждый из них принялся составлять собственную картину не только современной, но и русской литературы вообще. Благо, поймать их за руку до поры, до времени было просто некому.

Один из таких специалистов, к примеру, учредив на казенный счет русское издательство в Голландии, без обиняков заявил в интервью польскому журналу «Культура», как он доволен тем, что в его новоявленном учреждении вообще нет русских. Ничего не скажешь, не умрет человек от скромности.

(Помнится, прочитав это, я предложил последнему в том же журнале представить себе ситуацию на-

оборот: он оказывается в эмиграции в России, а я, едва изучив с пятого на десятое голландский язык, учреждаю в Москве голландское издательство и заявляю всему честному миру, что доволен отсутствием в моем деле голландцев. Интересно, что он сказал бы по этому поводу?)

На мой взгляд, только в результате подобного рода специалистов смог родиться на свет тот «список приглашенных», о котором я говорил выше, где рядом с уважаемыми в русской литературе авторами красовались имена открытых здесь «гениев» из числа недавних версификаторов — выпускников экспериментального литобъединения средней руки, а то и уважаемые, но, к сожалению, не имеющие никакого отношения к литературе общественные деятели.

Как тут не вспомнить назначенного в свое время в писатели Отделом культуры ЦК КПСС, автора телефонной книги СП СССР, присной памяти Константина Воронкова!

Слава Богу, наша литературная репутация на родине не зависит от недобросовестных спекуляций и лукавых статей подобного рода «специалистов русской литературы», но вот в иноязычной среде они, к сожалению, еще способны дезинформировать нашу читательскую аудиторию.

Надолго ли, трудно сказать. Все зависит от нашего желания и решимости надлежащим образом указать этим любителям интеллектуального мародерства на чужих нивах их надлежащее место.

Критика и библиография

ЕГО ЛИЧНОЕ ДЕЛО

(О прозе Бориса Вахтина)

Когда в «Метрополе» была опубликована «Дубленка» Бориса Вахтина, я услышал мнение, что в русскую литературу пришел *писатель*. Я очень люблю «Дубленку», но думаю, что писатель начинается не своим итогом. Борис Вахтин пришел в литературу и стал русским писателем 20 лет назад и не только занял свое место в русской литературе, но многие писатели обязаны ему открытием новых путей, возможностей, подходов.

Вахтин был историком китайской литературы, превосходным знатоком китайской поэзии и ее замечательным переводчиком. О Вахтине-китаисте мне еще хочется рассказать в иной раз и в ином месте. Как в нем совмещалась синология и русская литература и многое, многое другое — это уже особый вопрос, относящийся к его неповторимой личности. Но здесь речь только о его прозе, о которой еще будет много и серьезно написано, потому что, не зная прозы Вахтина, мы не поймем по-настоящему новейшей русской литературы.

В середине пятидесятых годов, в пору послесталинской эйфории, начало появляться то отдельно, а чаще в журналах, *такое*, о чем незадолго до этого мы и помыслить не могли. И все мы звонили друг другу: «Ты уже видел последний номер «Нового мира»?». «Ненастье» Тендрякова, «Не хлебом единым», «Собственное мнение»... Мы вздохнули читали, мы научились понимать между строк, мы в секунду реагировали на намеки. Это было удивительное время — и неплохая школа для нашего поколения.

Борис Вахтин чуть ли не первый среди нас вспомнил о литературе. А где же слово? Где поразительная, божественная красота русской речи? Я не хочу сказать, что писатели, которых мы тогда читали, были равнодушны к слову. Это было бы несправедливо. Читатели были глухие. Как будто и не было в нашем сознании Пушкина, Гоголя, Лескова. Мы

восхищались автором, который умел обойти цензуру. Я помню, как меня поразил вопрос Бориса Вахтина: «А что будет с этими книгами, когда не будет цензуры? А если не понадобятся намеки? А если все можно будет сказать?»

Уже первые литературные опыты Вахтина были наполнены словом, звуком, ритмом, соединением точности и многозначной выразительности (например, «Дневник без имен и чисел»). Вахтин начал писать свою прозу тогда, когда он уже был широко образованным человеком. И отнюдь не только университетским образованием он был силен. Вероятно, благодаря семейной традиции он еще в начале пятидесятых годов знал стихи тех поэтов, даже имена которых как будто перестали существовать: Цветаеву, Ходасевича, Мандельштама, Сологуба. Он первым среди нас «нашел» Вагинова, Добычина, Бориса Житкова («Виктор Вавич»). Он хорошо знал английский язык и умел выкапывать книги из-под земли, когда никто еще не умел, поэтому он читал многих современных западных писателей. Ахматову, которая очень высоко отзывалась о Вахтине, поразил его культурный багаж, почти невероятный для этого поколения.

Когда в ленинградских читательских кругах (наверно, если есть писательские круги, то есть и читательские) стали ходить первые повести Вахтина, кому-то показалось, что они родились из смешения традиций. Кто-то увидел Зошенко, кто-то Платонова, Андрея Белого, Бабея, обернутов, эрудиты заметили отголоски Вагинова. Я думаю, что прежде всего это было не смешение, а воскрешение слова. Если искать источники, то, быть может, начинать нужно не с литературы, а с фольклора.

Связь Вахтина с русской народной поэзией — очевидна. И структура метафор, и постоянные эпитеты, и мифологическое поведение героев, и олицетворение природы и даже неживых предметов, и неспособность умирать, даже после смерти.

Время в прозе Вахтина мифологично и в протяженности, и в последовательности, и не стоит его угадывать с помощью наших житейских часов. И с пространством Вахтин обращается как хочет. И место действия попробуйте определить. Где живет летчик Тютчев, а где Ванька Каин? И где Вахтин обнаружил абсолютно счастливую деревню? «Где она точно расположена, автор вам не скажет. Ни за что. В

России — и этого хватит. Сдохнет, а точнее ничего не скажет» («Одна абсолютно счастливая деревня»). Бывает, что место указывается совсем точно, но и это не помогает читателю, воспитанному на реализме. «Там, где Божий свет четырьмя улицами сливается в одну озаренную точку, там, в этой точке, стоит небесного цвета пивной ларек с русской женщиной тетей Клавой внутри — исчадием житейской мудрости, горнилом великого опыта» («У пивного ларька»).

Нарушение, вернее, разрушение привычных пространственно-временных представлений создает особую субъективную картину мира, совсем непонятную людям, лишенным художественного слуха. «Придется таким людям неприятности говорить, обижать их, убеждать, что никакой одинаковой для них и для автора деревни не может быть в природе, только моя деревня есть, а их деревни нет» («Одна абсолютно счастливая деревня»). И летчик Тютчев видит под собою мир бесконечный, как Сибирь. Кажется, невозможно, читая Вахтина, разобраться в этом мире, потому что он изображает свой мир, невозможно разобраться в истории, если она идет в разные стороны, невозможно понять быт, потому что небытовой Вахтин писатель.

Но оказывается, что мир Вахтина включает богатейшие пласты русской речи, тоску по прошлому, веру в будущее, образы России, молитвы, иронию, пьяное бормотание, шелест листьев и гул войны. Россия оказывается предметом главным, подчас единственным.

В 1966 году Вахтин написал «Письма к самому себе» — явную перекличку с Гоголем. У Гоголя он нашел слова: «Скорбию ангела загорится наша поэзия и, ударивши по всем струнам, какие ни есть в Русском человеке, внесет в самые огрубелые души святыню того, что никакие силы и орудия не могут утвердить в человеке. Вызовет нам нашу Россию, нашу Русскую Россию, не ту, которую показывают нам грубо какие-нибудь квасные патриоты, и не ту, которую вызывают нам из-за моря очужеземившиеся Русские; но ту, которую извлечет она из нас же и покажет таким образом, что все до единого, каких бы ни были они различных мыслей, образов воспитания и мнений, скажут в один голос: 'Это наша Россия; нам в ней приятно и тепло, и мы теперь действительно у себя дома, под своею родной крышей'».

Я не знаю, насколько приятно и тепло было Гоголю в России. Но в этих словах такая великая мечта, которая была импульсом для величайших творений. Эту мечту, эту тоску, это томление невозможно не услышать в главе «Россия» в вахтинском «Ваньке-Каине»:

«Говорят и пишут, что это равнины, рытвины, раздолье росистое; тройка — дугой ее радуга, и трепет полета, трезвон бубенцов...

Правильно — здорово, чтоб вы сдохли, до чего правильно, но ведь это не все.

Говорят, это рабство, страда и спиртное, и храмы-бутылки с крестами, и страх, и раскол, и рассол...

Правильно, верно, ах до чего верно, но это тоже не все.

Говорят, это Разин, разбой, разгул, кутерьма; ракеты, стрельба, тарарам; заставы в степях и по небу, свист кораблей-метеоров, и скрежет металла в чужих городах...

Так это, конечно, так, но и это не все.

Россия. Рука ее левая — Мурманск, а правая — Крым; голова в Брест-Литовске, и струйкой крови течет у Охотского моря река Колыма.

— Только слепой, — говорит Шемилов с гортанным пафосом, — не видит распятия в кресте своего окна и нимба настольной лампы».

И хотя Россия оказывается зачастую единственным смыслом существования героев прозы Вахтина, они не отделены от остального мира. Отсюда и любовь Полины к немцу, и нескончаемая мука русского сержанта, убившего полубившую его немку. Если лесковскому герою непонятно, с какой стати он будет думать о своих «татарских» детях, ведь «они некрещеные-с», то вахтинский герой никогда не забудет своей немки и своей трагедии.

Чтение Вахтина показывает нам, что его персонажи (и даже рассказчики) отнюдь не повторяют мыслей самого автора, и цитировать его героев, чтобы выяснить, как думал Вахтин, неперспективное занятие. И история русская предстает у Вахтина намного ярче, чем это может показаться с первого взгляда. И бытовые детали, подмеченные зорким глазом художника, оказываются еще виднее, оттого что вырваны из реального бытового контекста: «На третьем этаже имелась дверь с гирляндой звонков и с бытовой гармо-

нией, кому сколько полагается звонить и какая правда в какой ящик» («Летчик Тютчев»).

Если образ России в произведениях Вахтина в высшей степени синтетический, то язык его произведений синтетичен в еще большей мере. Его языковые эксперименты не социальные, а именно синтетичны. Речь его героев не открывает нам секрета их происхождения, воспитания, профессии, места рождения, но в совокупности она дает нам поразительную картину современной русской устной речи.

Синтаксис его насыщен голосами и не поддается элементарному разбору даже на уровне предложения. «Река бежит, шуршит, журчит своей дорогой, не поднимая на нас глаза, и я обнимаю его, а я обнимаю ее, и я говорю ей шепотом, а я плачу ему шепотом, и ох уж этот Михеев и ох уж эта Полина и ох уж эта река» («Одна абсолютно счастливая деревня»).

Замечательные эксперименты Вахтина очень точно оценил Вяч. Вс. Иванов. Он понял, что своей прозой Вахтин открывает дорогу переводам на русский язык тех произведений западных авторов, приемы которых были до этого неизвестны русской литературе. «Найти, — писал Иванов, — эквивалент тому, что было достигнуто, например, Джойсом или Фолкнером, можно, только существенно раздвинув границы сложившихся синтаксических норм. Возможно, что здесь удачные переводы смогут прийти лишь вслед за оригинальными произведениями, столь же смело порывающими с обычаями (так, путь переводчику Фолкнера на русский прокладывает синтаксис великолепной прозы Вахтина)».

С другой стороны, я верю, что усилиями многих переводчиков удивительные открытия Вахтина станут доступны иностранному читателю. Задача эта невысказанно трудная, но благодарная. Автор этих строк мог бы рассказать, какой мукой и какой радостью было переводить на английский язык то, что является чудом по-русски, но решительно не согласуется с природой английского языка. «Предыдущее начальство такое отмочило, что и не придумаешь: влюбилось в большеногую и большерукую красавицу, члена сельской делегации одной братской страны, женилось на ней, положив партбилет, когда до этого дошло, и уехало в эту братскую страну, где поселилось в деревне и стало разводить землянику, поскольку там временно коллективизации

все еще тогда не было. Видели это бывшее начальство Филармона Ивановича наши там туристы на базаре, начальство бойко торговало на братском языке, к землякам интереса не проявило, бесплатно земляникой не угостило, на вопросы отвечало скупой, даже выпить отказалось» («Дубленка»).

Я уже не говорю о реалиях, но как быть со средним родом при переводе на английский? Но это уже из области художественного перевода, где Вахтин тоже сказал свое слово.

В. Марамзин заметил, что был момент, когда Борис Вахтин был главным человеком в литературной жизни Ленинграда. Я думаю, что это не преувеличение, хотя такое громкое слово и не соответствует характеру Вахтина. Сейчас становится видно, что его роль далеко не только петербургская. Он начинал то, что впоследствии во многом определило черты современной русской прозы. Каковы эти черты? Как соотносится творчество Вахтина со всей современной русской прозой? Придет время всерьез разобраться в этом.

Сейчас, когда Бориса Вахтина уже нет с нами, пришло время читать его книги.

Михаил Ульман

БЛАГОДАРЕНИЕ ЗА ПОЭТА

Что еще можно сказать о поэзии Геннадия Айги после его собственных размышлений о поэзии вообще и о своей в частности (широко цитируемых в примечаниях к новой книге), после всего, что о нем написано на родине и за границей?

В этой схватке между выраженным и невыразимым, в этом божественном бормотании у Айги лишь один предшественник в западной поэзии — Гельдерлин. Пьер Эмманюэль.

Само слово [в стихах Айги] приводит на память старинную, исчезнувшую культуру чувашей, употреблявшую (...)

Геннадий Айги. Отмеченная зима. Собрание стихотворений в двух частях. Издание подготовила В. К. Лосская. Предисловие Пьера Эмманюэля. «Синтаксис», Париж, 1982.

собственные иероглифы; дело, однако, не в этой реминисценции, а в целом поэтическом мировоззрении, согласно которому действительность полна иероглифами, знаками, символами, художник же пытается их прочесть, иногда наоборот — записать посредством нового иероглифа то, что в обыденном опыте кажется слишком простым и рациональным. Виктор Ворошильский.

Наконец, подумать о достоинстве поэтического Слова... А оно — *иоанническое* (определение Слова апостолом продолжает быть действенным: «*вот сейчас*», *ежесекундно*).

(*Ответственность и существенность нашего слова — в метафорическом соответствии*). Геннадий Айги.

Анализировать сложную поэзию Айги — на первый взгляд, как будто просто. Его метафоричность, его ключевые слова-образы бросаются в глаза и справедливо оказываются в центре внимания исследователей. Его верлибр навсегда опроверг утверждения о непригодности русского поэтического языка к свободному стиху (которые, за вычетом изолированной удачи Мандельштама, прочно подтверждались тщетными попытками от Блока до многих современников Айги). Его синтаксис, неправильности которого всегда правы, вероятно, вызовет, если уже не вызвал, плеяду корявых подражателей. Все это: и метафорику, и верлибр, и синтаксис — можно было бы еще раз проанализировать (глубоко или поверхностно — это уж как Бог даст). Быть может, при этом удалось бы даже совершить несколько важных или второстепенных открытий, но мне хочется найти другое. Не внутреннее, а «внешнее». Место Геннадия Айги в современной русской поэзии.

Собственно, сама картина (карта) ее почти не изучена. Белые пятна, искаженные очертания, нарушенные пропорции. Очень серьезной, высокого класса попыткой вычертить эту карту заново, продраťся за плоскость и неразборчивость принятых представлений о ней я считаю напечатанную в прошлом номере «Континента» статью молодого поэта Александра Сопровского «Конец прекрасной эпохи». И все-таки все время: читая полуслепой экземпляр статьи, добравшийся до нас из Москвы, перепечатывая ее перед сдачей в типографию, читая корректуру и заново восхищаясь точностью диагностического анализа, — я смутно ощущала,

что чего-то мне в ней не хватает. Чего-то, например, в картине поэтического движения (скорее, брожения — от слова «бродить» во всех его значениях) второй половины 50-х годов, когда и началось если не возрождение, то хоть похмельное пробуждение русской поэзии. Чего-то, что я помню, а автор статьи, опирающийся лишь на сохранившиеся и циркулирующие тексты, по молодости своей не знает. Тут же уклонялась я в самоподозрение: а не может быть, что я просто преувеличиваю то, что помню из своей молодости?

Но вот Геннадий Айги — поэт, начавшийся тогда же, поэтический текст, идущий оттуда же: оба хранят верность своим началам — пожалуй, ни у кого иного не найти такой цельности на протяжении двадцати пяти лет.

Я не думаю, что Александр Сопровский не читал Айги. Но в его диагностику Айги решительно не укладывается и, видимо, был опущен как благодатное исключение, лишь подтверждающее правило. Как поэт, развившийся абсолютно вне современного ему поэтического приключения. Идущий — внутри русской поэзии — не от русской поэзии, но от родной чувашской и родственной французской, а следовательно, уберегшийся от опасностей, подстерегающих русского поэта. Кстати, примерно об этом в 1964 г. писала Маита Арнаутова, чешский критик, — ее статья приводится в приложениях к книге.

*Будучи чувашом (...), Айги явно не **отягощен** (выделено мной. — Н. Г.) многолетней и прочной традицией русской поэзии — **прежде всего** (выделено мной. — Н. Г.) идейной, рациональной, граждански направленной, сросшейся с представлением классического русского стиха и соответствующей поэтики, которая в крови у всех русских* (выделено мной. — Н. Г.). *Поэтому он совершенно спонтанно и непредвзято усвоил лучшие черты современной французской поэзии (...). Айги — первый русский поэт, сознательно и последовательно развивающий традиции французской поэзии предсюрреалистического и сюрреалистического периодов. (...) Но в то же время ему удалось (...) совершенно органично вложить этот тип современной поэзии в отличающийся контекст русской поэтической традиции* (выделено мной. — Н. Г.), *распознать его взаимосвязь с одной из линий современной русской поэзии, которая вышла из скреще-*

ния влияний символизма и футуризма и связана с именами Хлебникова и Пастернака (...).

А не наоборот ли? Не русскую ли поэтическую школу вначале — и, прежде всего, действительно, хлебниковскую — прошел Айги, лишь затем приняв оказавшиеся ему близкими французские традиции? Это не антикосмополитический вопрос о приоритете — это попытка разобраться в происхождении как поэтики, так и модели «поэта».

Айги, хоть и студент Литинститута, хоть и начавший рано печататься, — брат двадцатилетним поэтам, бродившим по Москве и Питеру в 55-56-м году и весьма далеким от приводимой А. Сопровским модели молодых людей, сначала наивно поверивших в оттепель, а позднее, поскольку она не состоялась, ушедших в нонконформисты (в конформисты же и вовсе не пошел никто, да и не стремились). Хлебников был их кумиром. Дух свободы был для них не веянием XX съезда, но духом хлебниковской отрешенной независимости. «Политика» в стихах почти не появлялась, и не из страха: сама свобода писать аполитичные стихи ощущалась первейшей политической свободой. Я сознательно не называю имен: иные стали позже известны (но не в официальной печати), кое-кто ушел в литературную поденщину, бросив стихи или продолжая писать для себя да близкого круга, кто-то, конечно, спился, и так далее. Многих тогда же или позднее съела недозированная ирония, о которой так точно пишет А. Сопровский. Но не всех.

Айги неироничен — как Хлебников. Но есть в нем еще нечто, что идет не от Хлебникова, не от французских поэтов, не от древних языческих верований его народа. Сами эти верования, преображенные, — лишь приток глубоко присущей Айги христианской метафизики. Я сказала бы даже — христианской поэтики. Если таковая существует, то это именно поэтика Айги, далеко отошедшая от сознательно-языческого хлебниковского лепета. (Это не констатация, «кто лучше», не сообщение о «прогессе» поэзии от Хлебникова до Айги; глубоко чтимый мною Б. М. Эйхенбаум писал: «Идти нужно не назад и не вперед, а в сторону, — так идет каждое искусство, если оно сознаёт свое дело».)

Иоанническое, ответственное и существенное слово Айги уникально в русской поэзии последнего двадцатилетия. Не кровь чувашская, но акафисты и кондаки, звучавшие в дере-

венской церкви, где святые на иконах глядели ликами усмиренных и принятых в церковное лоно идолов, — были спасением поэта и краеугольным камнем его поэтики, где за строфою:

есмь

— следует строфа:

благодарение

воздуху — чреву вторичному

И если книга стихов Айги уставлена цветами, то его розы, гвоздики, жасмин, флоксы, боярышник не выпевают ликующий пантеистический гимн, а «ограничиваются» строгостью крюковых распевов, и истории их, сквозные из стихотворения в стихотворение сюжеты, воспринимаются житийно. Эта книга уставлена цветами, как храм в праздник. И сосны-с-березой заглядывают в растворенные окна.

Да не библейским ли свободным стихом, так чисто выжившим в русском переводе, но до сих пор не преосуществленным в русской поэзии, рождена и редкостная удача верлибра Айги?

Н. Горбаневская

ДУШЕВНЫЕ БОЛЕЗНИ БЕЗДУШНОГО МИРА

Как можно догадаться по данному вверху заголовку, читателю снова предлагается один из уже ставших обычными маршрутов новой русской литературы — в советский дурдом, но унывать не стоит (хотя в подзаголовке повести и сказано: «Скорбная повесть»), ибо ведет нас туда такой весельчак, как Юз Алешковский. Алешковский являет собой как бы живое опровержение горестных сетований на тяготы эмиграции — на Западе он так же жизнерадостен и остроумен, как и раньше в Москве, и никакая ностальгия не помещала ему по прибытии в Америку сходу сесть за письменный стол и одну за другой выпустить четыре книги (за два года), причем последняя, и лучшая и самая зрелая, задумана и написана уже в Америке. О ней-то и речь.

Юз Алешковский. Синенький скромный платочек. Скорбная повесть. Нью-Йорк, Изд. Чалидзе, 1982.

Полагается каждому новому писателю, появляющемуся на литературном поприще, подыскивать литературные параллели, для быстреего его опознания и удобного размещения на соответствующей полочке литературных традиций и жанров, но, поковырявшись в памяти, таковых параллелей для Алешковского не находим. Правда, при чтении его книг приходит на ум то Зощенко, то Саша Черный. Но все это, разумеется, очень отдаленно. А еще чаще, как ни странно, ассоциации ведут нас в глубь веков — к доброму старому сентиментализму с его наивной откровенностью и прямотой чувства.

Легче всего, конечно, подвести повесть Алешковского под модное ныне слово «сказ», присовокупив что-нибудь о советском фольклоре и т. п. Но не совсем оно так. Стилизует Алешковский не настойчиво, скорее лишь некий пунктир словесный прокладывает (это вам не Ремизов и не Зощенко), словесный регистр его гораздо более условен, как впрочем, и жанровый. Перефразируя знаменитую формулу, спасшую целое поколение советских литераторов от неправильного понимания литературы и, главное, от неправильного ее сочинения, можно сказать, что произведения Алешковского условны по форме и реалистичны по содержанию.

Эта последняя повесть Алешковского тоже, как и предыдущие, — монолог, то есть условно это письмо из психушки героя повести Вдовушкина-Байкина (вот вам и жанр — байка!) «гражданину генсеку, маршалу брезиденту Прежнему¹ Юрию Андроповичу» (коктейлями в таком духе, часто очень крепкими и острыми, изобилует книжка, вообще она почти на каждой странице вспыхивает блесками остроумия, увлекает великолепными взлетами фантазии, к сожалению, перемежающимися вялыми провалами и даже падениями в дурной вкус; неровность — основной недостаток Алешковского). В этом письме-монологе инвалид войны и несчастный алкаш повествует о своей жуткой жизни. Сначала окружение и попытки вместе с дружкой выйти из него, на пределе сил, в изнеможении («даже в плен не возьмут нас — такие жалкие мы и страшные небось»). Дружка (Байкина) убивает снарядами, а у самого Вдовушкина отрывает ногу, которую он и хоронит (реминисценция из Достоевского?) вместе с другом, а заодно и свои документы, присвоив себе Байкины, дабы заменить свою не очень-то чистую анкетку на неподмочен-

ную Байкина. После чего, тяпнув трофейного коньяку, затягивает своей луженой глоткой лейтмотивную всей повести песню «Синенький скромный платочек», чем и спасает всю окруженную дивизию, внушив дух победы впадшим в уныние вооруженным силам (тут уже некий крен в чонкиниаду). Выйдя инвалидом из госпиталя, Вдовушкин под именем Байкина и благодаря его анкетной чистоте становится председателем колхоза, стараясь хоть как-то облегчить жизнь людей под «крысиной советской властью» и утешаясь, что «все ж таки есть польза от социалистической собственности, есть хоть что воровать, а то подошли бы с голода давно уже». Но все же альянс с властью длится у нашего героя недолго, и вливается он неизбежно в семью советских инвалидов-алкашей, все имущество которых — «протез, щедро подаренный страной». И наконец, не вытерпев надругательства над прахом Вдовушкина, то есть Байкина, который постановлено партией считать прахом неизвестного солдата, герой наш вступает в стычку с представителями власти и оказывается в психушке, где уже пребывают среди прочих, на законном своем месте, Маркс и Ленин (то есть больные, выдающие себя за таковых) и откуда летят в ЦК энергичные ленинские директивы и призывы, вроде такого: «Товарищи члены «красных бригад»! Вы — дрожжи мирового хаоса. Не поддавайтесь на провокации буржуазного гуманизма, апеллирующего к пережиткам ваших чувств», или: «Борьба с польским пролетариатом — это борьба за наши собственные шкуры, товарищи, за святость Учения и укрепления власти правящей партии. Срочно расстреляйте десятка три особенно оголтелых профсоюзников, чтобы другим неповадно было противопоставлять свою мещанскую программу нам — уму, чести и совести нашей эпохи».

Но в общем то, что ленинизм есть одно из самых опасных душевных заболеваний нашего времени, здесь лишь декларативно заявляется, и автор поленился проследить все возможности, которые давал прекрасно найденный им сюжетный ход. Эта сюжетная линия мне кажется наиболее слабой в повести.

В психушке Вдовушкин встречает последнего из Втупякиных: всех деятелей советской власти, которые появляются в повести, зовут Втупякиными — начиная от комиссара Втупякина, гонящего солдат на немецкие пулеметы и расстре-

ливающего пытающихся отступать, и кончая этим последним Втупякиным, врачом психбольницы, убежденным, что души нет, а есть лишь душевные болезни, и жестоко издевающимся над инакомыслящими («Не саботируй работу советской психиатрии!»). И этот прием, удачно найденный, к сожалению, останавливается лишь на самом внешнем уровне — на уровне фамилий, не овеществляясь ощутимо.

Но главный герой повести, несомненно, — живой и настоящий. В отличие от героев прежних книг Алешковского, которые были все-таки не более как рупорами авторского говорения, здесь он во плоти и вырастает к концу повести в подлинно трагическую фигуру. Автор хорошо входит в роль героя-рассказчика и умеет дать падения его и слабости без юродства и без цинизма, а героизм — без надрывного пафоса. Просто и хорошо ложатся его слова в конце повести: «Легко душу и судьбу загубить, но и спасти недолго, если ты бесстрашен перед прошлым временем, настоящим и будущим».

В заключение хочется успокоить тех слабонервных, что впадают в панику при виде напечатанного матерного слова, — они могут без особой опаски приблизиться к этой новой книжке Алешковского: количество мата здесь на том предельном минимуме, за которым русский человек просто перестает быть русским.

Юрий Мальцев

ЗАМЕТКА О ДВУХ КНИГАХ ВАСИЛИЯ БЕТАКИ.

Надо ли писать рецензии о книгах сразу же после их выхода? Я лично сомневаюсь в благоразумности такого решения. Расстояние в несколько лет или, по крайней мере, в один год, а в особенности неторопливое, пристальное и многократное изучение текста, гораздо более, на мой взгляд, способствует пониманию характерных черт и качественных достоинств художественного произведения. Литературовед

Василий Бетаки. Замыкание времени. Париж, 1974;
Европа — остров. Париж, 1981.

старой, умной школы скажет нам, что ответственный критик не должен писать об авторе, со дня смерти которого не прошло ста лет. Молодой ученый обратит наше внимание на тот факт, что сегодня пишутся докторские диссертации о 20-летних писателях! Где же истина?

Андре Жид глубокомысленно заметил где-то, что лес создает окончательную форму дерева, и Василий Бетаки, преемник традиций романтиков, классицистов, символистов и экспрессионистов, подпадает под это замечание. Бетаки — поэт героико-трагического, мятежного переживания духовных, исторических и социальных столкновений нашей эпохи, поэт смысловой полифонии, острой драматизации напевности стиха, цикличности стихотворного потока, восприятия века как индивидуального движения мысли. Все это дорого и в высокой степени свойственно ему, но его лирика предстает и преисполненной страха и отравы, поэзией прекрасной буржуазно-интеллектуальной культуры и, наконец, — выражением древнерусского и петербургского пассаизма. Исторически Бетаки принадлежит направлению декадентства, но без брюсовской нарочитости, без самодовлеющей бодлеровской и аполлинеровской задачи эпатажа читателя, и поэтому его творчество, несмотря на тяготение к фрагментации и рапсодичности, носит вполне органический характер.

Представляется вероятным, что Василий Бетаки унаследовал от Иннокентия Анненского культ трепещущей поэтической формы, влюбленность в слово как таковое и необоримое стремление к музыкальности, воплощенной им в новую индивидуальную, суровую и терпкую контрапунктную технику. Поэзия Бетаки является нам не «мелодическим дождем символов» Серебряного века, но — как бы атональным градом образов нервной эпохи экспрессионизма, и сюрреализма. При этом поэт не пользуется пошлыми вульгаризмами, не будучи большим детской забавой многих своих современников, которые забыли или вовсе не знают, что все это не только старо, но и не по силам для людей, не обладающих ни демонизмом Рабле, ни динамизмом Вийона. Бетаки естественно переплетает в своем слове высокие поэтические речения с научными и бытовыми терминами, как и с привычными повседневными оборотами, заимствованными из живого просторечья.

По своей утонченной, духовностью исполненной стилизации, Бетаки — поэт для поэтов, но, по своему языку и своей философии, он — поэт больной души страдающих и томящихся русских европейцев, русских антикоммунистов, тех одержимых русских, которые недоумевают над «разоренностью» западного мира, кризисом его гуманизма. В этом своем противостоянии реалиям Бетаки пытается наполнить замкнутую форму своих стихотворений активным эмоциональным содержанием, передать неустойчивость современности, уравновесить определение сущности своего ницшеанского пессимизма *силы* (НЕ пессимизма сартровской *слабости*), своего рода единую систему раздробленных мотивов и мотивировок, найти некую символику сегодняшнего слова, выявить всеобъединяющее музыкальное начало в ярком строе стиха и композиции. Ему очевидно чужды все те, кто воинствует сегодня за существование антимзыкальной, асимметричной поэзии, сухой и черствой — типа Элиота. Напротив, его влечет отливающее радугой звукоряда, отмеченное взволнованностью и порывом выражения, галлюцинацией контрастирующего сочетания тонического и интонационного стиха. Эта ритмическая динамика выражена и в последнем сборнике поэта, где, правда, меньше тихих, «декадентски утонченных» строк, любовно выделенных в проникновенном предисловии Владимира Вейдле к «Замыканию времени».

Необходимо отметить, что в обоих своих сборниках Василий Бетаки вплотную приближается к насущно современным темам, к новому комплексу идей и безыдейности, не останавливаясь ни перед одной из тем, но богатством фантазии и блеском словесной оркестровки врезааясь в ход гуманистического и художественного освоения сегодняшнего мира, ужаса его и его надежд. Умный, ядовитый, судорожный, он — один из немногих поэтов, которым по силам стихи на политические темы, на тему удручающей культурной бесплодности официального советского искусства, и в частности — Советской России. Прочтите требовательные, классические по своей формальной сущности, но взрывчатые стихотворения, и вы согласитесь с тем, что Василий Бетаки *не* плачет, а наоборот, перевоплощая гнев, страдания и глубокое падение, *поет* с чувством, близким по временам к от-

чаянию, творя суровую и полновесную песнь, заключенную в мужественную граненость формы.

Теперь забытый, замечательный поэт Оноре Расан писал Франсуа Малербу, основоположнику поэзии французского классицизма: «Проза — это марш, поэзия же — танец». «Памяти Чехословакии» есть марш, хотя ни в коем случае не проза; это то, что Пастернак, один из учителей Бетаки, называл новой поэзией — «крупницей чистой прозы». Это простой, резкий, преломленный под кубистическим углом, торжественно гнетущий марш. «Баллада» же — чистое колышание, траурный танец, созданный в традиции французских баллад, то есть «плясовых песен», с их обязательным рефреном. При этом у Бетаки рефрен становится ключевой строкой стихотворения. Форма баллады, как известно, требует изощренной техники, которую поэт — и это должно быть сказано об обоих стихотворениях — возводит в мастерство.

Алексис Раннит

ТАЛАНТ И ОТВАГА

Эта книга — теплая и человечная, каким, судя по тексту, представляется и характер ее автора, московской художницы Ирины Кичановой-Лифшиц. Есть книги, словно бы и неприязательные, и не претендующие на какие-то места в литературе, однако становящиеся родными. Их не хочется упрячивать на задние ряды книжных полок, а хочется поставить поближе, чтобы поглядеть и снова вспомнить, что близко от тебя душа, чистая и искренняя.

Существует в литературе мемуарный жанр, но в нем особняком выделяются воспоминания женщин, близких тем людям, о которых они пишут. Их воспоминания — особенно личные, особенно интимные и потому особенно живые. Важно только, чтобы интимность не переросла в кичливость, са-

Ирина Кичанова-Лифшиц. Прости меня за то, что я живу. Нью-Йорк, Изд. Чалидзе, 1982.

мовыпячивание и сведение счетов с соперницами. К сожалению, бывает и так.

Личная, и очень нелегкая, судьба Ирины Кичановой была к ней особенно милостива в том смысле, что столкнула ее с людьми на редкость интересными и своеобразными. Среди них назовем такие имена, как Михаил Зощенко, Юрий Олеша или Евгений Шварц. Она пишет о них в своей книге, да и грех было бы не написать, однако центральное место занимает здесь рассказ о личностях, не столь выдающихся, но имевших к автору самое непосредственное отношение. Речь идет о композиторе Никите Богословском, художнике Владимире Лебедеве и поэте Владимире Лифшице, соответственно — первом, втором и третьем мужьях Ирины Кичановой.

Три портрета, в которых отразились три лика времени... Это большая удача, когда художнику удастся ухватить в персонаже не только его типическое, но типическое эпохи, в которую он жил, которая его породила. Никита Богословский — известный советский песенник и сочинитель музыки для кинофильмов. С годами он станет не только прислуживать власти. Он станет самой властью, на ступеньки которой начали взбираться он и его приятель Сергей Михалков еще в начале тридцатых годов.

Страшная Москва тридцать седьмого. Ночами по улицам снуют «черные вороны», сея гибель, стоны и парализующий страх. Но в это именно время разудалая компания преуспевающих ловкачей в искусстве ведет пьяную бесшабашную жизнь, кочуя из «Националя» в Клуб Мастеров Искусств, из ЦДРИ в кавказский ресторан. Среди них — герои Арктики и скромные чекисты, все они швыряют деньги, не считая. Было во всем этом что-то от пира во время чумы, и Кичанова недаром вспоминает реплику из «Зависти» Юрия Олеши: «Вы... труппа чудовищ... бродячая труппа уродов... Любуйтесь, граждане, труппа уродов проездом... Что случилось с миром?»

В отличие от Богословского, Владимир Лебедев, очень известный в свое время иллюстратор детской книги, — типичный представитель того слоя интеллигенции, которая пошла на службу к власти не для того, чтобы стать властью, а для того, чтобы выжить. Лебедев, человек от природы исключительно одаренный, большим художником не стал,

он не мог им стать в обстановке выжигания и травли всего мало-мальски творческого и индивидуального. Подобно тысячам, он приспособился, он выжил, он себя сломил. В его лице мы видим типичный пример «сдачи и гибели советского интеллигента».

Однако в образе В. Лебедева, нарисованном Кичановой, интересно не столько падение как таковое, сколько нравственное кредо, по которому живет этот человек. Ибо, существуя в немыслимом для творца мире и идя на непрерывные компромиссы, он не мог не создать спасительной философии, в которую бы мог укрыться, как черепаха в свой панцирь. Таланту не всегда дается отвага. Главным состоянием лебедевского бытия был страх. Страх гнал прочь от людей, в свою мастерскую, как в берлогу, спрятаться, укрыться, спастись. Он панически боялся *слова*, боялся иронии, смеха... Не зря, в общем, боялся. За эти вещи уничтожали. Прозвучало постановление сорок шестого года, заклеившее Зощенко и Ахматову. Лебедев с искаженным от ужаса лицом произнес: «А нечего хихикать! Вот и дохихикались... Ненавижу это хихиканье!» Самое страшное, что Лебедев и такие, как он, ненавидя советскую власть, тем не менее, вопреки рассудку, пытались найти логику в ее поступках.

И новая ипостась времени — поэт и переводчик Владимир Лифшиц, в прошлом фронтовик, обаятельный, скромный, честный человек. Он из числа тех остающихся в тени героев, которые незаметно, но упорно и последовательно, в меру сил ведут главную линию жизни — творить в мире добро. Не глашатаи и не пророки, люди такого склада, помогая родным ли, друзьям, близким или совсем далеким, делясь последней копеечкой, добрым словом, делают мир чище и не позволяют душе отчаяться. С благоговением пишет о нем Кичанова: «Володя Лифшиц — самый веселый, самый добрый и жизнерадостный... он нес в себе столько чудесного, детского...» Характерна строчка его предсмертного письма к ней: «Мы жили и живем без подлости, а ведь это не всем удается в наше подлое время...»

Да, время было подлое. Кичанова вспоминает, что после Постановления 1946 года от Зощенко, как от зачумленного, стали шарахаться даже ближайшие друзья. Когда совершенно замученный, Михаил Михайлович спросил у М. Слоним-

ского, что же происходит, тот откровенно и жалко признался: «Миша, у меня дети!»

Воспоминания о Зощенко — одни из самых ценнейших и интереснейших в книге. Надо сказать, что об этом исключительном писателе и человеке осталось очень немного свидетельств людей, лично его знавших. Сестра Михаила Михайловича, оказывается, написала о нем книгу воспоминаний, однако рукопись таинственным образом исчезла, и неизвестно, где искать ее следы.

Ирина Кичанова знала Зощенко на протяжении многих лет и всегда поражалась удивительному сочетанию в этом человеке хрупкости, изящества и легкости с уверенностью, силой и редким умом.

Он знал и видел людей насквозь, но был терпим к их слабостям и недостаткам, и он был человеком глубоко верующим. В изголовье его кровати всегда висел образок. Мудрец с душой ребенка, он нередко сталкивался с человеческой подлостью, с предательством, но привыкнуть к ним не мог и каждый раз удивлялся... Однажды он сказал Ирине фразу, которая ее поразила: «Если грудных детей в детских домах не ласкают, они умирают». Очевидно, эта мысль была выношена, выстрадана писателем. Ведь ему самому, такому прославленному, знаменитому, удивительному, не хватало ласки. Он был одинок.

Лифшицы жили с Михаилом Зощенко в Ленинграде в одном доме, в соседних квартирах. Когда писатель был общенародно исхлестан и заклеямен, в его доме поселился откровенный голод. Кичанова вспоминает о пустых полках на кухне и о сиротливо застывшей чашке суррогатного кофе на подоконнике. Но Михаил Михайлович не делал из этого трагедии и держался с удивительным достоинством. Его гнали, унижали, морили голодом, отступничеством и не могли уничтожить.

Кичанова вспоминает жуткую сцену писательского судилища над писателем, который осмелился не согласиться с Постановлением:

«М. М. выходит на трибуну, маленький, сухонький, изжелта-бледный. «Чего вы от меня хотите? Чтобы я сказал, что согласен с тем, что я подонок, трус, хулиган? А я русский офицер, награжден георгиевскими крестами. Моя

литературная жизнь окончена. Дайте мне спокойно умереть»...»

В конечном итоге у Ирины Кичановой получилась книга о торжестве совести и правды. Она твердо знает, что в этом мире есть у человека один багаж — его совесть, его судьба и его дела. И отнюдь не в схоластическом споре опровергается исходная точка нравственной позиции Лебедева, что правда — не одна, что существует много разных правд. На примере судеб и характеров, неназойливо и просто Кичанова показывает, как постепенно, но неотвратимо время ставит все на свои места и открывает, разоблачает и высмеивает хитрую, притворившуюся правдой ложь.

Майя Муравник

НАКАЗАНИЕ СТРАДАНИЕМ

Монография, изданная недавно в Казани, имеет длинный и не сразу обозримый заголовок: «Лишение свободы и социально-психологические предпосылки его эффективности». Прежде всего в глаза бросается знакомое до боли словосочетание «лишение свободы» (это-то понятно), а потом уже начинаешь вдумываться в смысл названия. Итак, смысл книги — как сделать тюрьмы и лагеря более «эффективными».

Автор книги Ф. Р. Сундуrow (юрист-теоретик по профессии) дает свои рекомендации в данном направлении. Эрудиция его широка, он цитирует Цицерона и Гегеля, он штудировал «Записки из Мертвого Дома» Достоевского — чтобы лучше понять психологию заключенных. Но книга — не только плод кабинетных раздумий. Автор проводил и «полевые» исследования. В предисловии к книге говорится, что автор изучал «практику исправительно-трудовых колоний строгого режима» и проводил социологический опрос «группы осужденных-рецидивистов».

Ф. Р. Сундуrow. Лишение свободы и социально-психологические предпосылки его эффективности. Издание Казанского Университета. 1980.

Достойно удивления, что в стране, где официально господствует исторический материализм, причины преступности объясняются «отсталостью сознания» (как разъяснил Андропов в апреле 1982 г., две причины: во-первых, «пережитки прошлого», во-вторых — влияние Запада). Но если это так, то почему надо преступников морить голодом и холодом? Почему надо лишать их свободы на столь длительные сроки? Почему, борясь с «пережитками прошлого», надо уничтожать физически самих носителей этих «пережитков» (я имею в виду смертную казнь)? Все это как-то не вяжется одно с другим.

Впрочем, автор рецензируемой монографии над этим особенно не задумывается. Он, Сундуров, принадлежит к тому отряду советских юристов, которые стоят за дальнейшее ужесточение режима в лагерях и тюрьмах.

Бросается в глаза необычайно частое употребление слова «страдание» в данной работе. «Восприятие наказания в качестве явления, вызывающего страдания, составляет один из важных элементов всего отношения осужденного к наказанию»; «Особый интерес ученых вызвал вопрос о месте и роли страданий преступника»; «...страдание — это следствие наказания»; «...страдание... может и должно использоваться в воздействии на личность преступника»; «наибольшие страдания у осужденных... изоляция, надзор и принудительная регламентация образа жизни...» и т. д.

Итак, страдание. Невольно задаешься вопросом: а как это согласуется с законом? Статья 1 Исправительно-Трудового Кодекса РСФСР (как и всех других союзных республик) гласит: «Исполнение наказания *не имеет целью* причинение физических *страданий* или унижение человеческого достоинства». (Та же формулировка — в ст. 20 УК РСФСР).

Об этом Сундурову прекрасно известно. Для того, чтобы его призыв к усилению страданий осужденных не выглядел противоправным, он следующим образом истолковывает его: «Указание в законе о том, что исполнение наказания не имеет целью причинение физических страданий... очевидно, надо понимать в том смысле, что *бесцельное* применение кары, *нецелесообразные* ограничения даже в отношении преступников-рецидивистов глубоко чужды принципам советской исправительно-трудовой политики». И в другом месте: «исполнение наказания не может сочетаться с *излиш-*

ними физическими страданиями» (выделено здесь и выше мною. — Б. В.).

Значит, закон будто бы запрещает только «излишние» страдания, а «целесообразные» — вполне допустимы. Не надо быть юристом, чтобы увидеть, как произвольно Сундуков истолковывает закон. Проще говоря, бессовестно перевирает.

Конечно, в СССР каждому известно, что одно дело — закон, другое — практика. Хотя и говорится в законе, что причинение страданий и унижение человеческого достоинства не являются целью наказания, но каждый день и каждый час советские заключенные страдают, а их человеческое достоинство грубо попирается. Впрочем, и сам закон содержит такие положения, которые иначе как бесчеловечными не назовешь. Взять, к примеру, такую мелочь, как стрижка «под ноль», — это ли не унижение человеческого достоинства? Но стрижка наголо узаконена, как и «ношение одежды установленного образца».

Теперь представьте, что в тюрьмах «буржуазных» стран, небылицы о которых должны рассказывать «воспитатели» в советских лагерях на политзанятиях (Сундуков пишет: «следует шире информировать осужденных о безработице... преследовании инакомыслящих, антигуманной практике исполнения лишения свободы в тюрьмах буржуазных стран»), что в тюрьмах Запада ввели бы советский варварский обычай принудительной стрижки. Что бы тут поднялось — и в тюрьмах, и в прессе, и в парламентах! (Я уж не говорю о более серьезных страданиях — в конце концов стрижка — далеко не самое страшное в порядках советских лагерей.)

Как было сказано, книга Сундукова имеет целью разработку мер «эффективности лишения свободы» или, как он еще выражается, усиления «карательного потенциала наказания». Он неоднократно подчеркивает, что многие заключенные, особенно рецидивисты, «привыкают» к лагерному режиму, чувство страдания у них притупляется (оно, замечу, и не мудрено привыкнуть, если сидишь 5-10 лет. Как говорил Достоевский, «ко всему подлец-человек привыкает»). Так вот, Сундуков не хочет, чтобы заключенные привыкали к страданиям, иначе ведь страдание станет «неэффективным». Какие же меры он предлагает, чтобы страдания зеков не притуплялись?

Главная мысль книги — усилить дифференциацию режима. Вспомним, что в сталинское время было, в основном, два вида режима: общий и штрафной (плюс каторга, просуществовавшая 10 лет.) В хрущевский период их стало 4: общий, усиленный, строгий и особый. В брежневскую эпоху возникло нововведение — ПКТ, лагерная тюрьма, а зоны стали делить внутри на «клетки». Вот эти «клетки» (Сундуров называет их «изолированными участками»), эта дальнейшая дифференциация и есть то направление карательной политики, адептом которой предстает Сундуров. Он считает, что изоляцию заключенных внутри одного и того же лагеря, изоляцию заключенных друг от друга нужно усилить. Он неоднократно сетует, что «изоляция в колониях строгого режима... мало отличается от таковой... в ИТК усиленного режима». А «распорядок дня... должен быть максимально детализирован и охватывать все основные элементы жизни и деятельности осужденного». «Настало, видимо, время широко использовать для надзора за осужденными технические средства (телевидение, переговорные устройства и т. д.)».

Сундуров спорит с теми либеральными юристами, которые предлагают «предоставлять осужденным (особо опасным рецидивистам) свидания с детьми без каких-либо ограничений». Этого делать нельзя, пишет Сундуров, ибо «рецидивисты — люди морально изуродованные» (так что же: их надо уродовать дальше?). Кроме того, дети на свидании могут увидеть и такое в лагерной действительности, что им не следует знать (как пишет автор: «условия лишения свободы... сами по себе могут травмировать человека, незнакомого с этой обстановкой»). Сам же Сундуров хорошо знаком с «этой обстановкой», и его картины лагерного ада не «травмируют».

Впрочем, с другой стороны, Сундуров проговаривается: лагерная жизнь не очень отличается от обычной жизни советского человека: «предусмотренный законом внутренний распорядок в ИТК не представляет из себя ничего выходящего за рамки образа жизни вообще».

Вопреки всякой очевидности, Сундуров отказывается считать труд заключенных принудительным. Это было бы так, если бы за отказ от работы немедленно не следовали бы пытки голодом и холодом (карцера, ПКТ). Но дело ведь еще

и в том, что и «на свободе» труд носит принудительный характер (преследования за «тунеядство»).

Не оспаривает Сундуров, правда, принудительности «политзанятий» (их обязательность для заключенных оговорена в законе). На «свободе» политзанятия тоже практически принудительны, хотя их принудительность выступает в более закамуфлированном виде («добровольно, но обязательно»).

Сундуров — поборник усиления административного надзора за освободившимися из лагерей. Институт административного надзора — это тоже изобретение брежневского руководства. Это разновидность домашнего ареста для тех, кто уже отбыл наказание, т. е. это продление наказания за пределы вынесенного судом приговора. (Не нужно думать, что домашний арест значит: сиди дома целый день. В Южно-Африканской Республике, например, домашним арестом считается пребывание дома в определенные часы — вечером-ночью. То же самое в СССР означает административный надзор.)

Если по существующему положению «административный надзор устанавливается над особо опасными рецидивистами, лицами, отбывавшими лишение свободы за тяжкие преступления, а также отбывавшими лишение свободы более двух раз за любые преступления, если их поведение в ИТУ свидетельствует о нежелании встать на путь исправления...» (добавим, что бывшие политзаключенные часто попадают во вторую из перечисленных категорий), то Сундуров предлагает устанавливать административный надзор «над всеми лицами, хоть один раз отбывшими лишение свободы, если их поведение в ИТУ или после освобождения от наказания свидетельствует о нежелании встать на путь исправления...»

Если это предложение Сундурова будет властями принято, то можно представить себе, как должны будут разбухнуть штаты милиции!

Все же соответствующие органы благожелательно изучат многие из рекомендаций казанского юриста. Что-что, а предложения по дальнейшему ужесточению и так бесчеловечного режима найдут «широкий отклик». И вряд ли кто из юристов в СССР осмелится возразить Сундурову следующим принципиальным аргументом: «Чем выше начинает цениться личность в государстве, чем мягче становятся нравы

и выше понятия, тем менее суровыми являются кары». Слишком уж давно это говорилось. Не в наше время. 70 лет назад (энциклопедия «Гранат», т. 29, стр. 536).

Борис Вайль

НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ МИРА — ВАЛЭНСЕ

С разных концов света от представителей культуры и науки, от духовенства и профсоюзных деятелей идут письма в Осло, в норвежский Комитет Нобелевской премии Мира. Авторы этих писем выдвигают в этом году кандидатуру Леха Валэнсы. Нет нужды скрывать, что инициатива эта во многом исходит от «Культуры». Не стоит и тратить слова на доказательства, что присуждение этой высокой награды Валэнсе, а в его лице, ибо он уже стал символом, — всем деятелям «Солидарности» и ей самой в целом было бы одним из самых справедливых решений норвежского комитета. Во время своего полуторалетнего существования «Солидарность» вела поразительную, возбуждавшую всеобщее восхищение и всеобщие надежды мирную борьбу за свободу своей страны и за достоинство человеческого труда. Не было пролито ни одной капли крови, не было ни одного призыва к насилию — мир увидел спокойное, полное решимости, открытое лицо миллионов людей, то самое, которое мимолетно удалось увидеть во время поездки Иоанна-Павла II по Польше. Кровапролитие, произвол солдатчины, полицейское насилие — все это принесли лишь день 13 декабря 1981 года. И призрак войны против собственного народа. Кто же сегодня больше достоин Нобелевской премии мира, чем вождь польских рабочих, узник военного режима? Кто в свое время был достойнее Осецкого, узника гитлеровского военного режима? Если слово «мир» еще сохраняет свой смысл, не тот, что вкладывают в него Москва и ее штатные «пацифисты» на Западе, — судьи в Осло не поколеблются в своем выборе.

Призывы, петиции, письма следует посылать до середины сентября по адресу:

Comité Nobel Norvégien, Dir. J. Sverdrup, Oslo, Norvegia.

Редакция журнала «Культура»

Владыке Иоанну архиепископу Сан-Францисскому исполнилось 80 лет.

Вся русская эмиграция, без различия возрастов и «волн», отмечает этот юбилей. Юбилей человека и духовного пастыря, жизнь и биографию которого невозможно оторвать ни от российской истории, ни от самой русской земли. Ему выпало в юности пройти самыми горькими ее дорогами, ее потерять и в нее вернуться — через десятилетия — голосом, словом, наставлением, утешением. Жизненный путь владыки Иоанна — не простая человеческая биография, она во многом символична. Ровесник века, он знал и лично пережил все его катаклизмы. Ему пришлось собственными глазами увидеть две страшные каверны, поразившие легкие нашего столетия: красный тоталитаризм и тоталитаризм коричневый. Он почувствовал, как надвигается на европейскую цивилизацию туберкулез бездуховности, — и стал духовным пастырем.

Архиепископ Иоанн Шаховской (в миру князь Дмитрий) родился и рос в России, которой больше нет, — в России иных измерений, иного темпа жизни, иных скоростей, понятий и правил — в России века девятнадцатого. Он знал Москву, Петербург, русскую деревню такими, какими они остались только в классической русской литературе. И он увидел Россию на изломе — в анархии, пожарах и падении. Вместе с ней он переступил порог настоящего, двадцатого, века: в XIX был личеистом, в XX — заключенным. И сыном заключенной матери, которую спас из подвалов ЧК. И воином Добровольческой армии. И эмигрантом. И студентом двух славных высших учебных заведений — Парижской политехнической школы и Лувенского университета. Он изучал технические науки и науки гуманитарные — историю, философию, социологию. Он был основателем и редактором собственного журнала («Благонамеренный») и вращался в блестящем обществе поэтов, писателей, философов, ученых, то есть жил наполненной мирской, светской жизнью. Разносторонне и глубоко одаренный и образованный, он мог бы сделать карьеру в любой европейской стране, легко адаптироваться, выбрать выгодную профессию. Но внезапно — в 24 года — князь Дмитрий Шаховской уходит от мира. Он едет на Афон и возвращается через год иноком Иоанном.

Было ли то прозрением подступившей к горлу века духовной нищеты? Угрозы гибели того, что уже начали в России и потом продолжают в Европе уничтожать огнем и мечом вплоть до наших дней — духовности и души?

С тех пор более 50 лет владыка Иоанн врачует человеческие души, слушает, наставляет, беседует, пишет. Из собрания его сочинений издано уже 7 томов.

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский и Западноамериканский вступает в девятое десятилетие своей жизни. Журнал «Континент», членом редколлегии которого с самого основания является поэт Странник, просит владыку принять самые горячие поздравления и самые добрые пожелания.

Многая лета!

«КОНТИНЕНТ»

Коротко о книгах

Владимир РЫБАКОВ

ТАВРО

«Посев», Франкфурт-на-Майне, 1981

«Тавро» — так называется новый роман Владимира Рыбакова. Это второе его произведение. Первое было — «Тяжесть». После «Тяжести» — «Тавро», и хотя эти произведения различны, их соединяет одна и та же буква «Т», которая становится удивительно веской и как бы существует отдельно от алфавита. Тавром метят скотину, вот о таком меченном Советской страной и идет речь. Святослав Мальцев, рожденный в Париже, ребенком увезен матерью — коммунисткой-сталинисткой — в Советский Союз. Коммунистическая хворь этой женщины быстро переродилась в болезнь возвращения на Запад. Она добивается разрешения на выезд, а взрослый сын остается в Союзе. Но вот и эта надежда рушится: мать Мальцева повесилась, и веревка, выдержавшая в Париже ее тело, опутала его по рукам и ногам... Жажда свободы не проходила, и Мальцев догадывался, что от нее нет противоядия. Мальцев уезжает в Мурманск и там занимается на рыболовецкий траулер. Ему кажется: когда-нибудь повезет. И вот повезло: рыба пошла в сторону Норвегии, а шторм и небольшой саботаж, устроенный Мальцевым, остановили траулер в норвежских водах. Потом — прыжок в ледяную воду и, как во сне, Норвегия... Во французском посольстве в Осло Мальцева приняли как героя. Мальцев в Париже... Он свободен... Французский документ в кармане позволял ему свободно разъезжать по миру, свободно переезжать с квартиры на квартиру, свободно говорить, орать, писать... свободно... свободно... свободно. Но этот же документ не открывал Мальцеву свободно двери французских банков. А есть ведь надо. Еще недавно у Мальцева было существование, лишенное проблемы выбора. Какое-никакое, а существование. Была крыша над головой, был хлеб. Таковы мысли Мальцева. Он ведь русский, хотя и с французским паспортом. И вот обилие витрин вызывает в нем зависть и гнев, и хочется их перенести туда, где какая-то тетя Паша, наконец, подаст на ужин бифштексы или ромштексы и другую снедь. Эти утопические мысли еще больше озлобляют Мальцева. А ведь как хорошо, нет сомнения. Был бы

Мальцев по-прежнему счастливым рабом, героическим рабом, готовым защищать собственные цепи, готовым по приказу надевать их на чужие тела и мысли.

Не было бы прыжка в свободу... И опять вопрос: а что с ней делать, со свободой? Мальцева можно сравнить с человеком, пролежавшим долгое время в гипсе, которому надо заново учиться передвигать свое тело. С героем нашим все сложнее, ему не только тело надо переучить, но и голову, чтобы мыслить по-иному, по-новому. И у Мальцева началось учение «в людях».

На страницах романа, как в калейдоскопе, меняются картины и события. Встреча с сенатором Булоном, который когда-то любил его мать, дает ответ на вопрос о ее самоубийстве. Случайная драка на площади Пигаль, знакомство с миром ночи и наркотиков. Визит во французское «КГБ» вызывает первородный страх перед этой организацией. Для «советского» Мальцева вход в здание КГБ был входом в склеп, даже не в склеп (в склепе хоть орать можно). Он входил в эту власть, где нет закона, кроме желания власти. Вежливость следователей, рожденных свободными, вызвала удивление «этим опасным своей непонятностью миром». Встреча со старыми французскими русскими, для которых Мальцев — странный советский... Французов смущал его чистый французский язык, а Мальцева — такой же чистый русский у французских русских. Слово «свобода», желание понять ее и «поставить себя в нее» — вот что занимает ум Мальцева. Где свои, где чужие? Во всем надо разобраться... Мальцеву тяжело, вокруг него все родились свободными. И чем больше он жил среди этих свободнорожденных, тем яснее было видно, что они свободы не ценят и что она для них — это атмосфера, окружающая старушку-землю, с ней рождаются и она существует везде. Мальцев прыгнул из одного мира в другой «на одном дыхании». Поэтому удар при приземлении был оглушителен и тяжел. На заводе, куда поступил Мальцев, так как переводчиком для «советских» не захотел быть, ему задают вопрос, антисоветский ли он? Никакие разъяснения сути большевистской революции не помогли: для французских коммунистов он — предатель.

Опять новый конфликт с понятием свободы. «Чтобы мечтать о социализме с мордой ангела, нужно, прежде всего, быть сытым и проживать не под дождем». И вот Мальцев, этот «перебрасываемый человеческий мяч», ужасно хочет вырваться к вратам свободы. Случайная встреча с Брижит, дочерью сенатора Булона, любовь к ней, на время даст Мальцеву тот отдых, что необходим бойцу перед битвой. Победа или поражение, кто знает? Но временный покой

дает возможность разобраться, покарать или помиловать самого себя.

И, может быть, стереть тавро.

Михаил ГЕНДЕЛЕВ

ПОСЛАНИЯ ЛЕМУРАМ

«Лексикон», Иерусалим, 1981

Это вторая книга М. Генделева, поэта весьма своеобразного и во многом, как сказали бы в начале века, «герметического». Книга явно заинтересует не всякого любителя поэзии — сложность и некая «загадочность» этих стихотворений и поэм, множество ассоциаций не прямых, не сходу понимаемых, требующих и большой общей культуры, и медленного чтения, размышления, перечитывания, сужают круг читателей. Но вспомним, что в свое время В. А. Жуковскому были адресованы такие строки: «Ты прав: ты пишешь для немногих»...

Подчеркнутый эстетизм поэта начинается с обложки, прекрасно выполненной художником М. Байером; все оформление книги на редкость слито с духом и формой стихов Генделева — все, до мельчайшей виньетки, продолжает его изысканную манеру письма. Изысканную и холодноватую:

Он в черном блеске времени возник
Мой ангел, брат мой, мой двойник,
и в миг
как слезы заблистали
лик ослепительный
исчез
тотчас звезда рассыпала хрусталик
а об другой расплющил ноздри бес.

Называется эта миниатюра — «Опыт изображения живой природы». Сама по себе субъективность выражения требует глубокого проникновения в образную систему поэта, в его — и только его — символику, столь «необщую», что понимать ее начинаешь где-то с середины книги и потому перечитываешь все с начала. Это типичная поэзия для «глаза» — и не только потому, что само расположение строк и строф своей уравновешенной симметрией располагает

к спокойному и медленному восприятию, но и потому, что невозможно представить эти стихи звучащими с эстрады именно в силу их неброскости и необходимости неторопливого читательского сотворчества. Даже тогда, когда автор рассказывает исторические события, это не пересказ их, не сюжет вообще, — это откровенно эстетский отклик на них, в основе которого лежит представление о гармонической уравновешенности и красоте предметов и событий, какими бы они ни были в действительности. Вот как начинается поэма «Тысяча девяносто девятый год»:

Всадников сокрытолицых усталые кони влекли —
там
за веками у горизонта
его ресницы разъяв —
выкатывался Аллаха тигриный лик,
и гладила шкуру пустыни рука в перстнях.

И сразу становится ясно, что не событие важно, а то, как видит его автор. Многослойность метафор, сложность образного орнамента и, главное, ассоциации с какими-то смутно брезжащими в памяти образами, с образами когда-то и где-то жившими, потом побледневшими, почти исчезнувшими, может быть, не каждому читателю придется по вкусу. Но это один из видов поэзии, имеющий такое же право быть, как и всякие другие.

...полеты мотыльков ночных — их знаки
на звук нанизаны, а в крылышек размахе
узорov темных темный разворот.

Приведенные строчки — превосходная самохарактеристика поэтического стиля Генделева, соединившего в себе уравновешенность классицизма с символистской изощренностью образа и той эстетской холодностью, которая неизбежна и естественна в поэзии такого рода. Без этого математического эстетизма субъективность видения, крайняя субъективность образа могла бы показаться случайной, необязательной, и — редкий случай! — темпераментность в данном случае убила бы саму душу поэзии и превратила бы стихи в пестрый хаос. Даже вакхические сцены (слегка стилизованные под начало прошлого века) и те даны ровным, не вскрикивающим, почти монотонным напевом:

А если пена на вине —
Бродячее оно —
шатается по всей стране
бродящее вино...
.....
и вол начнет луну терзать,
в ее лицо дыша,
Но что тебе в пустых слезах —
ты спи, моя душа!

Вопрос «о чем» вообще мало приложим к поэзии, а к этим стихам он совсем никакого отношения не имеет. Не «что», а только одно «как» тут считается. Ибо, нравится нам или нет, но самодовлеющее мастерство — тоже один из видов искусства.

Илья СУСЛОВ

РАССКАЗЫ О ТОВАРИЩЕ СТАЛИНЕ И ДРУГИХ ТОВАРИЩАХ

«Эрмитаж», Анн-Арбор, 1981

«Клуб 12 стульев» «Литературной газеты» раздвоился: с одной стороны, он вроде бы продолжает проживать на стр. 16 упомянутого издания, а с другой — на страницах «Нового русского слова». Объясняется это тем, что один из главных авторов, вдохновитель, «мотор» этой шестнадцатой страницы живет теперь в США. Это Илья Суслов, создатель образа всем известного «душелюба и людоведа», великого классика истинно советской литературы Евг. Сазонова.

О том, каким образом эта страница прорывалась сквозь многослойные заслоны редактур и цензур, Суслов рассказывает, что на вопрос (подозрительный) главного редактора: «А что вы, собственно, хотите этим сказать?» — он обычно отвечал: «А вы что подумали? Уж не хотите ли вы сказать, что этот афоризм применим к нашему строю? Странные какие-то у вас мысли...» Этот способ «зёркальной демагогии» — не новость. На страхе ответственных лиц и не такое еще проскакивало (и проскакивает) в печать. Но всему есть предел. Едва ли проскочил бы в «Литературке» цикл

рассказов о Сталине. И главное — не из-за темы, а из-за того, что сам стиль этих рассказов (хотя есть среди них и общеизвестные анекдоты), сам стиль их пародирует стиль назидательных «житийных» слюняво-дидактических рассказов о Ленине или о Дзержинском. Короче, стиль этих рассказов, точно спародированный Сусловым, — не просто розовая водичка: сам факт появления такого «житийного» стиля в советской литературе выдает с головой идеологию, показывая, что она — попытка создания религии без Бога, что она сама есть пародия на религию. Таким образом, рассказы И. Суслова — пародия на пародию. Вместе с тем интересно то, что сами факты, изложенные в этих миниатюрах, — большей частью не выдуманы. Так, в цикле рассказов о Сталине наряду с немногочисленными анекдотами (опять же очень выигрывающими от сусловской манеры изложения) есть и такие общеизвестные факты, как отказ Сталина обменять пленного генерала Паулюса на своего сына Якова, как история «драматурга» Сурова или валютные авантюры хрущевского свояка Фрола Козлова. Сам по себе контраст скандальной сути и благостно-розоватой интонации, или полная незначительность факта и эпичность изложения, долженствующего оставаться, дескать, потомкам в назидание и школьникам в пример, вызывает неудержимый смех.

И вместе с тем немало рассказов тут, которые при всем том, что они по-настоящему смешные, оставляют грустный осадок. Печально ведь, когда из трех талантливых братьев-композиторов два становятся жалкими халтурщиками, ничтожествами, живущими по принципу «чего изволите?» и только потому, что «вписались в систему». И при всей их вине в этом — главная вина вроде бы и не на них: ведь не каждый человек обладает такой силой сопротивления, чтобы остаться собой, когда все кругом искушает его и тянет и толкает приспособиться, перекраситься... Вот и получается, что Дмитрий и Даниил Покрассы сочиняли первомайские халтурки, в то время как сбежавший вовремя третий брат их — Самуил — прославился как автор музыки к знаменитому пародийному американскому фильму «Три мушкетера».

Или рассказ о встрече (уже в Америке) со старым другом, знаменитым русским актером, который, приехав туристом, вынужден, прячась и оглядываясь, не следят ли гебешники, тайно встречаться с автором и выглядит при этом смешным и жалким... («Я слушал горькие шутки моего товарища и думал: он артист, равный по масштабу и славе Марлону Брандо, Джеку Лемону. Как унижительно ему просить милостыню у этих нищих!»)

В этой строке, по-видимому, содержится ключ к пониманию образов всех «товарищей», о которых пишет И. Сулов: «эти нищие» — и «товарищ Сталин и другие товарищи», и все персонажи книги, от однофамильца автора, «идеолога», не написавшего ни строчки за всю жизнь, до «интеллигента» Жданова, укравшего для своего доклада слова об Ахматовой, сказанные когда-то в одной забытой статье Б. Эйхенбаума, и все, кто изображен на фотографии приема в Кремле, остро откомментированной в книге, и 99 процентов членов Союза Писателей... — «— немудрено: писателей в России человек сто, а членов Союза писателей — восемь тысяч».

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Почетный директор Зинаида Шаховская

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré,
75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	45	85	150
Заграница	54	95	170
Авиапочтой:			
США, Канада, Южн.			
Америка, Южн. и			
Центр. Африка	76	140	250
Сев. Африка,			
Греция, Турция,			
СССР	56	102	190
Иран	64	118	215
Австралия, Китай,			
Япония	95	180	340

Члену редколлегии
Норвежского «Континента»,
Председателю Нобелевского комитета
норвежского стортинга
профессору Джону Саннесу

11. 8. 1982

Дорогой господин Саннес!

В настоящее время европейская общественность вновь поднимает вопрос о присуждении Нобелевской премии Мира лидеру польского профсоюза «Солидарность» Леху Валэнсе, выдвинутому на ее соискание одним из Лауреатов этой премии — Председателем Социалистического интернационала Вилли Брандтом.

Снова, как это было в случае с Андреем Сахаровым, в истории повторяется ситуация мученика гитлеровских концлагерей — Карла Осеcki: в период обсуждения кандидатуры нового претендента последний находится в заключении, ежедневно рискуя здоровьем и жизнью во имя тех самых гуманистических идеалов, которые провозглашены в статусах этой Премии.

К тому же, в отличие от великого русского ученого, пробудившего после более чем полувекового забвения общественную совесть в сознании подсоветской интеллигенции, Лех Валэнса впервые в истории тоталитарного мира самоотверженно возглавил массовое, но в то же время сугубо мирное движение миллионов трудящихся за демократическое обновление своей страны.

Главная заслуга Леха Валэнсы и возглавляемого им движения, на мой взгляд, состоит в том, что они своей практической деятельностью сформулировали для народов России и Восточной Европы конкретные формы принципиально мирной демократизации тоталитарного общества.

Влияние польского Августа в исторической перспективе трудно переоценить. Я убежден, что это влияние, теперь уже даже вне зависимости от дальнейшей политической судьбы «Солидарности», сыграет решающую роль не только в судьбе поработанных народов, но и в судьбах христианской цивилизации вообще.

Присуждение Нобелевской премии Мира Леху Валэнсе не только еще раз продемонстрировало бы равнодушному миру духовное мужество и историческую ответственность норвежской общественности, но и вернуло бы восточноевропейским народам, а следовательно и русскому народу, фундаментальнейшую ценность человеческого бытия — Надежду.

С искренним уважением, всегда Ваш

Владимир Максимов

По страницам журналов

ARBEITS- UND FÖRDERUNGSGEMEINSCHAFT
DER UKRAINISCHEN WISSENSCHAFTEN e. V.

Mitteilungen № 17 (1980), № 18 (1981)

Данный временник является, по-видимому, наиболее основательным среди многочисленных изданий украинской эмиграции, которые всё еще остаются почти неизвестными русскому читателю.

Особенно предпоследний выпуск отличается разнообразием и насыщенностью материала.

Сборник открывается составленной К. Митровичем библиографией умершего в 1980 году философа и психолога Александра Кульчицкого, работы которого публиковались на нескольких языках, но никогда, к сожалению, по-русски. А между тем видно, что это был ученый хорошей школы, связанный с кантианской традицией. Его основные работы относились к области этнопсихологии и, исходя из некоторых работ Г. Сковороды и Н. Костомарова, были близки по духу и методу к А. Бергсону, Л. Клагесу, экзистенциалистам и в особенности к К. Г. Юнгу. Особый интерес представляет его применение юнговской теории архетипов к истории украинской литературы вплоть до советского периода (например, статья «Украинский театр в свете психоанализа»).

Важное место в сборнике занимает исследование известного искусствоведа Святослава Гординского об украинской иконе XII-XVIII вв., снабженное, кстати, превосходными (особенно для эмигрантского издания) репродукциями.

Две работы посвящены истории церкви — статья об экуменической проблеме в восточных церквях Б. Биланюка и сообщение Д. Злепко об истории выдвижения в 1914 году митрополита униатской церкви Андрея Шептицкого в кардиналы.

Помещены здесь и биографические материалы о Романе Шухевиче — одном из видных деятелей украинского национального движения, и статья о структуре украинской повстанческой армии (УПА). Помещена также статья современного австрийского писателя-авангардиста Андреаса Окопенко о сложной биографии его отца генерала Окопенко.

Упомянем также доклад И. Клейнера об известном еврейском общественном деятеле В. Жаботинском и его роли в еврейско-украинских отношениях.

Более специальный характер носят статьи В. Косика об истории системы советских концлагерей и И. Стебельского о доле Украины в сельскохозяйственной продукции СССР.

Отметим работу И. Гриноха о творчестве современного украинского писателя и правозащитника Олеса Бердника — одного из немногих авторов, связывающих христианскую тематику с научно-фантастическим жанром.

И, наконец, выделим работу Б. Жерабковой об украинско-чешских литературных отношениях в XIX — начале XX вв. и материалы к 80-летнему юбилею проф. В. Кубийовича, редактора издающейся в настоящее время ценной «Энциклопедии украиноведения».

Последний, 18-й номер посвящен главным образом истории и обильно документирован малоизвестными материалами. Таково, например, исследование П. Кульчицкого «Три попытки создания федерации в Восточной Европе XVII века», касающееся запорожского казачества и его отношений с Польшей, Москвой и Турцией. В статье А. Оглоблина дается сводка и оценка (с сепаратистских позиций) противоречивых суждений историков об известном Переяславском договоре Хмельницкого с Москвой в 1654 году. Работа И. Кедрина «Параллели в украинской истории» содержит интересные сближения между положением Украины в XVII и XX веках (с особенным вниманием к мирной конференции в Риге в 1920 г., завершившей польско-советскую кампанию и закончившейся разделом Украины). Весь этот материал как бы подкрепляется «Открытым письмом к русским и украинским историкам» правозащитника Ю. Бадзьо, где законный протест против великодержавного советского шовинизма и политики русификации сочетается с обширной, но не бесспорной аргументацией против тезиса об общих русско-украинских предках.

Статья С. Сеника «Две Марии Магдалины» включает материал по генеалогии рода гетмана Ивана Мазепы. Статья уже упоминавшегося С. Гординского о «Слове о полку Игореве», содержащая, к сожалению, мало нового, носит характер обзора мнений, где обсуждается и вопрос о подлинности памятника, но странным образом отсутствует имя А. Зимина.

Сборник содержит также материалы об украинском правозащитнике И. Кандыбе, сообщение В. Зила «Украинские переводы лирики Гёте».

Особо отметим две статьи о творчестве поэта Юрия Клена (О. Бургхардта), принадлежащего к «западнической» линии в украинской поэзии, связанной с именами М. Хвильового и М. Зерова,

где особенный интерес представляют сведения о «пражской школе» украинской поэзии и анализ главного труда поэта — мистико-исторической эпопеи «Пепел империй».

В обоих сборниках имеется также информация о современных художниках украинского рассеяния (опять с отличного качества воспроизведениями), многочисленные рецензии и обширная хроника работы научных учреждений украинской эмиграции.

На примере настоящего издания можно видеть, что большая культурная работа, ведущаяся в среде украинской эмиграции, заслуживает несравненно большего внимания со стороны русской, которая, можно считать, о ней практически не информируется.

Л. Ч.

«КОНТАКТ» — НОВЫЙ ПОЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ

Что было причиной создания «Контакта»? В декабре 1981 года многие люди, связанные с «Солидарностью», неожиданно оказались отрезанными от Польши, где происходили события, решавшие и их судьбу. Надо было довольно быстро осознать, что перед нами очередная, хотя и неумышленная волна политической эмиграции, которой существенно важно обрести свои интеллектуальные центры. Одновременно положение в Польше с момента введения военного положения требовало возможно более полной документации, постоянного и эффективного отражения.

Новый журнал должен был стать цельной картиной проблем, связанных с польской трагедией, и в то же время голосом людей, для которых эта проблематика — свое дело, местом, где они могли бы выражать свои позиции, вести полемику, поднимать темы, для которых нет другого форума. Вставала также задача углубить информацию путем анализа событий, ставящих перед нами всё новые проблемы, — с тем чтобы впоследствии мы были способны включиться в интеллектуальные процессы формирования действительности на родине. Мы можем использовать единственную привилегию, которой мы обладаем по сравнению с нашими соотечественниками в Польше: дистанцию, возможность более полного, чем, вероятно, у кого бы то ни было на родине, знакомства с польской подпольной прессой — нашим главным ныне источником информации.

По этим и многим другим причинам — и по традиции, в Париже — родился польский ежемесячный журнал «Контакт». Вот что мы писали во вступительной статье первого номера:

«Создавая новый журнал, мы ставим себе две цели:

— дать читателю на родине журнал, который будет информировать о положении польского дела на Западе, а также пропагандировать и анализировать подпольную деятельность «Солидарности»;

— представить западному читателю положение в Польше глазами тех, кто сегодня борется там против порабощения. Мы надеемся, что полякам за пределами страны это облегчит борьбу за общую идею Солидарности».

Бросим взгляд на первые номера журнала: осуществление проектов редакции, конкретные материалы лучше всего покажут, к чему стремится и будет стремиться новый журнал.

Прежде всего, мы печатаем официальные заявления и призывы подпольной «Солидарности» — они выражают позиции организации, с которой мы себя отождествляем и которая, в конечном счете, определит будущее Польши.

Из номера в номер идут постоянные рубрики: «Календарь событий» и «Письма с родины». Они представляют две стороны одной и той же польской действительности. Задача календаря — постоянно, изо дня в день собирать и систематизировать все существенные факты, определяющие положение в Польше. В нем представлены как события на родине, так и их международные отзвуки; он сообщает о фактах, ранее неизвестных, и придает новое значение известным, включая их в общий контекст. «Письма с родины», в большинстве своем дошедшие в обход почты и цензурского штампа, позволяют услышать пульс внутренней жизни Польши. Они передают атмосферу мучительной и напряженной повседневности и моментов массовых выступлений, иллюстрируют настроения и сознание, окунают нас в глубину исторических событий под субъективным углом зрения их участников, открывают частную жизнь, подвергнутую давлению истории. Они умеют быть трагическими и насмешливыми, и насмешка в них — это вызов, брошенный абсурду действительности. Часто это самый интересный материал в журнале.

Раздел «Анализы и предложения» — это важнейшая в настоящий момент дискуссия о формах борьбы и сопротивления, о стратегии и тактике. Вопрос стоит о том, на что делать ставку: на долготное, по-своему органическое, нецентрализованное общественное движение, создающее альтернативные по отношению к официальным структуры, или на сплоченную организацию, берущую на

себя руководство борьбой с режимом, чтобы вынудить его к компромиссу или же, при крайней необходимости, отнять у него власть. Вопрос этот принципиальный, но, тем не менее, он не исчерпывает всего размаха предложений и вариантов деятельности. В основе предложений лежит фундаментальный анализ текущего момента, производимый обычно с учетом исторической перспективы. Эти предложения относятся к разным уровням деятельности: от вскрытия системы отношений внутри правящего слоя и анализа его тенденций через размышления о специфике движения «Солидарности» и вплоть до вероятных решений польского вопроса в свете мировой политики. Стараясь как можно более объективно передавать ход этой дискуссии на страницах подпольной прессы, мы, однако, и сами включаемся в эту дискуссию, жизненно важную для нас всех.

Уже в связи с этой проблематикой встает вопрос, которому мы уделяем много места: включение польской проблематики в гораздо более широкий контекст, в первую очередь в контекст всей советской империи. Освещению этого послужила организованная «Контактом», «Континентом» и др. журналами дискуссия с участием парижских эмигрантов, представляющих оппозиционные круги Восточной Европы. Кроме анализа прямого влияния польских событий на положение всего социалистического лагеря, темой дискуссии стал также исторический анализ «польской революции», включение ее в процесс перемен, происходящих в этой части света.

Эта нить размышлений в более широком контексте продолжается в многочисленных корреспонденциях из стран Западной Европы и Америки, где, в первую очередь, говорится о степени присутствия польского вопроса как в официальной, институциональной политике, так и в сознании жителей этих стран. Феномен «Солидарности» серьезно содействовал разрушению заговора молчания о мире к востоку от Эльбы, разрушению многих общепринятых стереотипов. Чтобы полно осознать и представить восприятие польских событий западными глазами, мы провели ряд интервью в кругах, работающих в поддержку «Солидарности»: от ученых, пишущих на эту тему свои труды, до рабочих, устраивающих сбор средств для своих польских товарищей. Разумеется, польские события часто искажены различными клише, которые к ним прикладывают люди, выросшие в западном обществе, но и комплекс мифов — особенно левых — на эту тему является материалом, косвенно, однако весьма поучительно свидетельствующим об уровне сознания западных граждан.

Быть может, в моем обзоре, а следовательно, и в журнале, который я представляю, можно усмотреть своеобразную аберра-

цию — восприятие всего мира через призму положения Польши. Что поделаешь, мы сейчас поглощены этим без остатка, что не исключает попыток понять действительность вокруг нас. Мы пытаемся делать это, не отказываясь от основного объекта наших интересов и стараясь уберечь наш взгляд от провинциальности.

Существенная тема, которую мы хотим отражать постоянно, — положение польской культуры, оказавшейся в смертельной опасности и одновременно проявляющей необычайную жизнеспособность. Коммунистическая власть предприняла решающую попытку превратить культуру в свое оружие, глубже и успешнее выполняющее репрессивные функции, чем милицейская дубинка. То, свидетелями чего мы сегодня являемся, — это переломный этап борьбы между вооруженной тоннами средств принуждения властью, стремящейся запугать, разложить и расколоть среду деятелей культуры, и представителями этой среды, отказывающимися в послушании, уходящими из официальной, институциональной жизни, старающимися создавать подлинные ценности за рамками государственной монополии. Мы стремимся представлять эту неофициальную «подпольную» культуру.

Говоря о ценностях, стоит остановиться на нравственных размышлениях, занимающих важное место в подпольной публицистике, — им мы посвятили отдельную рубрику. Основная проблема здесь — защита экзистенциальной подлинной сути общества, выдвижение индивидуальных ценностей, которым грозит как тотальное порабощение, так и опасность поддаться правилам борьбы, самоограничиться и, в результате, принять принцип «цель оправдывает средства».

Анализ культуры военного времени дополняется анализом пропаганды режима. Перед лицом тотального аппарата порабощения умов важно вскрыть механизм его действия, его цели и методы их достижения. Официальная пропаганда одновременно является чувствительным барометром политики коммунистических властей, открывает кулисы правительственных мероприятий, потенциальные направления действия, различия во мнениях — в нее следует вчитываться. Здесь важно все: язык, место публикации, выбранный момент и т. д. Пропаганда соотносится с потенциальным адресатом и поэтому обладает рядом различных уровней. Это увлекательнейший материал для семиотического анализа, а кроме того, какой в ней представлен фантастический, гротескный, свифтовско-гоголевский мир!

Остается лишь кратко упомянуть о таких разделах, как «Закон войны», показывающий деформацию правовых институтов и размах репрессий против общества, или «Экономика». Большое число текстов выходит за рамки постоянных тематических рубрик — это скорее эссе, чем статьи, но сюда же входят статьи с конкретным анализом разных сфер общественной жизни, как, например, Церкви или системы образования.

В заключение следует прибавить, что тон журнала диктуется событиями на родине. И, может быть, еще то, что мы редакция, которая, парадоксально, мечтает самораспуститься — тогда, когда мы сможем вернуться на родину и заняться иной проблематикой в ином масштабе.

Бронислав Вильдштейн

АРДИС / ARDIS

	долл.
<i>Василий Аксенов. Остров Крым.</i>	12.50
<i>Юз Алешковский. Николай Николаевич.</i>	4.50
<i>Анна Ахматова. Четки.</i>	3.50
<i>Андрей Битов. Пушкинский дом.</i>	8.00
<i>Иосиф Бродский. Часть речи.</i>	4.50
<i>Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита.</i>	5.50
<i>Михаил Булгаков. Собрание сочинений в 10-ти томах.</i>	
Том 1. Ранняя проза.	25.00
<i>Владимир Войнович. Иванькиада.</i>	5.00
<i>Николай Гумилев. К синей звезде.</i>	3.00
<i>Ф. М. Достоевский. Записки из подполья.</i>	3.50
<i>Николай Евреинов. Фотобиография.</i>	8.50
<i>Фазиль Искандер. Кролики и удавы.</i>	7.95
<i>Фазиль Искандер. Новые главы. Сандро.</i>	10.00
<i>Лев Копелев. Держава и народ.</i>	6.95
<i>Юрий Кублановский. Избранное.</i>	6.00
<i>Семен Липкин. Воля.</i>	5.00
<i>Осип Мандельштам. Воронежские тетради.</i>	3.50
<i>Осип Мандельштам. Тристия.</i>	2.50
<i>Владимир Набоков. Аня в стране чудес.</i>	6.00
<i>Владимир Набоков. Дар.</i>	9.00
<i>Владимир Набоков. Лолита.</i>	8.00
<i>Булат Окуджава. 65 песен. 2-ое изд.</i>	11.00
<i>Борис Пастернак. Воздушные пути.</i>	4.50
<i>Саша Соколов. Между собакой и волком.</i>	5.00
<i>Марина Цветаева. Версты.</i>	3.00
<i>Марина Цветаева: ФОТОБИОГРАФИЯ.</i>	10.00

Книги издательства «Ардис» можно приобрести в любом русском книжном магазине или непосредственно в издательстве:

ARDIS PUBLISHERS

2901 Heatherway, Ann Arbor, Michigan 48104 USA



HERMITAGE

ЭРМИТАЖ — Publishers of New Russian Books

2269 Shadowood, Ann Arbor MI 48104, USA. Tel. (313)971-2968

В 1982 ГОДУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В НАШЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:

<i>Аверинцев, Сергей.</i> «Религия и литература» (143 с., статьи)	7.00
<i>Аксенов, Василий.</i> «Аристофаниана с лягушками» (384 стр.	11.50
Собрание пьес. Иллюстрации Э. Неизвестного) (В тв. обл. 20.00)	
<i>Аранович, Феликс.</i> «Надгробие Антокольского» (190 с., 82 илл.)	9.00
<i>Бракман, Рита.</i> «Жизнеутверждение солженицынского героя» (144 с.)	7.50
<i>Вайль П., Генис А.</i> «Современная русская проза» (182 с., 15 илл.)	8.50
<i>Виньковецкая, Диана.</i> «Илюшины разговоры» (144 с., 60 иллюстраций Игоря Тюльпанова.)	7.50
<i>Владимов, Георгий.</i> «Три минуты молчания» (Роман, 402 с.)	16.00
<i>Гиршин, Марк.</i> «Убийство эмигранта» (Роман, 145 стр.)	7.00
<i>Губерман, Игорь.</i> «Бумеранг» (Стихи, 128 с., илл. Д. Мирецкого)	6.00
<i>Довлатов, Сергей.</i> «Зона» (Повесть, 130 с.)	7.50
<i>Езерская, Белла.</i> «Мастера» (Сб. интервью, 112 с., 12 илл.)	8.00
<i>Елагин, Иван.</i> «В зале Вселенной» (Стихи, 230 с.)	7.50
<i>Ефимов, Игорь.</i> «Архивы Страшного суда» (Роман, 320 с.)	10.50
«Практическая метафизика» (Фил. система, 332 с.)	8.50
«Метаполитика» (Под псевдонимом А. Москвит, 250 с.)	7.00
<i>Зернова, Руфь.</i> «Женские рассказы» (160 с.)	7.50
<i>Коротюков, Алексей.</i> «Нелегко быть русским шпионом» (Роман, 140 с.)	8.00
<i>Лейтман, Игорь.</i> «Контурь лучших времен» (Соц. исслед., 128 с.)	7.00
<i>Лунгина, Татьяна.</i> «Вольф Мессинг — человек-загадка» (270 с.)	12.00
<i>Михеев, Дмитрий.</i> «Идеалист» (Роман, 223 с.)	8.50
<i>Неизвестный, Эрнст.</i> «О синтезе в искусстве» (110 с., 60 илл., большой формат)	12.00
<i>Озерная, Наталия.</i> «Русско-английский разговорник» (165 с.)	9.50
<i>Ржевский, Леонид.</i> «Бунт подсолнечника» (Роман, 240 с.)	8.50
<i>Суслов, Илья.</i> «Выход к морю» (Рассказы, 230 с.)	8.50
«Рассказы о тов. Сталине и других товарищах» (140 с.)	7.50
<i>Ульянов, Николай.</i> «Скрипты» (Статьи, 234 с.)	8.00

При отправке заказа просьба добавлять к сумме чека 1.50 доллара на пересылку (независимо от количества заказываемых книг).

При покупке трех и более книг — скидка 20%.

Наша анкета

ВЛИЯНИЕ ПОЛЬСКИХ СОБЫТИЙ НА СССР И СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Круглый стол журналов «Контакт», «Континент», «Бъдъще» и «Сведецтви», Париж, 22 июня 1982 г.

Этот круглый стол был организован по инициативе главного редактора нового польского журнала «Контакт» Мирослава Хоецкого. Участники дискуссии приглашались с таким расчетом, чтобы они имели «общий язык» (в данном случае, французский) и могли обойтись без переводчика. Однако, по предложению Хоецкого, Владимир Максимов написал вступительное слово к дискуссии. В круглом столе участвовали: Ценко Барев, главный редактор болгарского журнала «Бъдъще» и член редколлегии «Континента»; Михна Берендеи, научный сотрудник французского Национального научно-исследовательского центра, организатор парижского Комитета в защиту прав человека в Румынии; Ян Владислав, чешский поэт и правозащитник, эмигрировавший в 1981 г., сотрудник чехословацкого журнала «Сведецтви»; ответственный секретарь редакции «Континента» Наталья Горбаневская и известный нашим читателям (см. его статью в № 30) польский социолог и экономист Александр Смоляр. Магнитная запись дискуссии, расшифрованная Ольгой Свинцовой, приводится в сокращении, под редакцией А. Смоляра, в переводе Н. Горбаневской.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЛАДИМИРА МАКСИМОВА

Говорить о влиянии польских событий на освободительные процессы в России и Восточной Европе — это значит ломиться в открытую дверь. Поступающая оттуда информация говорит сама за себя: политическая радиоактивность Гданьского Августа уже к концу восьмидесятого года проявилась не только в Советской Прибалтике, непосредственно прилегающей к Польше, но и в нескольких промышленных центрах Украины и Российской Федерации, а также в угольных бассейнах Чехословакии и Румынии, в Восточном Берлине и Болгарии.

И если в самом начале волнения и забастовки в этих частях восточного блока носили спорадический характер, то теперь, насколько нам известно, спонтанно возникшее там Соппротивление медленно, но верно начинает приобретать организационные формы.

Совсем недавно, например, на Западе было опубликовано воззвание Свободного профсоюза Болгарии. Крепнет, набирает опыт и размах румынское рабочее движение. Несмотря на тотальные репрессии, продолжает функционировать Свободный профсоюз в СССР. Все это, разумеется, было бы немыслимо без решающего влияния польского примера.

Но в то же время нельзя, на мой взгляд, рассматривать достижения польского рабочего движения вне контекста восточноевропейского освободительного процесса в целом. Как процесс социального обновления в России и Восточной Европе мы не мыслим без Гданьского Августа, так и Гданьский Август был бы немыслим без трагического опыта этого процесса, начиная с кровавого июня 1953 года, когда немецкий пролетариат нанес первый удар по тоталитарной твердыне коммунистической империи.

От Берлинского восстания через Варшаву и Будапешт 56-го и Прагу 68-го к Польскому Августу 80-го — таков путь к сегодняшнему положению в Польше. Поэтому в победе польских рабочих — а я, при всех обстоятельствах, считаю достигнутое ими исторической победой, чем бы их борьба ни кончилась, — отразилась вся сумма восточноевропейского Сопротивления за последние три десятилетия.

Учитывая это, тоталитарная диктатура действует по своему излюбленному и, на первый взгляд, проверенному историей методу: «разделяй и властвуй». Польских трудящихся она исподволь убеждает в том, что их продовольственные трудности вызваны вынужденными поставками сельхозпродуктов в Советский Союз, а советских — в том, что приходится кормить весь социалистический лагерь и, главным образом, ту же Польшу. Правда, в таком случае позволительно спросить у нее, у этой диктатуры: почему же при столь «братском» распределении материальных благ почти все в этом пресловутом лагере сидят голодные? Впрочем, как вы знаете, голод — отличительная черта всякого лагеря, будь то социалистический или концентрационный.

К чести польского рабочего класса и его лидеров, эта примитивная демагогия не нашла в их среде сколько-нибудь заметного отклика: слишком дорогой ценой было уплачено ими за свою победу, чтобы они соблазнились столь дешевым способом социального и политического самоутверждения.

На самом взлете своей борьбы, поднятые на гребень поистине всенародной поддержки, когда, казалось бы, и любой профессиональный политик мог бы забыть в эгоцентрическом опьянении, лидеры «Солидарности» проявили образец политической зрелости и пролетарского самосознания, выступив с историческим теперь обращением к трудящимся Восточной Европы.

«Наша цель, — писали они в этом обращении, — борьба за улучшение существования всех трудящихся. Мы поддерживаем тех

из вас, кто решился вступить на трудный путь борьбы за свободное профсоюзное движение. Мы верим, что уже скоро ваши и наши представители смогут встретиться, чтобы обменяться опытом».

Мне кажется, что эти слова могут стать и в конце концов станут фундаментом нашего единства в борьбе за подлинное освобождение трудящихся в тоталитарном мире, а может быть, и не только в нем.

А. Смоляр: Восприятие в других странах советского блока того, что происходило в Польше, весьма интересовало поляков. Это видно по прессе «Солидарности», по призыву съезда «Солидарности» к трудящимся народов Восточной Европы и СССР. Интерес этот был вызван различными причинами. Разумеется, своего рода идеализмом: другие — в том же положении, что и мы, а значит, нужно освобождаться вместе, нужно помогать друг другу. Но были и причины вполне реалистические: после опыта изоляции венгерской революции 1956 г. и советского вторжения в Чехословакию 1968-го стало ясно, что крайне трудно, а то и невозможно серьезно продвинуться по пути десоветизации, демократизации наших стран без перемен в соседних странах. Поэтому так важно знать, какова была реакция на польские события в других странах блока: на уровне общественного мнения, среди интеллигенции и в правящих кругах. В частности, какие средства избрали на этот раз власть предержащие, чтобы ограничить опасность эпидемии.

М. Берендеи: В Румынии польские события вызвали большее внимание, чем события в других странах советского блока. С 1977 г. мы наблюдаем ряд проявлений открытой оппозиции в Румынии, часто испытывавшей влияние событий в соседних странах. «Движение Гомы» в 1977 г. прямо возникло под влиянием Хартии-77. Первый свободный профсоюз в феврале 1979 г. был создан под влиянием клебановского свободного профсоюза в СССР, а также развития событий в Польше. Можно сказать, что существует своего рода коллективная история оппозиции. Люди узнают пример, следуют ему, при этом всегда вносят что-то новое. Программа румынского свободного профсоюза скорее напоминает клебановский профсоюз: это группа недовольных, решившаяся предпринять совместные действия, а не объединение на производстве. Но в том же 1979 году, до того как репрессии уничтожили все движение, последовало создание действительных профессиональных союзов на многих предприятиях по всей стране. Насколько нам известно, после первой попытки — забастовки шахтеров бассейна Жиу в 1977 г., когда шахтеры организовались политически, выбирали представителей и искали контактов с другими группами рабочих в стране, такое наступило впервые и, к тому же, имело более широкий размах и продолжалось дольше — забастовка бассейна Жиу была ликвидирована в течение трех дней.

Польские события вызвали в Румынии, особенно среди рабочих, напряженный интерес. Первой трудностью, естественно, оказалась информация. Из всех стран советского блока Румыния давала и дает меньше всего официальной информации о Польше, даже негативной, ибо известно, что в наших странах люди даже из негативной информации черпают позитивную. А когда нет ничего, трудно узнать хоть что-то. Так что единственным источником информации остается Радио Свободная Европа. Кроме того, в Румынии нет самиздата. Были отдельные попытки, но они не привели к созданию действенного самиздата, способного передавать информацию внутри страны и содействовать связи между рабочими. Еще одно отрицательное явление: отсутствие активной оппозиционной интеллигенции. Это видно практически по всем письмам от рабочих, которые мы получаем. Они пишут: никто не помогает нам вне нашего завода или нашей группы, нет интеллигентов, которые нам помогают, нет интеллигентов, которые с нами.

Что касается свободных профсоюзов, за это время было предпринято много попыток перестройки их структуры. Большинство их членов выбрало уход в подполье, с тем чтобы прежде всего создать организацию на уровне страны. Как раз накануне объявления военного положения в Польше мы получили из Клузы письмо солидарности в ответ на послание Гданьского съезда. В этом письме сообщалось также, что рабочие готовят профсоюзное представительство на уровне страны и затем предполагают организовать новую забастовку одновременно в ряде мест страны, как можно более широкую. Здесь очевидно прямое влияние Польши.

Следует прибавить, что репрессии в Румынии по своей крайней жестокости несравнимы с польскими. Это видно на примерах подавления забастовки в бассейне Жиу, расправы с организаторами свободного профсоюза или совсем недавно, после забастовки осенью 1981 г. в бассейне Мотру: весь бассейн был объявлен запретной зоной, и до сих пор никто извне не может туда проникнуть. Если в бассейне Жиу часть лидеров была расстреляна, а другие «пропали без вести» (по сей день), то новая расправа, возможно, была еще более жестокой и массовой.

Среди рабочих и в деревнях симпатия к Польше была повсеместной — более сдержанной она была по мере подъема по ступенькам социальной лестницы: не столько уменьшался интерес, сколько увеличивался пессимизм. Отношение интеллигенции было таким: это, конечно, все правильно, но ничего у них не выйдет — у чехов не вышло, у венгров не вышло... И в то же время была великая надежда. В этом смысле 13 декабря — действительно огромная победа с точки зрения власти, ибо румынские власти, несомненно, были полны страха. Это видно из целого ряда мер, предпринятых ими — не в направлении либерализации, но в плане отдельных поблажек — после августа 1980-го.

Ян Владислав: Мы с поляками соседи и часто «братья-враги» — пусть не в глубоком смысле, однако исторические сложности оставались. Наш режим нередко на этом играет, и его попытки не всегда безуспешны. В Чехословакии надо различать отношение разных групп населения. Оппозиционная интеллигенция, безусловно, симпатизировала полякам — особенно круги Хартии-77, те, кто и раньше пытался прямо сотрудничать с поляками в составлении общих документов или выпуске общих независимых изданий. Что же касается рабочих, то у нас положение рабочих гораздо лучше, чем в Польше и других странах, — крайней нужды в Чехословакии нет. Есть, конечно, очереди, но это не воспринимается трагически: в конце концов, есть что есть, и едят неплохо. И, в частности, поэтому люди осторожны, даже чересчур осторожны. Ну и, конечно, остается память 68-го года.

Я думаю, что рабочие у нас были хорошо информированы о том, что происходит в Польше, и смотрели на это несколько со стороны, с недоверием. Не то что бы они не доверяли полякам — их недоверие было тем же, что у интеллигенции в Румынии: известно, чем все это кончится. К тому же, чехи — скептики, куда большие скептики, чем поляки.

Я хотел бы прибавить еще одну важную вещь психологического порядка. В 1938-м, в 1968-м, да и в другие периоды мы чувствовали себя одинокими — солидарность поляков, венгров или румын не очень-то была видна. Не следует также забывать, что, хоть это и не их вина, поляки и венгры пришли в 68-м году вместе с русскими. Против воли, да, но они вошли в Чехословакию.

И вот по всем этим причинам влияние польских событий было, на мой взгляд, довольно ограниченным — сильнее было влияние на интеллигенцию и, конечно, на режим, который был в высшей степени взволнован.

Ц. Барев: Для Запада Болгария — страна молчания, страна, где «ничего не происходит». На самом деле, еще до августа 1980-го в Болгарии шла независимая деятельность, больше политическая, но и профсоюзная. В разных местах страны рабочие действовали на свой манер: забастовки, саботаж. Рабочий класс, народ в целом вовсе не были так спокойны, как это представляет правительство.

Трудно сказать, насколько болгары были информированы о польских событиях с помощью иностранного радио. Радио Свободная Европа слушают у нас не так широко, как в Румынии. Причина, видимо, в штатах болгарской редакции, в которую входят, с одной стороны, бывшие приспешники нацистов, с другой — бывшие сотрудники Болгарского радио и телевидения. Там происходит сотрудничество двух режимов, на первый взгляд антиподов, но, как мы видели в 1939 г., способных успешно приходить к соглашению.

Первыми, кто принес в Болгарию вести о происходящем в Польше, были польские туристы. Кроме того, много болгар учится

или работает в Польше, у нас с ними есть контакты, и мы знаем, что во время визита Папы в Польшу в 1979 г. многие болгары приняли участие в демонстрациях, а в Кракове болгарская студентка произнесла приветствие от имени болгарского народа. Мы издали по-болгарски брошюру с переводами статей польской и западной прессы об этом визите — 3000 экземпляров этой брошюры были отправлены в Болгарию.

Польские события словно подхлестнули рабочих и крестьян в Болгарии. Реакция на них была крайне дружественной. У нас есть листовки, распространявшиеся студентами, мы знаем о демонстрациях, была даже делегация рабочих, которая отправилась в центральную газету болгарских профсоюзов с требованием давать информацию о польских событиях. Ничего подобного в Болгарии не происходило за последние несколько десятков лет.

За четыре месяца до 13 декабря в Болгарии был создан свободный профсоюз, во всех деталях скопированный с «Солидарности». Именно его организаторы просили нас, эмигрантов, продемонстрировать солидарность болгар с поляками, польскими независимыми профсоюзами и их деятельностью.

После 13 декабря мы предполагали, что им придется притормозить свою деятельность. Ничего подобного! Именно после 13 декабря болгарские студенты создали свой профсоюз, вначале как филиал «трудового профсоюза», затем, из соображений безопасности, отделившийся и переместившийся в один из провинциальных университетских городов...

Н. Горбаневская: Начиная говорить о влиянии, мы все сталкиваемся с проблемой информации: прежде чем реагировать, люди должны быть информированы. В СССР нет, по крайней мере, этого явления нулевой информации, как в Румынии. Негативная информация о польских событиях почти все время была очень широкой и вызывала хорошо известную реакцию советского читателя, читателя любой страны коммунистического лагеря: если пресса говорит, что нечто плохо, значит, это хорошо. Но, увы, такая реакция всего лишь эмоциональна — нельзя сделать практических выводов, не зная практики «Солидарности». В этом смысле, думаю, те, кто слушает иностранное радио в СССР, были информированы неплохо.

Можно еще умножать примеры влияния «Солидарности» на советское общество и, главным образом, на рабочих. Можно привести многочисленные случаи забастовок и даже — это для СССР ново — выдвинутые бастующими социальные требования, а не только, как прежде, недовольство снабжением. Во многих городах учредительные комитеты свободных профсоюзов и отдельные люди распространяли листовки с прямой ссылкой на опыт «Солидарности».

Стоит сказать об одном особом аспекте влияния польских событий в СССР — влияние в прибалтийских странах. Здесь все последние годы были более или менее широкие выступления за незави-

симость, а польский пример словно напомнил более широким слоям населения о потерянной, похищенной независимости. Это пробудившееся национальное чувство осенью 1980 года, т. е. вскоре после возникновения «Солидарности», привело к широким демонстрациям в Эстонии под лозунгом независимости. Тогда же прошли массовые забастовки в Эстонии и Литве. Пример «Солидарности» был воспринят как возможность успеха массового движения — будь оно социальным или национальным. Сам расширившийся социальный протест в Прибалтике связан еще и с тем, что там лучше с информацией. Там лучше слышно радио, в Эстонии можно смотреть финское телевидение, а зримость придает информации особую убедительность. Из Литвы в Польшу и из Польши в Литву ездят друг к другу родственники, хотя в этот период поездки и были ограничены. Кроме того, советская власть в Прибалтике установлена позже, и традиции довоенного рабочего движения, видимо, убиты не до конца. Косвенное тому доказательство — недавние аресты членов социал-демократической партии Латвии.

Я практически полностью согласна с Максимовым — разве что стоит подчеркнуть, что тактика «разделяй и властвуй» в СССР временами все-таки приносила успехи. На любом собрании, где выступали лекторы-пропагандисты, постоянно раздавался вопрос: почему нечего есть? почему пусто в магазинах? — и неизменный ответ пропагандистов был: потому что мы всё отправили в Польшу, потому что поляки не работают, а бастуют, и мы, во имя интернационализма, дружбы народов и т. п., не можем дать им помереть с голоду.

Ян Владислав: Это тема и чехословацкой пропаганды. Только у нас это делалось не через пропагандистов, а путем распускания слухов. Да и не все слухи шли от властей — в Чехословакии они возникали скорее стихийно. И в самом деле, поляки приезжали к нам за покупками, так что там, где они бывали, в Остраве, в Северной Моравии, поляков не очень-то дружелюбно принимали. А режим, конечно, на этом играет.

Н. Горбаневская: Я думаю, что такой пропаганде было нетрудно преуспеть в СССР из-за действительной страшной нужды. Даже те, кто настроен в пользу «Солидарности», в пользу польского движения, кто слушает иностранное радио, бывали поражены. Например, прошлым летом «Солидарность» борется против уменьшения рационов мяса, сниженных до 3,2 кг, — в это самое время в большинстве местностей РСФСР тоже введены продуктовые карточки, и мяса по ним полагается 800 г в месяц на человека. Думаю, что в этих обстоятельствах можно понять, почему рядовой советский человек не горит симпатией к «Солидарности». У нас очень живы воспоминания войны и самых первых послевоенных лет, полной нищеты. Сейчас все-таки кое-как жить можно, и в то же время люди настолько измучены бытом, что у них почти ни на что не остается сил.

На этом фоне нередкие, но рассеянные по стране случаи создания учредительных комитетов профсоюзов или распространения листовок, призывающих к созданию свободных профсоюзов, к защите прав трудящихся, — просто подвиг. Тем более, что из-за громадных размеров страны люди еще более изолированы друг от друга.

В общем, пропаганда имела частичный успех: люди не столько обмануты пропагандой, как в 1968-м, сколько подавлены ею. Кроме этих отдельных групп, которые действуют и продолжают действовать, в массе никто ни во что не верит, никто ни на что не надеется, никто не ищет правды: все хорошо выучили, что правда — «Правда» — стоит три копейки.

А. Смоляр: Можно сказать, что в официальной пропаганде советского блока, цель которой — управиться с польским кризисом, ограничить угрозу, принесенную возникновением «Солидарности», присутствуют четыре основных элемента. Прежде всего, то, о чем говорила Горбаневская и что, вероятно, действительно только для Советского Союза: советские власти использовали против поляков советскую нужду. Второй элемент, которого мы не затронули, играет роль, по-моему, особенно в Восточной Германии, Чехословакии, Венгрии. Это миф о польской лени: поляки — просто лодыри и живут за наш счет. Этот миф чаще распространяется устно, но находит свое место и в полугласной, а в случае Восточной Германии — прямо в открытой, официальной пропаганде.

Н. Горбаневская: В Советском Союзе аналогичный, но несколько иной миф: эти поляки, которые вечно бунтуют и поэтому не работают. Вывод: «не работают» — тот же, но сам миф о бунтовщиках более заразителен...

А. Смоляр: Третий элемент, важный, на мой взгляд, для наших стран, я назвал бы стремлением к уравниловке. К равенству можно стремиться двумя путями: стремясь выравниваться по верхнему уровню или же по принципу «а чем они лучше? почему у них должно быть больше прав, свободы или мяса?». Это уравниловка, «плебейский эгалитаризм» чисто негативного типа.

Четвертый элемент, думаю, особенно важен для Венгрии, но частично и в других странах. Это страх, что события в Польше сделают более жесткой политику Кремля, а другим странам придется расплачиваться. Расплачиваться и экономически (ограничение торгового обмена с Западом), и политически: венгерскому либерализму придет конец. Даже в Чехословакии, где положение далеко не расценивается как хорошее, помнят, что бывало и хуже, и боятся к этому вернуться.

Ян Владислав: Думаю, что все эти элементы существуют в каждой стране, только смешаны они в разных пропорциях. Это зависит и от сегодняшнего положения, и от традиций. У нас существует та застарелая вражда между чехами и поляками, о которой я говорил.

Но в определенных слоях действительно играет роль этот эгалитаризм, потому что поляки для нас, чехов, — у словаков это не так — поляки для нас шляхта, дворяне. В Чехии же дворянства не было, и нация шляхтичей вызывает неприязнь.

Следует не забывать, что в каждой стране официальная пропаганда старается играть на всем возможном, пусть даже с различными результатами, иногда такими неожиданными, как пробуждение израильских чувств вследствие антисемитской пропаганды. У нас пропаганда тоже, пожалуй, слишком пережала и вызвала по отношению к Польше чувства, противоположные запланированным. Но это нечто неуловимое, этого не увидишь, не то что официальную пропаганду, вездесущую, в газетах, даже в частных письмах, потому что такое люди не боятся написать. Противоположное же как бы и не существует: какова реакция, каково неофициальное мнение чехов и словаков?

А. Смоляр: Иржи Пеликан сказал мне, что вначале, осенью 1980-го, в Чехословакии господствовал полный скептицизм, но затем люди увидели, что это затянулось надолго и, оказывается, Советы не так могущественны, как предполагалось, раз они вынуждены так долго терпеть этот опыт.

Ян Владислав: Да, я думаю, что общий результат таков: чехи, эти «скептики», увидели, признали в конце концов — как считаю и я, — что даже при нынешних результатах это победа. Просто потому, что в течение многих месяцев, почти полутора лет, был одержан верх над властями. Вы понимаете, это действительно огромное достижение.

Но я хотел бы сказать о двух типах официальной реакции. В пропаганде вначале было отрицание без аргументов, затем отрицание с приведением аргументов, и, наконец, некоторые проблемы, которые никогда не поднимались в чехословацкой прессе, стали попадать на ее страницы. Несколько месяцев назад я читал в «Руде Право» статью о «параллельных структурах». Это тема, поднятая диссидентами, которые говорили о «параллельной экономике», «параллельной культуре» и т. п. Появление такой статьи связано с польскими событиями: даже официальная идеология и пропаганда были вынуждены глянуть на то, что происходит у нас, вынуждены заговорить об этом. С другой стороны, была реакция полицейская, реакция органов репрессии, которые были крайне, крайне нервированы и не знали, на кого им рассчитывать и что делать. Это очень важно. Это пока ничего не меняет, но это может многое изменить в будущем.

Но Чехословакия испытала и последствия 13 декабря. Например, за весь предшествующий период польских событий власти не решались повышать цены, а после объявления военного положения в Польше их тут же подняли, зная, что теперь власть победила. И повышение цен было не единственной мерой такого рода.

М. Берендеи: Я хотел бы подчеркнуть огромную реальную солидарность. Насколько я знаю, ни разу, даже тогда, когда власти подкидывали идею, что продовольственные трудности (а в Румынии это очень остро) вызваны тем, что продовольствие посылают в Польшу, — даже тогда никто в это не поверил и никто не отнесся критически к польским событиям.

Вначале Чаушеску был одним из наиболее критически настроенных коммунистических вождей — он критиковал не «Солидарность» (чтобы не дать информации даже критикой), но польское правительство и польскую партию, которые плохо справились с работой. Меры, принятые в Румынии вначале, были мерами успокоительного порядка. Из страха перед вспышкой типа польской были объявлены — хотя позднее почти не осуществлены — некоторые социальные мероприятия. Так, осенью 1980 г. в прессе обсуждался закон о квартплате: печатали критические письма читателей о законопроекте, который, в конце концов, был отвергнут и — принят годом позже, с изменением положения в Польше. Есть еще много подобных примеров. Такова была первая реакция. В то же время были расширены полномочия госбезопасности, вырос ее контроль в стране. Всё это происходит при катастрофическом экономическом положении: постоянное повышение цен, острая нехватка продовольствия — результатом этого были волнения осени 1981 года. Правительство пытается справиться с положением, приняв целый ряд мер по, я сказал бы, милитаризации промышленности — в каком-то смысле эти меры предвосхитили происшедшее в Польше в декабре. Было введено антирабочее законодательство — исключительно жесткое трудовое законодательство. Например, за уход с места работы грозит тюремное заключение. В настоящее время это самое жесткое трудовое законодательство в странах советского блока. То же ужесточение проведено в отношении крестьян — принятое законодательство о труде крестьян сравнимо разве что с худшими периодами крепостного права. Сейчас поведено наступление на приусадебные участки: во-первых, запрещено продавать продукцию с этих участков на рынках — рынки, таким образом, ликвидируются, и все должно быть сдано государству по государственным ценам; во-вторых, крестьяне не имеют права, как раньше, выращивать то, что хотят, — только то, что прикажут государственные власти.

В Румынии сейчас идет беспрецедентное катастрофическое ускорение вспять, к худшим сталинским временам, к догматизму чистой воды.

Ц. Барев: После 13 декабря болгарское правительство предприняло меры двух типов: репрессивного и пропагандного. Часть болгар, находившихся в Польше во время деятельности «Солидарности», была отозвана на родину и подвергнута допросам госбезопасности. На всякий случай, для них были очищены несколько концлагерей. В пропаганде вы не найдете ничего, кроме картины нормализации

в Польше: вы слышите об этом по радио, видите по телевидению, об этом рассказывают партийные пропагандисты — всеми силами внушается, что партия с честью вышла из испытаний, что Польша в надежных руках, и т. д., и т. п., одним словом, что происходит нормализация.

В то же время правительство производит некоторые перемены в экономическом плане. Сменив председателя совета министров, они как бы пытаются следовать венгерскому примеру. Я не думаю, что это принесет конкретные результаты, но факт налицо. Они пытаются способствовать возврату населения в деревни. Они выдают по 6 тыс. левов на семью, которая соглашается вернуться в деревню. Если эта семья отстраивает дом, она получает даже дополнительный земельный надел из фонда заброшенных земель и имеет право свободно возделывать эту землю и пользоваться ее плодами.

В пропаганде правительство натолкнулось на сложности: пропагандисты излагали рабочим точку зрения официальных профсоюзов, устраивали собрания с докладами о событиях в Польше, но вынуждены были отказаться от этого, поскольку рабочие задавали вопросы, ставившие их в тупик, типа: «Но ведь поляки были правы, они работают и помирают с голоду, как и мы, почему вы нам тут рассказываете о поляках, вместо того, чтобы заняться нашими заботами?..» Эта акция пропаганды потерпела полное поражение. Чтобы настроить общественное мнение против поляков, пресса широко объявила об отправке в Польшу через СЭВ продовольственной помощи из Болгарии, а в школах каждый учащийся должен принести 1 лев в неделю «на польских детей».

Что еще важно — то, о чем говорил Ян Владислав: страх. Страх, который впервые проявился на всех уровнях партаппарата, государственной администрации и в особенности органов репрессии. Они задаются вопросом о завтрашнем дне и начинают искать хороших отношений с теми, кто известен как оппозиционеры или прошел через лагеря и тюрьмы.

А. Смоляр: Я хотел бы перейти ко второй части нашей дискуссии — к проблеме будущего. Отношение населения стран советского блока к польским событиям было очень сложным, многосторонним, включающим положительные и отрицательные элементы. Положительно, по-моему, то, что властям не удалось создать острый антагонизм, враждебность по отношению к полякам в соседних странах. Даже если скептицизм был силен, симпатия к борьбе поляков была широчайшей. Однако против поляков был сам факт совпадения глубочайшего экономического кризиса с развитием «Солидарности». Поэтому для многих в советском блоке польский пример терял притягательность из-за отождествления этих двух явлений. Еще один отрицательный элемент — пропагандная эксплуатация стремления к уравниловке, а также межнациональной неприязни и страха населения, что положение может стать еще хуже. Еще одно последствие

польских событий — это психологическая и идеологическая дестабилизация правящих слоев во всех странах советского блока. Еще с 1956 г. они начали осознавать, что будущее принадлежит им не на 100%, но все-таки они могли рассматривать Венгрию как несчастный случай на пути десталинизации, а позднее Чехословакию — как предательство правящего слоя, т. е. как явления, которых можно избежать. Польша впервые ставит проблему освобождающегося и противопоставляющего себя системе общества и, в первую очередь, рабочего класса. Как можем мы искать образ будущего в этой запутанной, крайне сложной картине?

Уже испробованы три модели десоветизации, и нелегко изобрести или представить себе четвертую. Венгерская модель — социальная, национальная, политическая революция. Чехословакия — движение за реформы, предпринятое партией, но захватившее все общество. Польша — общество против государства-партии, в поисках возможного (или невозможного) политического компромисса. Так вот, как мы можем себе представить будущее, какое будущее может выйти из этого польского «приключения», далеко еще не законченного?

Ян Владислав: Думаю, что и в Чехословакии не все кончено. Думаю, что нигде нельзя сказать, что все кончено. Наоборот, на мой взгляд, эти режимы, такие, как у нас в Чехословакии, — это мертвые режимы: они стараются стабилизироваться, но при этом не двигаются с места. Малейшее движение грозит им опасностью, сдвинутый камушек может вызвать обвал. Они окаменели, омертвели. У нас, вы знаете, есть ритм примерно десятилетний: поднимающаяся волна приносит либерализацию и следующую за ней реакцию режима, но, несмотря на реакцию, это каждый раз начинается заново. Это было в 1948, 1958, 1968 годах, а затем, в 1977-1978 годах, была, скажем, «украденная» волна. Это происходило через 10 лет после 68-го года, вокруг Хартии-77, и в тот момент, когда уже начинали разворачиваться события в Польше. Я хочу сказать, что теперь новая, неизбежная, необходимая волна будет тем сильнее и тем опаснее. Она будет гораздо сильнее по экономическим причинам, ибо положение ухудшается со дня на день, и это всем известно. С другой стороны, расшатывается моральное состояние. Если два этих потока сольются, произойдет нечто крайне важное. Я не знаю, какое направление примут затем события, — это, как вы понимаете, зависит от эволюции других стран: и Польши, и Советского Союза, потому что в Советском Союзе тоже есть элементы, которые, быть может, принесут перемены.

Н. Горбаневская: Я думаю, что советская власть должна была все время решать две проблемы: во-первых, разобраться со своим внутренним положением, во-вторых, решить, что делать с Польшей. Мне казалось и по-прежнему кажется, что советская власть все время оказывается в весьма амбивалентном положении. Быть

может, один пример может показать границы возможностей властей. Заметим, что все забастовки, имевшие место в СССР после создания «Солидарности», — точнее, все забастовки, о которых нам известно, — не подавлялись вооруженной силой, а требования бастующих обычно удовлетворялись. И каждый раз власти, местные или более высокие, оказывались перед дилеммой: либо жестоко подавить забастовку и, возможно, спровоцировать бунт, либо удовлетворить трудящихся и... спровоцировать новые забастовки. Помоему, ровно в то же положение СССР попал по отношению к Польше: либо кроваво подавить, либо махнуть рукой. Надо сказать, тут они действительно нашли наилучшее решение.

13 декабря для тех в СССР, кто сочувствовал «Солидарности», оказалось страшным психологическим шоком. До нас пока дошло очень мало откликов: в нескольких открытых письмах был выражен протест, но не было, например, ни одной демонстрации. И, в самом деле, против чего демонстрировать? Демонстрируя в 1968 г. против вторжения в Чехословакию, мы выступали против преступления нашей собственной власти. Сейчас же, даже считая, что замысел 13 декабря исходит из Кремля, было бы, пожалуй, чрезмерно ожидать от людей, которые живут под ежеминутной угрозой ареста и, несмотря на это, стремятся что-то сделать, защищают заключенных в советских лагерях и тюрьмах, — что они выйдут на демонстрацию против репрессий в Польше, проводимых польским же правительством. В каком-то смысле 13 декабря для советских граждан сумело превратить события в Польше действительно во «внутреннее дело» поляков.

Но в то же время оно положило конец иллюзиям. Нет, не иллюзиям о том, что коммунистическая власть может разрешить существование независимого движения, что она «даст» свободы, в то время как имеет все возможности отобрать их, — мне трудно поверить, что кто-то в СССР имел такого рода иллюзии. Я имею в виду другие иллюзии — «иллюзии выжидания»: подождем, поглядим, что выйдет у поляков, а там, может, и нам что-нибудь удастся. Я не говорю здесь о тех немногочисленных группах и отдельных людях, которые не выжидали, но действовали и действуют. Переворот 13 декабря заставил всех: и поляков, и граждан соседних стран — «спуститься на коммунистическую землю» (как говорится в одном польском подпольном журнале) и не питать иллюзий. Он, конечно, многим принес отчаяние, но у других вызвал реакцию, которую я назвала бы положительным пессимизмом, активным пессимизмом: сознание, что, если только ждать и сложа руки наблюдать, ничего действительно не переменится. Значит, надо действовать вопреки всему. Быть может, именно эта реакция принесет свои плоды.

М. Берендеи: Мы все здесь, на Западе, а многие и на Востоке думали так: вот партия, которая разваливается, польская партия

развалилась. Оказалось, что это заблуждение. Партаппарат не развалился, и можно было видеть, как он немедленно мобилизовался и действовал успешно.

Что же касается реакции общества и, главное, реакции румынских рабочих на 13 декабря, то это, прежде всего, огромное разочарование, и это важно: люди начинали думать, что возможно что-то сделать, следуя польскому примеру. Одно из проявлений этого разочарования — все более частые насильственные акции: все больше актов саботажа, все чаще поджоги колхозных построек, пожары на заводах, даже покушения — этой зимой были случаи убийства милиционеров и избиения партийных чиновников. Чувство отчаяния, безвыходности, люди прижаты к стенке... А нужда куда сильнее, чем в Польше.

А. Смоляр: Отчаяние может вызвать различные результаты: и подавленность, распространяющуюся апатию, и, наоборот, бунт «бессмысленный и беспощадный», чисто разрушительный.

М. Берендеи: В Румынии, прежде всего, не исключены крестьянские мятежи, страна нередко на грани этих мятежей. В конце концов, восстание в Мотру, вызванное, как обычно, историями с повышением цен и крайней нехваткой продовольствия, а затем переросшее свои причины, — тоже одно из проявлений отчаяния. То же самое и все акты саботажа. И я считаю, что следует ожидать актов насилия, начала подлинно насильственных действий, поскольку они остаются единственным возможным проявлением недовольства. Но, с другой стороны, я думаю, что и в среде интеллигенции что-то сдвинется, поскольку правительство впервые повело наступление на те малые привилегии, которые еще оставались у интеллигенции.

Все нынешние события: перемены в правительстве, сконструированная история против сектантов — все это реакция самого Чаушеску и слишком очевидное запугивание. Сейчас, на первой стадии, все недовольство интеллигенции и других верхних социальных слоев сосредоточивается на фигуре самого Чаушеску, на семье Чаушеску, на своего рода личной диктатуре. Растет желание избавиться от Чаушеску, по принципу: после него, так или иначе, будет лучше; хуже, чем при нем, быть не может, после него, по крайней мере, можно будет вздохнуть, а дальше посмотрим.

Режим Чаушеску — если он не принесет положительных экономических результатов, а на это не похоже, — остается глубоко неустойчивым. В конце концов, можно суметь, как в Восточной Германии, укрепить крайне милитаризованный режим при наличии хоть какого-то сносного уровня жизни, которого нет в Румынии. Если люди доходят до того, что говорят: лучше было, когда русские были в Румынии, когда советские войска были у нас, — значит, действительно, пришел конец всем иллюзиям и всем надеждам.

Ц. Барев: Я попробую ответить на поставленный вопрос с помощью того, что пишет группа болгарских экологов в дошедшем

до нас большим, примерно стостраничном документе. Там говорится: они уничтожили природу, они уничтожили общество, на чем же они будут держаться? — не на чем. При том устройстве, какое существует в нашей стране, вообще в странах советского блока, не разрешена проблема крестьянства — ни в экономическом, ни в социальном, ни в производственном плане, независимо от того, владеют крестьяне землей или нет. Авторы документа приводят пример: в Польше земля на 80% в руках крестьян, в Болгарии им принадлежит только 2% земель, но обе страны стоят перед той же проблемой, равно не решенной: уровень жизни, питание, социальные условия крестьян — всё стало ниже, чем прежде. Рабочий считал себя хозяином своего завода, а сегодня он видит, что ни в экономическом, ни в социальном, ни в чисто личном плане его судьба в рамках советской системы неразрешима. То ж самое с чиновниками и служащими.

Авторы документа, находящиеся внутри страны, считают, что ни СССР, ни одна из наших стран не способны просто выйти из кризиса. Они видят только один путь: захват власти в СССР военными, что будет повторено в остальных странах. Но это не решает внутренних проблем — Ярузельский в Польше не решил их. Следовательно, военные власти попытаются выйти из кризиса, наращивая критические ситуации, другими словами, провоцируя в том или ином месте войну, иначе наступит восстание внутри страны, поскольку такой «выход» не решает, даже не смягчает ни одной проблемы.

А. Смоляр: Думаю, всегда не лишне подчеркнуть, что кризис — явление повсеместное в советском мире и что Польша — крайний пример более общего положения. Коммунистический режим после войны был, несомненно, более популярен в Болгарии или в Чехословакии, чем в Венгрии или в Польше, по ряду исторических, культурных, комплексных причин. Однако во всех восточноевропейских странах власть сумела обрести некоторую, пусть даже минимальную социальную базу благодаря развитию экономики, модернизации, градостроительству, возможностям социального выдвижения. Этот режим завоевал и некоторую поддержку на уровне идеологии особенно в кругах интеллигенции. Более или менее широкие слои общества, пережив апокалипсис Второй мировой войны, поддались на ту картину прогресса человечества, которую преподнесли им коммунисты. Сегодня же, как мы видим, этот режим не может предложить ничего. В области экономики он не может дать ни малейшего повышения жизненного уровня. Антонин Лим как-то сказал, что общественный договор между правителями и подданными еще 10 лет назад заключался через мясника. Мясник-то сегодня остался на месте, да вот только мяса нет — как в переносном смысле, так и в самом буквальном. Кроме того, в странах советского блока больше не существует социального выдвижения — это

показывают даже социологи, там работающие. Решительно скомпрометирована и «социалистическая модель культуры». На уровне национального дела обстоят сложнее: несомненно, что система старается играть на националистической идеологии. В СССР это более замаскировано: «у нас нет хлеба, потому что мы сохраним целую империю, но зато мы сильны, все нас слушают, все нас боятся...». В других странах официальный национализм — палка о двух концах: он опасен для власти предрежащих, потому что нет здесь подлинного национализма без антисоветской окраски. Поэтому официальный национализм как бы не имеет противника или же создает псевдопротивника (например, евреев). Словом, это пародия на национализм, способная играть какую-то роль только для самой же власти, ищущей некую компенсацию, некое историческое оправдание для своей роли во главе страны. В общем, мы видим истощение жизненных сил этой системы.

О ней, пожалуй, уже можно говорить в прошедшем времени, поскольку будущего у нее нет. Но это прошедшее время может затянуться еще надолго. Мы знаем, что ни одна система не может стоять бесконечно лишь на голой силе, но это знание действительно в исторической перспективе, а не в категориях человеческой жизни, оно не очень-то ободряет: она может простоять еще годы, десятки лет.

Однако то, что следует подчеркнуть, — это творческие способности наших обществ в области сопротивления. Сопротивление существовало всегда — с начала большевистской революции, с послевоенного времени в наших странах. Оно бывало рассеянным, раздробленным, аморфным, но не прекращалось. В лучшие моменты оно представляло более организованным, обладало более четкой структурой — так бывало, например, в сравнительно либеральные периоды: в 1956 и 1968 гг. и особенно в Польше эпохи «Солидарности». Эти общественные движения, движения сопротивления принимают разные формы в разных странах. То это ревизионисты, приходящие изнутри системы, то общество, бунтующее против режима в формах рабочего движения, диссидентской интеллигенции или сопротивления верующих. За последнее время мы видим пацифистское движение в ГДР, поддержанное протестантской Церковью, движение защиты бедных в Венгрии; сейчас мы узнали об экологическом движении в Болгарии — о движении против строя, который не только с людьми, но и с природой обращается варварски. Нет оснований думать, что это человеческое творчество, столько раз дававшее плоды, вдруг прекратится, — наоборот, по-моему, из этого столкновения между деградацией системы и общественным творчеством заведомо — хотя трудно сказать, когда, — произрастет подлинное возрождение наших народов, их культур, их социальной, политической, культурной жизни.

И я думаю, что в этом общем процессе борьба «Солидарности», борьба поляков, ведущаяся с лета 1980 года — сначала открыто, теперь подпольно, — играет и еще сыграет важную роль. Именно в Польше коммунизм впервые оказался лицом к лицу с собственной смертью, притом не смертью в результате несчастного случая, но, так сказать, клинической, естественной смертью в результате полного истощения жизненных сил.

Читайте в следующем номере «Континента»

Песни Яна Келюса

Стихи:

**И. Бродский, Е. Герф, А. Копейкин,
И. Лиснянская, А. Лосев**

Проза:

П. Гома, А. Суконик, Л. Штерн

Публицистика:

**Э. Беттица, Э. Коган, Б. Суварин,
В. Тетерятников**

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

A. Neimanis · Buchvertrieb
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

США: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),
594 Chestnut Ridge Road
Orange, CT. 06477, USA

Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany

Специальное приложение

УЧАСТНИКАМ ПАГУОШСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Открытое письмо

Я второй раз обращаюсь к Пагуошским конференциям (первый раз — в 1975 г.). Ученые, международное сообщество ученых в целом могут сделать очень многое для сохранения мира во всем мире, для международного доверия и безопасности, для разоружения, для прогресса и защиты прав человека. Свои взгляды на эти проблемы я старался изложить неоднократно («Нобелевская лекция», «Ответственность ученых», «Что должны сделать СССР и США, чтобы сохранить мир» и др. выступления). Здесь я хочу вновь сформулировать некоторые тезисы, которые представляются мне особенно существенными.

Обсуждение проблем мира и безопасности должно вестись с позиций максимальной объективности, беспристрастно, с одинаковыми мерками к обоим противостоящим лагерям, с учетом их специфики, разной степени открытости, разных уровней демократичности, разных политико-стратегических доктрин и практики. Многие общественные деятели Запада и общественные группы, выступающие по вопросам мира и разоружения, к сожалению, в силу ряда причин (недостаточной осведомленности или наивности, политической моды, примата внутренних преходящих политических или экономических причин) занимают совсем другую позицию — одностороннюю и поэтому по существу бесплодную, и даже опасную. Это, возможно, относится в какой-то мере и к Пагуошскому движению. В работе Пагуошских конференций, так же, как и во многих других международных встречах, проявилась также следующая негативная характерная особенность позиции представителей СССР. Во всех острых вопросах они обычно объективно выступают как дисциплинированные чиновники единой гигантской бю-

Отныне и в каждом номере все тексты Андрея Дмитриевича Сахарова и все правозащитные документы мы включаем в рамки непрерывного Сахаровского слушания. — Р е д.

рократической машины. Это в большой степени уменьшает значимость таких контактов для решения трудных вопросов, в особенности если это обстоятельство недостаточно учитывается.

Десять-тринадцать лет назад, когда сформировалась так называемая «разрядка», в мире образовалось примерное стратегическое равновесие (хотя в области «обычных» вооружений Запад и уступал СССР и его союзникам). Можно было надеяться, что создались благоприятные условия для разоружения, международной торговли, мирного урегулирования конфликтов и совместных усилий в разрешении общемировых проблем преодоления отставания слаборазвитых стран, охраны среды обитания и прогресса в целом, преодоления опасной закрытости социалистических стран и нарушений прав человека. К сожалению, оправдались опасения тех, кто указывал, что СССР может попытаться использовать разрядку для изменения равновесия в свою пользу.

Произошло очень существенное усиление армии, флота, ракетного арсенала и авиации СССР, в то время как страны Запада (в особенности Европа) явно ослабили свои усилия в истекшее десятилетие. Ракеты СС-20 изменили стратегическое равновесие в Европе, хотя участники пацифистских демонстраций как бы этого не замечают. За Парижскими Соглашениями последовал бросок Северного Вьетнама на Юг, затем геноцид пол-потовцев в Кампучии. Несмотря на очень важные Кемп-Дэвидские Соглашения, положение на Ближнем Востоке продолжает оставаться исключительно сложным и трагическим для обеих сторон. Продолжается расширение зоны влияния СССР во всем мире — в Африке, в Латинской Америке, Азии. Вершиной всего явилась интервенция в Афганистане, приведшая к тупику жестокой войны. Попытка плюралистического развития в Польше сменилась военным положением.

Советское общество остается столь же закрытым. Важнейшие решения принимаются антидемократическим путем. Свобода информационного обмена, свобода убеждений, свобода выбора страны проживания ущемляются. Условия для эффективного контроля выполнения заключенных СССР международных Соглашений практически отсутствуют. Преследования инакомыслящих приобрели более широкий характер.

Все вышесказанное не значит, конечно, что сам принцип мирного, компромиссного разрешения конфликтов порочен — этот принцип остается единственной альтернативой всеобщей гибели. Проблемы мира, международной безопасности, разоружения должны иметь абсолютный приоритет в ряду других, в том числе и чрезвычайно важных. Переговоры о разоружении должны вестись постоянно и упорно, несмотря на всю их трудность. Но несомненно, что эти принципы должны быть дополнены рядом других элементов. Я считаю, что в особенности необходима широкая информация общественности об истинном положении в мире, в том числе и о том, что написано выше, и практическая политика, соответствующая этим реальностям.

Необходимо восстановление стратегического равновесия в области обычных вооружений. Обе стороны должны иметь уверенность в своей безопасности без опоры на атомно-термоядерное оружие и другие виды оружия массового уничтожения, угрожающие существованию человечества и цивилизации. Сейчас при исключении из баланса этих видов оружия силы Запада, по широко распространенному мнению, оказались бы не в состоянии противостоять силам СССР и его лагеря. Поэтому равновесие в области обычных вооружений — необходимое условие возможности общего отказа от атомно-термоядерного вооружения и других средств массового уничтожения. Такой отказ является настоятельной исторической необходимостью, однако продвижение в этом направлении должно быть осторожным и постепенным.

Необходимы шаги, останавливающие процесс расширения просоветской сферы, — т. к. в противном случае все мировое равновесие грозит быть опрокинутым. Необходимы шаги, с обязательным участием СССР, по преодолению отставания слаборазвитых стран. Мир, представляющий в нашу эпоху единое целое, не может продолжать существовать при современной столь большой неравномерности развития. До сих пор СССР и социалистические страны уклонялись от участия в общих усилиях экономической помощи слаборазвитым странам, предпочитая извлекать политические выгоды из своей военной и, отчасти, экономической помощи странам исключительно своей сферы.

Необходимы международные усилия, усилия всех честных людей для преодоления закрытости СССР и других со-

циалистических стран, для защиты прав человека. Это соответствует духу Хельсинкского Акта, других международных соглашений СССР. Советская пропаганда всегда заявляет, что международная защита прав человека в СССР и социалистических странах является вмешательством во внутренние дела этих стран, — но это лицемерие.

Разрядка, при которой один из участников скрывает свое лицо под маской, — опасна. Я говорил об этом еще в 1973 году.

Я обращаюсь к участникам Пагуошской конференции с просьбой обсудить это письмо и высказанные в нем мысли, я обращаюсь одновременно ко всему сообществу ученых, ко всем людям доброй воли. Я пользуюсь также случаем обратиться к участникам этой важной международной встречи с просьбой выступить в защиту узников совести. Среди них — орнитолог Март Никлус, филологи Василь Стус и Викторас Пяткус, юристы Иван Кандыба и Левко Лукьяненко, учитель Олекса Тихий, писатель Анатолий Марченко, Балис Гаяускас, осужденные на десять лет заключения и пять лет ссылки; кибернетик Анатолий Щаранский, осужденный на 13 лет заключения; член-корреспондент АН Армении Юрий Орлов; священник Глеб Якунин, психиатр Анатолий Корягин, фармацевт Виктор Некипелов, сея Ковалевых, супруги Руденко и Матусевич, братья Подрабинеки; только что повторно осужденный музыковед Мераб Костава и многие другие. Защита ваших коллег и всех, осужденных за убеждения и ненасильственные действия, имеет самое прямое отношение к свободе информационного обмена, к международному доверию и международному сотрудничеству.

7 мая 1982
Горький

Андрей Сахаров, лауреат
Нобелевской премии Мира

КОНТИНЕНТ

Годовая подписка (4 номера)
40.— ДМ, или 23.— US\$, включая пересылку.

Вы экономите 8.— ДМ, или 5.— US\$
от розничной цены!

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера)

Имя:

Адрес:

.....

.....

Оплату произвожу:

- приложенным чеком ☐ почтовым переводом ☐
через банк ☐

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 309

LECTURE 1

LECTURE 1: THE SCALAR FIELD



PHYSICS 309

PHYSICS

PHYSICS 309

PHYSICS

PHYSICS 309

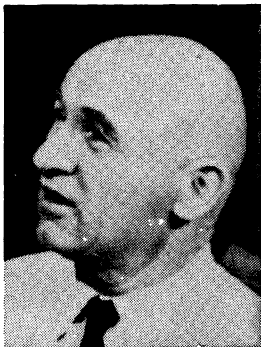
PHYSICS

PHYSICS 309

Дорогой Петр Григорьевич!

Мы рады, что столь знаменательное событие в Вашей жизни — семидесятипятилетний юбилей — дает нам возможность выразить те добрые и теплые чувства, которые мы к Вам искренне питаем, и, поверьте, — это не поздравительная формула.

Вы прожили жизнь столь сложную, что книга, которую Вы о ней написали, действительно может служить — и служит — материалом для долгих и серьезных размышлений.



Вы вышли из того общественного слоя, для которого, как демагогически провозглашается вот уже 65 лет, была сделана революция, было построено «государство рабочих и крестьян». Вы были тем самым крестьянином, Вы были тем самым рабочим, Вы поверили в революцию и пошли за ней — чтобы в конце концов отвергнуть это государство, чтобы вслух сказать о его человеконенавистнической природе, о его лжи, жестокости и цинизме.

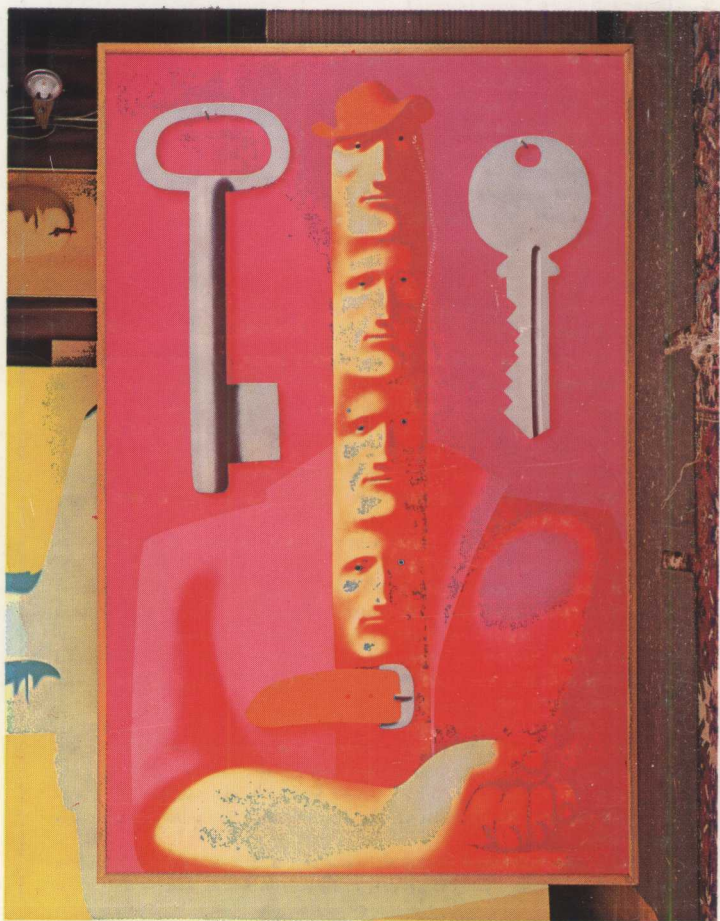
Ничто не мешало Вам, сделавшему военную и военно-академическую карьеру, закрыть глаза на происходящее вокруг и, подобно десяткам и сотням Ваших коллег, удовлетворяться генеральскими погонами, генеральским жалованием и затем — генеральской пенсией. Ничто не толкало Вас подставить под топор собственную голову и головы близких и вступить в бой с хорошо смазанной, безотказной гильотиной тоталитарного государства.

Ничто — кроме Вашей совести.

Вас лишили всего. Вас подвергали унижениям и преследованиям. Вас отправили на многолетнюю пытку психиатрическими застенками. Вы пережили всё — и выстояли. Спасибо Вам за то, что Вы выстояли. Низкий поклон Вам за то, что Вы выстояли.

С удовольствием поздравляем мы и Зинаиду Михайловну — и с Вашим, и с ее юбилеем. И ее долю мало кто поднял бы на плечи. Позвольте же нам поздравить вас обоих с вашей встречей и вашей жизнью. И примите нашу любовь и глубочайшее уважение.

«Континент»



О. Целков. «Четырехголовый с ключом». Масло.
К статье И. Маркадэ